10

Гомер
Данте
Пушкин
Толстой
Булгаков

ГЕНИЕВ ЛИТЕРАТУРЫ

Хайям
Маркес
Шекспир
Сервантес
Достоевский

FOLIO

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Герои этой книги – 10 гениев литературы, которые видели мир не так, как другие, и создали произведения, оказавшие влияние на мировоззрение целых поколений. Пожалуй, трудно найти столь несоединимых и непохожих людей. Но их роднят титанический труд, умение творить новые миры, безграничная преданность Литературе, которая обрекла их на трудную судьбу, а зачастую и на одиночество, но даровала Бессмертие.

- Елена Кочемировская
  - От автора
  - Гомер
  - Омар Хайям (Хайям) (Гияс ад-Дин (Гиясаддин) Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури)
  - Данте (Дуранте) Алигьери
  - Мигель де Сервантес Сааведра
  - Шекспир Уильям
  - Пушкин Александр Сергеевич[17]
  - Достоевский Федор Михайлович
  - Толстой Лев Николаевич
  - Булгаков Михаил Афанасьевич
  - Гарсиа Маркес Габриэль Хосе
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46

○
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61

Елена Кочемировская
10 гениев литературы

От автора

Лицом к лицу лица не увидать,
Большое видится на расстояньи…

С. Есенин

«Вопрос о том, почему широкого читателя интересуют не только произведения человеческого ума и таланта, но и биографии авторов этих произведений и как этот интерес следует удовлетворять, никогда не теряет актуальности. <…> Что влечет читателя к биографии? Не понимая природы своего интереса, иной читатель может думать, что его притягивают к себе авантюрные или пикантные подробности из жизни знаменитого писателя. <…> За читательским интересом к биографии всегда стоит потребность увидеть красивую и богатую человеческую личность». Так писал в свое время о жизнеописаниях знаменитый ученый Ю. Лотман – биограф А. С. Пушкина, исследователь феномена «жизни как творчества».

И ведь действительно интересно узнать, как человек становится писателем, как он принимает решение посвятить себя литературе, откуда берет сюжеты для своих произведений, чем отличается от «обычных» людей и отличается ли вообще? И туг же возникает новый вопрос: а как писатель становится великим? Как получается, что творения одних – даже самых известных и популярных у современников – быстро забываются, а произведения других становятся канонами жанра, образцами для подражания, а то и недостижимым идеалом? Как удается писателю сохранить свой талант в самых трудных и зачастую невыносимых жизненных условиях? И наоборот – как настоящий писатель находит в себе силы не изменить своей звезде и не разменяться на безделушки, приятные широкой публике и приносящие приличный доход?

Ведь если посмотреть на доступную нам историю литературы, то можно увидеть, что ситуация из раза в раз, из века в век повторялась, что судьбы великих писателей, несмотря на кажущиеся различия, очень сходны между собой. Вот несколько примеров.

Омар Хайям – поэт и ученый, ставший сегодня олицетворением мудрости Востока, живший в эпоху расцвета арабского и персидского искусства. Современники не признавали его поэтическое наследие, а сегодня мало кто из

ближневосточных авторов «золотого века» сравнится с Хайямом в популярности.

Данте Алигьери – символ итальянской литературы. Конечно, если напрячься, то можно вспомнить еще пару-тройку итальянских писателей и поэтов, но большая часть из них неизвестна почти никому, кроме узкого круга специалистов. А ведь Данте жил в эпоху, когда начался расцвет поэзии, появилось множество литературных школ и направлений, и – казалось бы – до наших дней должны были дожить имена многих его современников. Но нет – именно изгнанник Данте стал собирательным образом поэта своей эпохи, а его произведения – лучшим путеводителем по средневековой Италии.

Уильям Шекспир – символ английской литературы. Несмотря на существование таких столпов, как Джеффри Чосер и Джон Мильтон, слава первого английского поэта безоговорочно принадлежит именно Шекспиру, творившему в «низком» жанре драматургии. Почему? Ведь его окружали знаменитейшие люди своего времени: поэты Кристофер Марло, Бен Джонсон, философ Фрэнсис Бэкон. Однако елизаветинская эпоха стала «шекспировской», а имена других писателей – современников Барда – прочно стерлись из памяти неспециалистов.

Мигель де Сервантес – символ испанской литературы, осмеянный при жизни и возвеличенный после смерти («Дон Кихот» признан величайшим романом всех времен и народов). Единственный современник Сервантеса, который более или менее известен, – это считавшийся когда-то непревзойденным Лопе де Вега. И это при том, что речь идет о времени, названном «золотым веком» испанской литературы.

Пушкин. Здесь комментарии вообще излишни – весь период, когда жил и творил опальный поэт, превратился в «пушкинскую эпоху». Иными словами, есть Пушкин – и все остальные (даже декабристы, царская семья, государственные деятели начала XIX века для многих существуют лишь в связи с поэтом). А ведь среди этих «остальных» – прекрасные поэты и писатели, составившие славу русской литературы. И тем не менее о них забыли – или почти забыли.

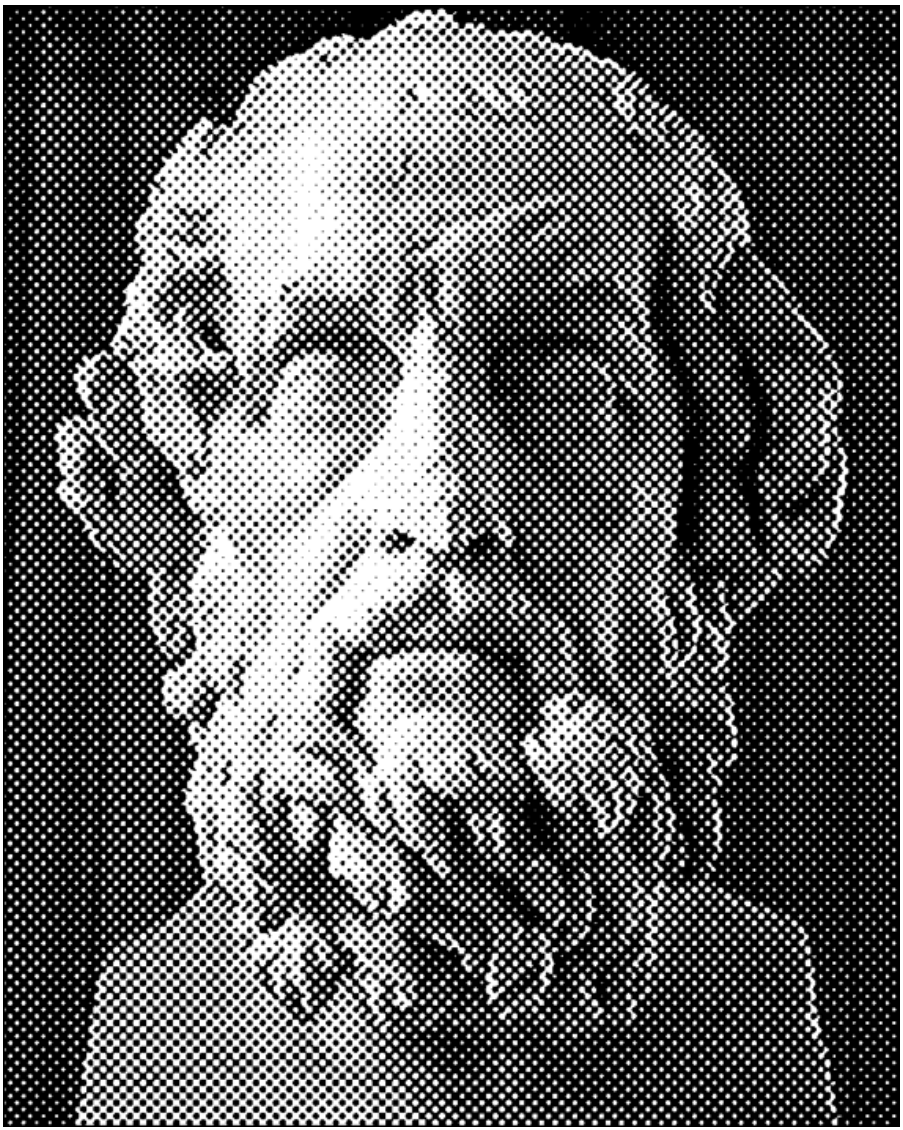
Толстой и Достоевский, творившие в период расцвета русской литературы и ставшие ее визитной карточкой во всем мире, – других русских писателей за рубежом не знают, – оба познали и громкую славу, и полное непонимание современников: Достоевский прошел каторгу, Толстой был отлучен от церкви. В одно время с ними писали Некрасов, Белинский, Чернышевский – но мало кто назовет их сегодня гениальными творцами. А многие ли вспомнят Григоровича, Загоскина, Григорьева, Майкова,

Крестовского, произведения которых в свое время гремели на всю Россию?

Трудно осознать, что Шекспир и Сервантес, Толстой и Достоевский были современниками – настолько привычна мысль, что одна эпоха может породить только одного гения, настолько полная картина мира существует в произведениях каждого из них, настолько им удалось подняться над обыденностью. Пожалуй, именно цельность, самодостаточность, завершенность описываемой реальности делают «автора текстов», беллетриста настоящим писателем. Наверное, именно умение творить новые миры превращает популярного и плодовитого писателя в гения литературы, труды которого переживают его самого и становятся «энциклопедией жизни».

И тогда-то читатели начинают интересоваться жизнью творца, искать причины, подтолкнувшие его к литературному творчеству, соотносить произведения с биографией писателя и удивляться той душевной силе, которая не давала ему отступиться от своего призвания, невзирая на все трудности или, наоборот, соблазны реальной жизни.

Гомер



Гомер – легендарный древнегреческий поэт, автор поэм «Илиада» и «Одиссея», основоположник европейской литературы – долгое время считался мифической личностью. Существует около десятка античных жизнеописаний Гомера, написанных Геродотом, Плутархом, Платоном и другими авторами, но все эти биографии противоречивы и, как отмечал А. Ф. Лосев, «наполнены сказочным и фантастическим материалом». Фактически достоверной информации о жизни Гомера нет. Неизвестно даже, где он родился – за право зваться родиной

поэта в свое время спорили Аргос, Афины, Иос, Итака, Кимы, Кнос, Колофон, Микены, Пилос, Родос, Смирна, Хиос. И это, не учитывая Рима, Вавилона и Микен, которые считали ниже своего достоинства включаться в спор, рассматривая свои права на певца как неоспоримые.

Так же обстоит дело и с родословной Гомера – греки числили в его предках певцов Мусея и Орфея, отцовство приписывали Аполлону, герою Телемаху (сыну Одиссея), богу реки Мелет (поэтому Гомера иногда называли Мелесигеном, что означает «рожденный Мелетом»). Список предполагаемых матерей Гомера также обширен: в него входят богиня Метида (олицетворение мудрости, дочь Океана и первая жена Зевса), Каллиопа (муза эпической поэзии и науки), нимфы Эвметида и Крефеида. Другие источники, правда, утверждают, что поэт был незаконнорожденным сыном прядильщицы шерсти, в молодости перебивался с хлеба на воду и нищенствовал.

Считается, что, будучи слепцом, нищий странник-аэд {1} Гомер скитался по Греции, зарабатывая на жизнь пением песен о древних героях и учительством. Греки считали, что Гомер был ослеплен[1] музами (слепота – знак мудрости, духовного зрения) и награжден взамен непревзойденным поэтическим даром.

Соперником Гомера был поэт Гесиод, автор назидательной поэмы «Труды и дни». На состязании в Халкиде[2] Гесиод загадывал Гомеру труднейшие стихотворные загадки, на которые тот давал стихотворные же ответы (греки верили, что Гомер и в обыденной жизни изъяснялся только на поэтическом языке). В финале состязания Гомер пропел судьям лучший отрывок из «Илиады», где описывалась битва героев. Гесиод ответил стихами о мирном труде. Публика была восхищена Гомером, но победа досталась Гесиоду, потому что мирный труд, по справедливому мнению древнего жюри, лучше любой войны.

После состязания Гомер отправился на остров Хиос, где и нашел свою смерть – там по сей день показывают могилу поэта. Считается, что он умер из-за того, что не сумел справиться с загадкой двух мальчишек-рыбаков. Поэт поинтересовался, велика ли их добыча и услышал в ответ: «Все, что поймаем, – отбросим, чего не поймаем – уносим». Узнав ответ[3], Гомер был раздосадован: разгадать все хитроумные загадки мудрого Гесиода и не понять шутку мальчишек! По преданию, поэт настолько расстроился, что умер (по некоторым источникам покончил с собой).

Такова в общих чертах биография Гомера, представленная в разнообразных, но одинаково недостоверных источниках. Из этих псевдобиографий следует, что если наш герой действительно

существовал, то его жизнь, скорее всего, была связана с городом Смирна (нынешний Измир, Турция) и с островом Хиос, где в VII–VI веках до н. э. жили гомериды – рапсоды {2}, считавшие себя прямыми потомками и последователями поэта.

Что касается остальных биографических сведений о Гомере, то исследователи считают их «досужим вымыслом» – в том числе из-за текстов «Илиады» и «Одиссеи», перегруженных описаниями пиров, дворцов, доспехов и т. д. «Будь он бродягой, скитавшимся по дорогам Малой Азии, – говорят ученые, – разве мог бы он знать об интерьерах дворцов и обычаях знати? Много ли современные бродяги могут рассказать об убранстве Эрмитажа или Кремля?» Гомер же – если судить по текстам поэм – видел все, что описывал в поэмах, своими глазами. Так что и слепота его – по-видимому, не более, чем легенда.

А. Портнов пишет, что «цвет буквально брызжет со страниц «Илиады» и «Одиссеи». У каждого героя поэм – своя цветовая гамма: Зевс – чернобровый, Афина – светлоокая, царь Менелай – светловласый, великий воин Ахилл – русокудрый, красавица Хрисеида – черноокая и т. д. Какой удивительной цветовой точностью обладал Гомер, если он отличал "светловласых" от "русокудрых"!»

Если бы Гомер действительно был слеп, продолжает исследователь, в его поэмах должны были бы главенствовать звук, осязание и запах, а не зрительные образы. Именно так обстоит дело в творении слепого певца Демодока из «Одиссеи»: в игривой песне о том, как хромой бог-кузнец Гефест поймал железной сетью жену-изменницу Афродиту, полностью отсутствуют цвет, свет, форма и описание предметов. Песнь Демодока – классический пример того, как слепой поэт фиксирует внимание слушателей на действии и звуке. Когда же А. Портнов провел подсчет зрительных, звуковых, осязательных и обонятельных ассоциаций в гомеровских поэмах, то оказалось, что 85–90 % информации о внешнем мире основано на зрительном восприятии.

По-видимому, на самом деле Гомер не был слеп. Конечно, он мог лишиться зрения в старости, но на его творчестве это никак не отразилось. Его поэмы передают формы, краски, блеск и свет древнего мира, и миллиарды читателей всех времен и народов оценили удивительную точность описаний, их образность, живость и яркость. Действительно, разве может слепец сказать:

Солнце тем временем село, и все потемнели дороги…

Перевод В. Жуковского

или заметить, как

> … от широкого веяла, сыплясь по гладкому току,
> Черные скачут бобы иль зеленые зерна гороха…

Перевод И. Гнедича

Разве способен незрячий передать взгляд пловца, взлетевшего на гребень высокой волны:

> Поднятый кверху волной и взглянувши быстро вперед,
> Невдали пред собою увидел он землю…

Перевод В. Жуковского

К тому же сами древние греки не сомневались в том, что поэт прекрасно видел – на первых скульптурных изображениях Гомер изображался зрячим. Сохранились монеты с Хиоса, относящиеся к IV веку до н. э.; поэт на них изображен похожим на Зевса, с широко открытыми видящими глазами.

Почему же так широко распространена легенда о «слепом Гомере», и когда она появилась? Представление о «великом слепце» возникло в Александрии, городе, построенном Александром Македонским. В походах Александр не расставался с текстом «Илиады», называя поэму своей величайшей драгоценностью. Завоевав Египет, он решил основать там город и назвать его своим именем. Уже было определено место, но Александру во сне явился Гомер и прочитал ему стихи из «Одиссеи»:

> На море шумно-широком находится остров, лежащий
> Против Египта; его именуют там жители – Фарос…
> Пристань находится верная там, из которой большие
> В море выходят суда, запасенные темной водою.

Перевод В. Жуковского

Александр немедленно отправился на Фарос и увидел местность, удивительно подходящую для градостроительства, – с рекой и прекрасной гаванью. Царь воскликнул, что Гомер, достойный восхищения во всех отношениях, вдобавок ко всему – мудрейший из зодчих. Так зимой 332–331 годов до н. э. была основана Александрия, столица греко-египетского государства

Птолемеев. В центре города был поставлен храм Гомера, а сам поэт обожествлен.

Многочисленным философам Александрии, крупнейшего центра эллинистической культуры, старые изображения Гомера показались недостаточно интересными. Бог-поэт, по их мнению, не должен был выглядеть как обычный смертный. Воспитанные на Платоне и Аристотеле, философы эпохи эллинизма любили подчеркивать превосходство «зрячести слепоты» над «слепотой зрячести». {3} Для элитарного восприятия образ слепого основоположника мировой литературы оказался очень привлекательным – и Гомер был изображен слепым. Так возникла легенда о «слепом Гомере».

И все же – существуют ли достоверные сведения о жизни поэта? Уже александрийские ученые IV–II веков до н. э., которые значительно подкорректировали и прокомментировали «Илиаду» и «Одиссею», не знали, кто такой Гомер, где и когда он жил и что писал. Современным ученым удалось частично, по косвенным данным, реконструировать его биографию, хотя белых пятен в ней до сих пор больше, чем хотелось бы. Прежде всего, с высокой степенью точности датирован исторический период, в который жил Гомер – это, по всей видимости, VIII век до н. э., когда Греция переживала экономический и культурный подъем.

Специалист по древним языкам Иоахим Латач представляет свою версию жизненного пути поэта. По его мнению, Гомер родился около 770 года до н. э. в Смирне, в знатной семье. Примерно к сорока годам он сочинил «Илиаду» – поэму, воскрешавшую славное прошлое греческого народа и призывавшую разрозненные племена к единению ради новых свершений и светлого будущего. Вероятно, «Илиада» – не плод устного творчества, а литературное произведение, записанное Гомером или кем-либо из окружавших его людей на папирусе. Египтяне уже в середине XI века до н. э. экспортировали папирус в финикийский город Библ – важный пункт транзита в морской торговле греков. У финикийцев к тому времени уже был алфавит (со временем практически все народы, населявшие западную часть Старого Света, стали пользоваться системами письма, созданными на его основе). Греки переняли и видоизменили финикийскую письменность.

Гомер – человек знатного происхождения и глубокого ума – научился обращаться с заморскими «финикийскими значками» и стал записывать песни о подвигах древних героев, которые слышал от аэдов. Кроме того, он начал сочинять и собственные песни, вплетая в них все, что когда-либо видел. Дворцовые комнаты, по которым он бродил с детства, превратились в покои

древних царей. Герои Гомера носили старинные доспехи, которые он видел в домах знати, и владели оружием, на которое когда-то смотрел как на реликвию. Его герои совершали те же обряды, которые поэт видел с малолетства, и поклонялись тем же богам, что и Гомер.

Техника аэдов была хорошо известна поэту. Аэды переходили из города в город, из дворца во дворец, распевая свои песни на пирах, и песни эти всякий раз оказывались «немножко другими», хотя и сохраняли стандартные ходы и метафоры. В песнях аэдов импровизация сочеталась с механическим повторением одних и тех же фраз и эпитетов. Эту традицию сохранил и Гомер, облегчая жизнь будущим исполнителям «Илиады», а таких было немало. Особым почетом пользовались те, кто был способен исполнить, не прерываясь, за один раз всю «Илиаду», посвященную пятидесяти одному дню десятилетней войны. Это занимало примерно сорок пять часов.

Практически неразрешим из-за утраты многих текстов вопрос об авторстве произведений, приписываемых Гомеру. Вплоть до эпохи эллинизма греки считали его создателем не только «Илиады» и «Одиссеи», но и целого ряда поэм, связанных с мифами о Троянской войне: «Фиваиды», «Киприй», «Малой Илиады». Кроме того, Гомеру приписывался цикл из 33 «гомеровских гимнов», воспевающих олимпийских богов, а также пародийные эпосы «Маргит» и «Батрахомиомахия» («Война мышей и лягушек»). Византийская энциклопедия «Свида» {4} относит к гомеровским еще «Амазонию», «Арахномахию» («Войну пауков») и «Гераномахию» («Войну журавлей»). Однако уже ученые Александрии значительно сузили число произведений, автором которых числился Гомер; начиная с V века до н. э. критики склоняются к мысли, что поэт написал «Илиаду» и «Одиссею», а также, возможно, ныне утраченный «Маргит».

Согласно традиции Гомер был неграмотным, а потому вплоть до VI века до н. э. его песни передавались изустно и нигде не записывались. К VI веку до н. э., когда Гомер стал для всех греков величайшим авторитетом в поэзии, морали, религии и философии, афинский законодатель Солон постановил исполнять поэмы Гомера на празднике Панафиней в определенном порядке. Позднее афинский тиран Писистрат, стремясь поднять значение Афин как культурного и религиозного центра, создал специальную комиссию по записи и редактированию «Илиады» и «Одиссеи».[4] Исполнение этих двух поэм на праздниках вошло в систему и стало обязательным.

Собственно, сделанные в VI веке до н. э. записи двух поэм {5}, не дошедших до нас в первоначальном виде, открывают историю

толкования и изучения гомеровских текстов, длящуюся две с половиной тысячи лет. После того как поэмы были записаны, очень быстро возник «гомеровский вопрос», суть которого сводится к следующему: кто истинный автор «Илиады» и «Одиссеи»?

Еще античные биографы выражали сомнение в том, что имя Гомера является собственно именем, а не прозвищем со значением «заложник», «провожатый» или «слепец». Попытка этимологического исследования имени путем разложения на корни «-гом-» и «-ер-» открывает восхождение имени к словам «вместе» и «прилаживать». На этой трактовке имени было основано предположение, что Гомер был не столько автором, сколько редактором разрозненных произведений, принадлежащих разным поэтам.

Некоторые античные ученые обратили внимание на разночтения в тексте «Илиады» и «Одиссеи», на основании чего отказались приписывать обе поэмы одному человеку. Задавшись целью выяснить, что же все-таки было создано самим Гомером, они обратились к рукописной традиции и выявили разночтения в списках поэм. Они изучали язык и метрику, а также общее значение гомеровского творчества, подходя к нему главным образом с научных, а не философских или эстетических позиций. Впоследствии теми же средствами с той же целью пользовались Кратет Пергамский (около 168 года до н. э.) и Дидим в Риме (около 20 года до н. э.). Таких ученых в Греции называли «хоризонтами», то есть «разделителями». Аристарх Самофракийский (III–II века до н. э.) опротестовал эту точку зрения, предположив, что «Илиада» была сочинена Гомером в юности, в отличие от «Одиссеи» – произведения, созданного в зрелом возрасте.

Вообще, отношение греков к Гомеру было неоднозначным – величайшее почтение к нему не мешало античным мыслителям высказывать критические замечания религиозного, морально-педагогического и эстетического характера. Поэт и философ Ксенофан Колофонский (VI век до н. э.) резко порицал очеловечивание богов в гомеровских поэмах. Платон, восхищаясь поэтическим мастерством Гомера, в то же время считал «Илиаду» и «Одиссею» безнравственными и развращающими юношество поэмами. Критик Зоил (IV век до н. э.), прозванный Гомеромастиксом («Бич Гомера») за исключительно язвительное отношение к творчеству поэта, открыто смеялся над вычурностью гомеровского стиля, его «нелепыми вымыслами» и «странными» речевыми оборотами. Жизнь Зоила закончилась плачевно: за поношение Гомера он был предан позорной казни (то ли распят,

то ли сброшен со скалы), а его имя стало нарицательным для обозначения недоброжелательного критика.

Софист, ритор и философ-киник Дион Хризостом («Златоуст», I–II века н. э.) доказывал ошибочность сюжетной основы «Илиады», утверждая, что война на самом деле закончилась победой троянцев и бесславным возвращением домой остатков греческого войска. Эта критика гомеровского текста имела политическую подоплеку: римляне, которым служил Дион, мнили себя потомками троянцев, а потому были заинтересованы в соответствующем освещении собственной истории.

Вообще, во II–III веках н. э. в античной литературе наметилось переосмысление сюжетов и всей образной системы Гомера, что особенно заметно в «Диалоге о героях» софиста-ритора Филострата (II–III века н. э.), «Дневнике Троянской войны» (фиктивное авторство принадлежит участнику осады Трои Диктисом) и повести «О гибели Трои», якобы созданной троянцем Даресом. В этих греческих произведениях авторы прямо критикуют Гомера за «неточности» в передаче событий и «идеализацию» некоторых героев, например, Одиссея.

Восторженное отношение к Гомеру не мешало анализу его текстов (основная часть этих исследований не сохранилась). Аристотель инициировал традицию толкования Гомера с позиций законов жанра, композиции, образной системы. Метродор из Лампсаки (330–277 годы до н. э., древнегреческий философ, последователь и друг Эпикура) ввел «аллегорический» метод объяснения гомеровских образов, согласно которому фигуры богов в «Илиаде» и «Одиссее» представляют собой выражение различных сил природы (в XIX веке этот прием использовала «мифологическая школа» {6}).

Основоположник школы александрийских филологов Зенодот (III век до н. э.), разделивший «Илиаду» и «Одиссею» на 24 песни по числу букв греческого алфавита, в своем стремлении восстановить «подлинного» Гомера доходил до сверхкритического отношения к его текстам, удаляя из них все, что казалось ему «неподобающим». Более осторожен был Аристарх Самофракийский, который считается родоначальником всех благожелательных литературных критиков; он восстановил многие места из гомеровских поэм, выброшенные Зенодотом и его учениками. Опираясь на взгляды Аристотеля, Аристарх истолковывал поэмы Гомера как великие произведения искусства. Вопреки мнению «хоризонтов», он отстаивал авторство Гомера по отношению к обеим поэмам. Завершается античное гомероведение трактатом «Гомеровские вопросы» философа Порфирия (III век н. э.), в котором Гомер в основном толкуется

аллегорически. В целом, поэмы Гомера были признаны образцом высокой поэзии, наполненной глубоким нравственным содержанием.

Древние ученые, в числе которых были Эратосфен (около 235 года до н. э.) и Страбон (родился около 63 года до н. э.), обращались к поэмам Гомера за сведениями по таким предметам, как география и физика. Философские школы, сложившиеся после Аристотеля, в особенности стоики, продолжали обсуждать религию и этику Гомера. В Риме эпохи Августа Гораций (умер в 8 году до н. э.) и Дионисий Галикарнасский (около 20 года до н. э.) возглавляли критиков, превозносивших поэтическое искусство Гомера. Наставники риторики в Риме рекомендовали его поэмы в качестве образца как для начинающих свою карьеру ораторов, так и для поэтов.

Изучение и критика гомеровских поэм продолжались в латинизированных регионах Западной Европы вплоть до нашествия варваров. В грекоязычных областях Восточной Европы и Азии эта наука развивалась вплоть до падения Константинополя в 1453 году. Сохранение и комментирование «Илиады» и «Одиссеи» – это заслуга византийских ученых, среди которых выделяются, в частности, историк Иоанн Малала (VI век), анонимный автор литературной энциклопедии «Свида» (X век), поэт Иоанн Цец (XII век), комментатор Евстафий (XII век).

Что касается стран Западной Европы, то там подлинный Гомер вплоть до эпохи Возрождения был неизвестен. Дело в том, что языком науки Западной Европы была латынь, поэтому ученые-схоласты вынуждены были бы опираться на переводы гомеровских поэм, в то время как православная Византия использовала древнегреческий язык.

Таким образом, в Средние века в Европе интерес к поэту был практически утрачен и пробудился вновь в эпоху Возрождения, на волне обращения к идеалам античности. Данте, выражая общее мнение, даже назвал Гомера «царем поэтов». Деятелей Возрождения привлекали главным образом благородство, мудрость, красота мысли и слова поэта, а критика текста их мало занимала. Первое печатное издание Гомера вышло во Флоренции в 1488 году.

Итак, Гомером восхищались, но мало кто мог читать его творения, так как древнегреческий язык остался достоянием узкого круга кабинетных ученых. Благодаря энтузиазму Петрарки «Илиаду» перевели на латинский язык. Этот перевод был весьма несовершенен, так как выполнялся шарлатаном, жестоко обманывавшим Петрарку, но все же содержание гомеровской поэмы стало доступно более широкому кругу читателей. Первые

попытки научного исследования гомеровского текста в Европе относятся к еще более позднему времени.

В XVI веке европейское гомероведение возрождалось по мере того, как гуманистические традиции Возрождения сменялись научным духом Нового Времени. Исследователи постепенно стали обращаться к более строгим методикам критики и интерпретации. В XVII веке французский аббат Франсуа д'Обиньяк впервые выразил предположение, что «Илиада» – не единое композиционно целостное произведение, а сборник народных песен, исполняемых слепыми сказителями. Тогда же английский филолог Р. Бентли произвел переворот в изучении метрики Гомера, предложив множество блестящих исправлений и истолкований текста.

С конца XVIII века «гомеровский вопрос» стал актуальной темой научных исследований после появления работ Ф.-А. Вольфа. Фридрих-Август Вольф, профессор классической филологии, опубликовал в 1795 году труд «Пролегомены к Гомеру», в котором отстаивал мнение, что без опоры на алфавитное письмо (а он ошибочно полагал, что такового в ранний период древнегреческой цивилизации не существовало) один-единственный автор был не в состоянии сочинить такие длинные поэмы, как «Илиада» и «Одиссея». По мнению Вольфа, оба эпоса составлены из более ранних небольших поэм, принадлежавших разным авторам. После Вольфа каждое новое десятилетие знаменовалось появлением очередного солидного исследования с новой убедительной биографией Гомера и трактовкой истории возникновения поэм.

В XIX веке оформились три конкурирующих теории, которые в несколько модифицированном виде дожили до наших дней. Сторонники одного направления – последователи греческих «хоризонтов» – охотятся за «малыми песнями», из которых по их мнению складывается гомеровский эпос. «Унитарии» стоят на позиции авторского единства двух поэм. Третье направление представлено теорией «основного ядра» – собственно принадлежащих Гомеру «Пра-Илиады» и «Пра-Одиссеи», из которых в течение столетий оформились «Илиада» и «Одиссея», обработанные и дополненные многими авторами. Но ответить на вопрос, какие части гомеровского эпоса древнейшие, а какие дополнены позднейшими наслоениями, наука не в состоянии.

Споры между направлениями вспыхнули с новой силой благодаря знаменитым раскопкам Трои (Илиона), проведенными Г. Шлиманом, который исходил из сведений, представленных в «Илиаде». Археологические данные конца XIX–XX веков прибавили материала для новой волны исследований. В Египте

было найдено около 200 фрагментов из «Илиады» и около 70 из «Одиссеи», не подвергшихся поздней античной редакции. Раскопки на территории древних Трои и Микен, на острове Крит представили реальный исторический контекст жизни легендарных героев Гомера, следы их деятельности, описанные в «Илиаде».

Долгое время существовало мнение, что Гомер – великий поэт древности, но «"Илиада" не имеет ничего общего с исторической реальностью; Гомер – поэт, вымышляющий свои рассказы, он фантазирует, а не сообщает». Да и откуда ему было знать о «делах давно минувших дней», ведь в поэмах описаны события 1200 годов до н. э., в то время как сам поэт жил несколькими веками позже.

Однако раскопки Шлимана и последовавшие за ними исследования окончательно убедили ученых в том, что Гомер описывал войну между Микенской Грецией и народами Малой Азии, разыгравшуюся около 1190 года до н. э. Совпадают не только географические реалии и бытовые детали, но и исторические факты. Археологи уже убедились, что оставленное Гомером описание Илиона поразительно верно. Гомер, кроме того, был отлично осведомлен о политических делах конца бронзового века, имел весьма точное представление о расстановке враждующих сил, был знаком с предметами быта «троянской эпохи» и использовал при создании «Илиады» древние документы и надписи на стелах.

Он тщательно изучил ритуалы страны, погибшей много веков назад, познакомился со сказаниями и песнями микенских греков. Гомер подробно описывает, например, микенскую практику жертвоприношений у могилы погибшего героя, моду XII века до н. э., оружие бронзового века. Поэт называет троянцев «конеборственными», и действительно археологи, работавшие в Трое, тоннами собирали конские кости. Нашелся даже шлем Одиссея, описанный в «Илиаде» («Внутри перепутанный часто ремнями, крепко натянут он был, а снаружи по шлему торчали белые вепря клыки»), – при раскопках археологи обнаружили точно такой же шлем. Наверное, Гомер видел или держал в руках что-либо подобное, иначе даже его фантазия была бы бессильна.

У него даже география сохраняет свой исторический колорит. В перечне кораблей, например, перечислены 178 населенных пунктов Микенской Греции, и гомеровский каталог близок торговым спискам, найденным на развалинах дворца в Микенах и датируемым XIII веком до новой эры.

После открытия Трои, уже в XX веке было создано огромное количество литературы по «гомеровскому вопросу», и тем не

менее его нельзя считать разрешенным. Появились даже новые оригинальные версии – так, А. Батлер считает, что «Одиссея» была написана женщиной – уж очень много внимания уделяется нарядам, бытовым деталям, описанию домашней утвари. Впрочем, последние компьютерные исследования, предпринятые учеными Швеции, показали, что, несмотря на существенные языковые, стилистические, композиционные отличия, имеющиеся в тексте двух поэм, обе они принадлежат одному человеку.

История переводов гомеровских поэм насчитывает столько же лет, сколько и критика творчества поэта. Ее открывает латинское переложение «Одиссеи», сделанное в III веке до н. э. римским поэтом Ливием Андроником. С тех пор другие латинские переводы и переделки Гомера появлялись не раз, как в Древнем Риме, так и в эпоху Возрождения в Италии, Франции, Германии. В XVIII веке вышли первые переводы поэм на французский язык (Ж. Рошфора, А Жену). В 1615 году был закончен перевод Гомера на английский, сделанный Дж. Чапменом, а в XVIII веке снискала похвалу работа А. Поупа. Германия познакомилась с Гомером в конце XVIII века благодаря переводам И. Г. Фосса.

В древнерусской литературе упоминания о Гомере начинаются еще с XII века. В XVII веке его знатоком оказывается Симеон Полоцкий, а в XVIII число поклонников и переводчиков Гомера растет. В их числе такие писатели, как А. Кантемир, М. Ломоносов, В. Тредиаковский, А. Сумароков, М. Херасков, Г. Державин, А. Радищев, И. Карамзин и И. Крылов.

В 1700 году в Амстердаме вышел неполный русский перевод шуточной «Войны мышей и лягушек», приписываемой Гомеру, автором которого был Илья Копиевич. 56 стихов из «Илиады» переложил М. В. Ломоносов, в 1787 году шесть песен поэмы перевел Ермил Костров. Первая половина XIX века дала, наконец, полноценного «русского» Гомера – именно тогда был закончен титанический труд Н. И. Гнедича по переводу «Илиады». А. С. Пушкин, прочтя перевод, был восхищен им:

> Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,
> Старца великого тень чую смущенной душой.

В переводе Гнедича, по мнению критиков, произведение Гомера предстает как возвышенное и торжественное, но в то же время жизнерадостное и поэтическое.

Не менее восторженно отзывался Н. В. Гоголь о переводе «Одиссеи», законченном В. А. Жуковским в 1849 году: «Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановленье, воскресенье Гомера». «Одиссея», по мнению Гоголя, «есть решительно

совершеннейшее произведение всех веков». Крупнейший русский поэт видел в эпосе Гомера наивный и патриархальный мир, соответствующий по духу древнерусскому опоэтизированному прошлому.

Известный писатель В. В. Вересаев в своих переводах обеих гомеровских поэм (опубликованы в 1949 и 1953 годах) подчеркнул жизненность и суровую простоту их языка, далекого от высокой торжественности и напыщенности. Он попытался приблизить язык поэм к современности, постаравшись очистить их от архаических форм, свойственных XIX веку.

Сюжетная основа «Илиады» и «Одиссеи» – это отзвуки дошедших до Гомера сведений о Троянской войне (XII век до н. э.), в ходе которой микенские воины-ахейцы захватили и разграбили город. Это событие, знаменовавшее один из этапов борьбы между народами Азии и Европы, было основательно переработано сознанием людей того времени и стало неисчерпаемым источником легенд, преданий и сказаний. Совершенно незначительный по позднейшим масштабам исторический эпизод (Троя в ходе тысячелетий многократно разорялась, гибла и восстанавливалась) превратился в грандиозное событие, определяющее судьбы богов и людей. Греки и троянцы истребляют друг друга, исполняя волю Зевса, решившего сократить число людей из-за их порочности и нерадивости.

Поэмы Гомера построены по четкому плану, а действие каждой из них сосредоточено вокруг одного эпизода (гнев Ахилла в «Илиаде», последние сорок дней возвращения Одиссея на Итаку). Именно это стало величайшим новаторством Гомера, которое определило его статус создателя европейской литературы. Речь идет о введении принципа синекдохи (риторической фигуры, допускающей употребление части вместо целого, частного вместо общего) как основы сюжета. Так, в «Илиаде» отражены не все десять лет Троянской войны, а всего лишь 51 день. «Одиссея» описывает не десять лет возвращения Одиссея, а только 40 дней. Такая концентрированность действия позволила Гомеру создать «оптимальные» по объему поэмы (15 693 стихотворные строки в «Илиаде», 12 110 строк в «Одиссее»), которые, с одной стороны, создают впечатление эпического размаха, а с другой – не превышают размеров среднего европейского романа. Фактически Гомер предвосхитил писательский прием, когда действие больших романов ограничивается несколькими днями, а то и часами.

Ритмическая упорядоченность помогает поэту согласовывать и сглаживать многочисленные противоречия в тексте поэм,

издавна служившие аргументом противников единого авторства. Эти неувязки носят сюжетный характер: так, в «Илиаде» эпизодический персонаж, убитый в пятой песни, оказывается жив в тринадцатой песни; в «Одиссее» главный герой ослепил Полифема, однако Афина говорит, что Посейдон разгневан «умерщвлением милого сына». Тем не менее, большинство гомероведов признает, что для поэта гораздо важнее была забота о единстве целого, чем внимание к частностям (заметим, что многие европейские романисты и драматурги тоже грешат сюжетными «проколами»).

Целостность двух поэм, эпический размах отражаются и в многожанровости их состава, по сути предвещающего основные направления всей европейской литературы. В «Илиаде» прослеживается и основа будущего военно-исторического романа, и мелодрамы, и рассказов в стиле жанровых комических и идиллических зарисовок.

Осип Мандельштам упивается гомеровским «списком кораблей» из песни 2 «Илиады», где на 284 строки приходится 382 собственных имени – названия племен, имена героев, островов, гор, рек, целая воинская ведомость и список анкетных данных, превращенные в высокую поэзию. Все эти сотни имен столь звучны, красивы, так легко вписываются в ритм гекзаметра, что «каталог» становится великолепным образцом поэзии.

Искусство Гомера проявляется в том, что он непринужденно комбинирует все эти жанровые признаки; в его произведениях страшное и великое соседствует с бытовым: великан-людоед Полифем оказывается заботливым пастухом, а бессмертные боги ведут мелочные склоки. Десятки поколений европейских писателей, а вслед за ними и других частей света вольно или невольно развивали традиции Гомера, овладевали искусством тех жанров, которые были намечены древним поэтом в его эпосе.

Основная тема поэм Гомера – война, но в них немало описаний мирного быта, это особенно заметно в «Одиссее» – пир у Алкиноя, совет Одиссея и Телемака у свинопаса Эвмея; царевна Навсикая лично стирает белье, царица Пенелопа сидит за ткацким станком. При концентрации внимания на основном действии, поэмы включают в себя и внесюжетные компоненты – например, свидание Гектора с женой Андромахой, подробное описание щита Ахилла, дворцовых убранств, знаменитый список кораблей. В «Одиссее» применен прием рассказа в рассказе – о девяти годах странствий Одиссей рассказывает на пиру у царя Алкиноя.

Впрочем, цельность поэм, по мнению критиков, несколько нарушается избыточными описаниями и повторами. Однако

многочисленные повторы имеют свое объяснение: эпические произведения древности предназначались для прослушивания, и повторы позволяли слушателям лучше запомнить значимые моменты рассказа.

Характерной особенностью гомеровского эпоса является несовместимость событий во времени. События сцепляются последовательно, параллельное соединение (при помощи конструкции «а в это время…») невозможно. Показателен в этом плане поединок Париса и Менелая. Он прерывается беседой Елены с троянскими старцами. На время разговора эпическое время в поединке как бы останавливается – битва возобновится только после того, как исчерпает себя вставной эпизод. Вообще, гомеровские поэмы отражают представления греков о цикличности времени, идею малого и большого космоса.

Хотя догомеровская устная поэзия не сохранилась, ученые правомерно предполагают, что она развивалась в течение сотен лет и тем самым подготовила гомеровский стиль, который без учета предшествующей традиции кажется чудом, явившимся во всем блеске из «ничего». В поэмах Гомера древнегреческий язык предстает гибким, глубоким, приспособленным для ясного выражения как поэтических, так и философских истин. Недаром гомеровский эпос тысячи лет служил античным, а потом и византийским поэтам, на него опирались философы Ксенофан, Парменид, Эмпедокл.

Поэмы Гомера написаны гекзаметром, который, согласно верованиям древних греков, был создан в храме Аполлона в Дельфах в честь богов. «Божественная» красота этого стиха заключается в том, что он, задавая напевный, торжественный, неторопливый ритм, допускает разнообразные комбинации ударений, интонационных переходов и перепадов, рассчитанных на слуховое восприятие. Основываясь на особенностях гекзаметра, Э. Дреруп в начале XX века выдвинул гипотезу, что слушатели Гомера воспринимали за одно прослушивание не более тысячи строк, что занимало около двух часов. Разбитая на такие «тысячи», «Илиада» оказалась циклом из 15 или 16 более или менее завершенных и в то же время взаимосвязанных эпизодов.

Гомер, очевидно, верил в «божественность» гекзаметра, и эта вера вкупе с гениальностью поэта дала свои плоды: образы поэм жизненны и вместе с тем величавы, рельефны и многомерны. Л. Н. Толстой считал, что мастерство Гомера особенно сказалось в обрисовке «удивительно ясных, живых и прекрасных характеров Ахиллеса, Гектора, Приама, Одиссея».

Основной прием, которым пользуется Гомер, изображая

незапамятные времена – гипербола. Герои его произведений – богатыри. Не всякий может поднять кубок старца Нестора, когда он наполнен вином, копье Ахилла не может поднять даже силач Патрокл, ни Телемак, ни женихи Пенелопы не в состоянии натянуть тетиву на лук Одиссея. Всем этим фигурам присуща монументальность, их образы как бы «окованы» ритмами гекзаметра, но эта величавая неторопливость не мешает проявлению динамики чувств и поступков.

Ахилл, к примеру, постоянно переходит от буйного порывистого движения к бездействию, а потом снова к очередному всплеску энергии. В Ахилле сливаются воедино мифологическое начало (он сын смертного и богини Фетиды) и чисто человеческие качества: жестокость соседствует с уважением к достойному сопернику, эгоизм с подчинением воле коллектива или велению судьбы. Фактически Ахилл – это первый в европейской литературе образ одновременно величия и бренности человеческой жизни: он, самый могучий и прекрасный воин среди ахейцев, непобедимый герой, обречен на гибель в расцвете сил.

Что касается Одиссея, то писатель Джеймс Джойс считал его образ наиболее привлекательным и емким во всей европейской литературе, а «Одиссея» была для него «более великим и человечным» произведением, чем «Гамлет», «Дон Кихот», «Фауст». Эти оценки могут казаться завышенными, но Одиссей – храбрый воин и умный военачальник, опытный разведчик, атлет, отважный мореход, искусный плотник, охотник, торговец, рачительный хозяин, а если надо, то и сказитель. Подобно Ахиллу, образ Одиссея соткан из противоречий: на протяжении десяти лет возвращения домой он предстает мореплавателем, разбойником, шаманом, вызывающим души мертвых, жертвой кораблекрушения, нищим стариком и т. д. Герой как бы «раздваивается»: он искренне переживает гибель друзей, свои страдания, жаждет вернуться домой, но при этом легко играет роли, навязываемые ему обстоятельствами. В его личности сплетаются высокие чувства и житейские, прозаические: он жадничает, откладывает себе лучший кусок на пиру, ждет подарков даже от Полифема, проявляет жестокость к рабам, лжет и изворачивается. И в то же время он – патриот своей родины Итаки, мудрец, первооткрыватель новых пространств и новых возможностей человека.

Забавную рецензию на «Одиссею» дал Умберто Эко: «…Сюжет ее занимателен, свеж, исполнен выдумки. Привлекает любовная линия, к тому же супружеские отношения показываются как в благополучном, так и в проблематичном раскладе, чем

достигается приятный контраст. Выпукла фигура «фам фаталь» Калипсо. Есть в книге и новоявленная «лолита» Навзикая. Скупыми, немногословными средствами передается очень многое: я уверен, что читатель не раз испытает моменты возбуждения при чтении некоторых описаний.

Действуют на воображение и разные одноглазые гиганты, и каннибалы, умело и уверенно разбросанные здесь и там. Пряная тема – наркотики – намечена и прорисована настолько тактично, что правоохранительным органам, я убежден, придраться будет не к чему, благо что, если не ошибаюсь, лотос в черном списке нарковеществ не числится.

Чем ближе к развязке, тем ощутимее пульсируют в повествовательной ткани самые плодотворные традиции американского вестерна. Ритмично, уверенно распределяются между действующими лицами тычки и оплеухи, а когда вспыхивает беспорядочная стрельба из лука, саспенс достигает подлинного накала.

К чему оспаривать очевидное? Эта проза читается на одном дыхании, и по сравнению с собственной ранней малоудачной книгой автор безусловно расписался, нет уже следа от давешней несмелой привязанности к единому месту… Как помним, в предыдущем его сочинении, «Илиаде», на третьей рукопашной и на двенадцатом единоборстве у читателя мутилось в голове от параноидальных повторов!..»

Гомер гротескно изображает олимпийских богов. Он преклоняется перед ними, всячески их идеализирует, воплощая в них силу Судьбы, мощь природных стихий и свое представление о физической красоте человека. Олимпийцы бессмертны, в них воплощена мечта человека о жизни вечной и беспечальной – в пирах и забавах. Но олимпийцы не добры, они в принципе вне человеческой морали и лишь имитируют ее. Боги лично заинтересованы в ходе Троянской войны, в судьбах тех или иных героев, но это участие «свысока», с позиции зрителя. Жизнь людей – интересный театр для олимпийцев, не более.

Будучи безмерно выше людей, боги оказываются значительно ниже их как личности. Их облик прекрасен, сила огромна, возможности бесконечны, а мораль зачастую вздорна, ничтожна, поведение отличается мелочностью. Арес обзывает Афину «наглой мухой», за что богиня повергает его наземь огромным камнем. Гера честит Афродиту за «бесстыдство», хотя сама прибегает к ее чарам ради обольщения Зевса, а прекрасную Артемиду просто избивает и т. д. Отзвук этого двойственного отношения к олимпийским богам виден в так называемых «Гомеровских гимнах», которые предположительно создавались

«гомеридами» в VII–VI веках до н. э.

Единственное, о чем умалчивает Гомер – так это об истинных причинах Троянской войны. Очевидно, греков манили богатства Малой Азии. Им нужны были скот, тучные пастбища и сокровища, накопленные в приморских городах. Однако в устах Гомера рассказ о былых сражениях превращается в романтическую поэму; действительность приукрашивается по законам жанра, которым готовы следовать даже голливудские сценаристы. В пресс-релизе компании «Уорнер Бразерс», выпустившей фильм «Троя», говорится: «Люди всегда вели войны. Одни хотели власти, другие добивались славы, но третьи жаждали любви». Любовь Елены и Париса была так сильна, что «погубила цивилизацию» (как известно, поэма начинается с похищения прекрасной Елены, а заканчивается убийством тысяч троянок и гибелью процветающего восточного города). Легенда о похищении Елены прижилась на века, хотя с исторической точки зрения она совершенно бессмысленна. Тысячи солдат, согнанных со всех концов ойкумены, великое множество потопленных кораблей, десять лет мучительной войны – и все это ради какой-то интрижки?

Но если убрать эту романтическую фантазию из свитков «Илиады», останется лишь подлинная картина войны, мало кому интересная. Останутся беспрерывные грабежи греков, стремящихся «разорить обитель троян благородных», картина гибели Трои, истребление всех ее жителей. Трудно представить себе «Илиаду», где главной темой является извечная воля к власти над миром и богатству.

Воздействие Гомера на мировую культуру огромно. Он был авторитетом для античных философов и остается источником для изучения мировоззрения древних греков. По его текстам историки изучают «гомеровскую Грецию», быт и нравы, социальную организацию и материальную культуру Эллады. Знаменитый русский философ и филолог А. Ф. Лосев говорил, что «ученые исследуют по Гомеру и ахейцев, и критян, и дорийцев, и ионийцев, исследуют целую историю племенных переселений, исследуют разные тонкие оттенки быта в течение целого тысячелетия». Поэмы Гомера заменяют тысячи канувших в Лету документов. И документы бронзового века, открытые археологами, подтверждают сведения Гомера и проливают новый свет на его поэмы.

Его словесная живопись помогает понять «геометрический стиль» древнеэллинской вазовой росписи. Он вдохновлял античных скульпторов на создание образов, ставших канонами красоты и совершенства человеческого тела. Начиная с эпохи

Возрождения европейская живопись наполнена гомеровскими сюжетами и мотивами, многие художники изображали Елену, Ахилла, Гектора и Андромаху, Приама и Гекубу, олимпийских богов, Энея (играя заметную роль в «Илиаде», он становится заглавным персонажем «Энеиды» Вергилия) и другие гомеровские сюжеты.

В музыке гомеровское начало значительно менее ощутимо, но можно отметить оперную дилогию Г. Берлиоза «Троянцы» (50-е годы XIX века), вдохновленную «Энеидой» и частично гомеровским эпосом, оперетту Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» (1864), в которой по-своему преломляется гомеровский «божественный» юмор, ирония над богами и героями.

Больше всего влияние Гомера сказывается, разумеется, в поэзии. Гекзаметр стал каноническим размером для всей античной эпической традиции. За Гомером открыто следовал Вергилий в «Энеиде», гомеровские образы варьировали Катулл, Гораций, Овидий. Авторы средневековых рыцарских романов и поэм создавали свои варианты сказаний о Троянской войне. Начиная с эпохи Возрождения, Гомер становится образцом для творцов национальных эпосов. Позднее прямое воздействие Гомера на писателей ослабевает, но никогда не исчезает полностью. Г. Флобер писал в 1852 году: «Я и думаю, что роман только нарождается, он ждет своего Гомера».

В русской литературе XIX века не было почти ни одного писателя, который бы не вдохновлялся Гомером. Своими глубокими суждениями о Гомере известен Белинский, весьма выразительно писавший о гомеровской народности, героизме, поэтической сложности и детской простоте, о зарождении в его творчестве всех литературных жанров, о его мировой значимости.

Можно предполагать и непосредственное влияние Гомера на творчество Гоголя, на теорию эпоса, созданную им. Сцены поединков в «Тарасе Бульбе» навеяны «Илиадой». Большой интерес к поэту проявляли Тургенев и Достоевский. Л. Толстой, который учитывал опыт Гомера, создавая «Казаков», «Войну и мир», писал, что его поэмы – это «вода из ключа, ломящего зубы, с блеском и солнцем и даже с соринками, от которых она еще чище и свежее».

В XX веке Джеймс Джойс воссоздает «Одиссею» в романе «Улисс» (1921), главный герой которого повторяет путешествие Одиссея в течение одного дня в Дублине. Даже Голливуд не прошел мимо Гомера – «Илиада» легла в основу нашумевшего блокбастера «Троя».

Но сколько бы ни существовало исследований и толкований гомеровского творчества, скольких бы творцов он ни вдохновил

на создание новых произведений, личность самого Гомера остается загадкой. Хочется верить – это действительно был гениальный певец, которому удалось, опираясь на традиции крито-микенской и древнейшей ближневосточной культуры, создать (или довести до совершенства) великолепные произведения, в которых фольклор и собственно литература органически соединились.

Омар Хайям (Хайям) (Гияс ад-Дин (Гиясаддин) Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури)

Слышал я, что эта называемая нами судьбой баба – причудливая, капризная, всегда хмельная и вдобавок слепая; она не видит, что творит, и не знает, ни кого унижает, ни кого возвышает.

Санчо Панса. «Дон Кихот»

Европа XI века была богата на великих поэтов и писателей. Тем удивительнее было появление новой яркой звезды – персидского поэта Омара Хайяма, произведения которого были обработаны и переведены на английский язык Эдвардом Фитцджеральдом. Фитцджеральд вольно обошелся со стихами – он решил сделать из них поэму, а потому часть стихотворений отбросил, часть творчески переработал, добавил собственные вставки. Наверное, если бы Хайям мог, он бы воспрепятствовал такому обращению со своим детищем, но он умер за много веков до того дня, когда Фитцджеральд обнаружил, что был такой поэт Омар Хайям, забытый всеми, кроме узкого круга специалистов-востоковедов. Именно с фитцджеральдовского перевода началась

мировая слава Омара Хайяма и поэзии рубаи [{7}].

Омар Хайям – один из выдающихся людей своей эпохи – сочетал в себе множество дарований. Он был гением масштаба Леонардо да Винчи, и родился так же несвоевременно. Ни одно из его научных открытий не было понято современниками. Построенную Хайямом величайшую в мире обсерваторию закрыли еще при его жизни. Разработанный им точнейший календарь не использовался. Хайям-ученый намного обогнал свое время, и в народной памяти он предстает, скорее, мудрым персонажем баек и анекдотов.

У поэтического таланта Хайяма почти не было почитателей – он избрал «низкий» жанр рубаи, никогда не писал од и восхвалений, да и стихи его были довольно специфическими и совсем не «восточными» по духу. По легендам, он сочинял свои четверостишия экспромтом; многие из них были откликами на мимолетные события, шутливые или язвительные реплики в беседе, ответами на нелепые вопросы учеников.

Время, когда творил Омар Хайям, принято считать золотым веком классической персидско-таджикской литературы. Поэзия на языке фарси-дари [{8}] развивалась в XI веке на обширной территории – в Средней Азии, Иране, Закавказье, в Северной Индии. Зародившаяся в начале IX века персидская поэзия, отличительными чертами которой были жизнерадостный тон, яркость образов, простота и ясность поэтической идеи, развитие любовно-эротической и панегирической тем, популярность повествовательных и нравоучительных жанров, к XI столетию достигла своего расцвета.

Эта эпоха породила литературных гениев, которые стали символами двух главных направлений в развитии персидской литературы: лирического, ведущего свое начало от Рудаки (ум. 940), и эпического, вершиной которого было творчество Фирдоуси (934 – ум. между 1020–1030). Жанр рубаи был введен в литературу Рудаки, но пика своего развития достиг у Омара Хайяма, который стоял в стороне от общего литературного процесса той эпохи. К середине XI века стихотворная форма рубаи распространилась в духовной поэзии суфизма, но светские поэты ее почти не использовали, считая малопрестижным видом стихосложения (чем-то вроде частушек).

Стихи Хайяма, таким образом, не соответствовали вкусам его современников, а потому уцелели благодаря единичным почитателям с «извращенным» чувством прекрасного. Хайям никогда не числился среди великих персидских поэтов – до тех пор, пока Европа не начала зачитываться его стихами, а тогда уж его слава вернулась на родину, в Иран. Так что поэту Хайяму,

ставшему культурным достоянием персидского и таджикского народов, пришлось ждать признания семь с половиной веков.

Что касается судьбы Хайяма-поэта, то здесь ясности нет и поныне, хотя биография Хайяма-ученого более или менее известна, а его математические и философские трактаты изучены. В частности, долгое время считалось, что под именем Омара Хайяма скрывается два человека: ученый и некий хулиган, который сочинял непристойные и богохульные стишки, прикрываясь именем Хайяма. Во всяком случае, о существовании двух Хайямов говорит энциклопедия Брокгауза и Ефрона: в томе 42 есть статья «Омар аль-Каями» о математике, а в томе 73 – статья «Хейям или Омар Хейям» о поэте. Но это предположение о «двойственности» Хайяма несостоятельно, поскольку были найдены документы, в которых о нем говорится как об ученом и поэте в одном лице. Просто в персидских сочинениях автор именуется Омар Хайям, а в арабских – Омар аль-Каями.

Некоторое время бытовала также версия о том, что поэта Хайяма вообще никогда не было – это мистификация Эдварда Фитцджеральда, выдавшего собственную стилизацию под персидскую поэзию за перевод рубаи Хайяма. Косвенным доказательством этому служило то, что ни один из ранних авторов не называл Омара Хайяма поэтом. Однако этот факт объясняется достаточно просто: Хайям «по должности» был ученым; именно в этом качестве он состоял на придворной, затем на городской службе. Поэтами же называли или придворных панегиристов, создававших оды или эпические поэмы по заказу правящих особ, или религиозных деятелей, облачавших свои проповеди в поэтическую форму. Хайям не был ни первым, ни вторым – он сочинял исключительно рубаи, а потому большинство современников не считали его поэтом.

К счастью, до наших дней дошло много документов, не позволяющих сомневаться в существовании поэта Омара Хайяма. Тем не менее, открытым остается вопрос о том, как найти четверостишие, сочиненное именно Хайямом? Дело в том, что единичные цитирования его стихов найдены в рукописях, созданных через десятки лет после смерти поэта (и нередко написанных богословами, осуждавшими Хайяма и приводившими образцы его крамолы).

Самые древние списки его стихов (рубаияты), дошедшие до нас, появились только через 2–3 века после смерти Хайяма, причем тематика произведений очень отличается. В 1462 году Йар Ахмад ибн Хосейн Рашиди Табризи закончил составление свода четверостиший Хайяма «Дом радости», благодаря чему сохранились многие стихи поэта. Есть и другие источники. В

книге индийского исследователя Свами Говинды Тиртхи, изучившего 111 средневековых рукописей, приводятся 1096 четверостиший, приписываемых Хайяму. Однако, как отметил еще в 1897 году востоковед В. Жуковский, многие из них являются «странствующими», т. к. их авторство приписывается и другим поэтам. Многие исследователи полагают, что вероятнее всего Хайямом написано едва ли более 400 рубаи, а каноническими считаются 252.

Появлению чужих рубаи среди хайямовских стихов способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, переписчики иногда записывали на полях одно-два собственных стихотворения, сочиненных «под Хайяма». Во-вторых, между Хайямом и его современниками велась полемика не только в философских трактатах, но и в стихах. Четверостишие-вызов и четверостишие-ответ составляли единый сюжет, хотя и принадлежали разным авторам, а потому не случайно присутствовали в рубаиятах Хайяма. В-третьих, изредка встречаются списки стихов, составленные по памяти, в которые попадали схожие рубаи других авторов, а кроме того, очень редко встречается хайямовское четверостишие, текст которого во всех источниках совпадает слово в слово (некоторые имеют десяток версий).

Кроме рубаи, сохранилось девять научных сочинений Хайяма: математические трактаты «Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы», «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида», физический трактат «Весы мудростей», пять философских трактатов – «Трактат о бытии и долженствовании», «Ответ на три вопроса: необходимость противоречия в мире, детерминизма и долговечности», «Свет разума о предмете всеобщей науки», «Трактат о существовании» и «Трактат о всеобщности существования» и исторический труд «Науруз-наме». Первые семь из этих сочинений написаны по-арабски, последние два – по-персидски. До сегодняшнего дня дошли также отрывки из «Маликшахского летосчисления» («Маликшахских астрономических таблиц»), написанных по-арабски.

В общем, в биографии Хайяма больше вопросов, чем ответов. Даже его имя в различных источниках (в том числе и в рукописях самого Хайяма) звучит по-разному. Кроме того, современниками широко используются его уважительные прозвища: Плечо Веры, Доказательство Истины, Ученейший муж века, Знаток греческой науки, Царь философов Запада и Востока, Имам Хорасана и т. п., которые вообще были распространены в арабском мире.

Полное имя поэта звучит так: Гийас (Гияс) ад-Дин Абу-л(ь)-

Фатх Омар ибн Ибрахим ал(ь)-Хайям (или ал(ь)-Хайями) ан-Найсабури (Нишапури). Гияс ад-Дин («помощь веры») – было традиционным почетным наименованием ученого, своего рода обозначением «ученой степени». Абул(ь)-Фатх Омар ибн Ибрахим – личное имя Хайяма; ан-Найсабури (Нишапури) указывает на место его рождения – Нишапур {9}, один из главных городов Хорасана {10}. «Хайям» буквально означает «палаточный мастер» и происходит от слова «хайма» – палатка (аналогична этимология старорусского «хамовник» – текстильщик). Возможно, «палаточным мастером» был отец или дед Хайяма. Сам Хайям обыгрывал «бытовое» значение своего имени в рубаи:

> Палаток мудрости нашивший без числа
> В горнило мук упав, сгорел Хайям дотла.
> Пресеклась жизни нить, и пепел за бесценок
> Надежда, старая торговка, продала.

Перевод О. Румера

Таким образом, Омар Хайям происходил из рода нишапурских ремесленников, а значит, можно предположить, что его отец Ибрахим был достаточно богат, чтобы дать сыну образование, соответствующее его блестящим способностям – тот учился в лучших учебных заведениях Хорасана.

Восстановить биографию Хайяма трудно, так как сведения о нем весьма скудны, в особенности о первых и последних годах его жизни. Известны только три сообщения о Хайяме, написанные людьми, лично знавшими его. Ученик Хайяма, Абд ар-Рахман ал-Хазини, в своем сочинении «Книга о весах мудрости», написанном в 1121 году, сообщает о том, что Хайям изучал различные виды водяных весов. Ахмад ан-Низами ал-Арузи ас-Самарканди {11} в рукописи «Четыре беседы» (1151 г.), сообщает, что в 506 году хиджры (1112 г.) он встречался с Хайямом во дворце эмира в Балхе {12}. Абу-л(ь)-Хасан ал(ь)-Байхаки {13} в «Дополнении к «Охранителям мудрости», описывает свою встречу с Хайямом в 507 году хиджры (1113 г.), когда автор, в то время семилетний мальчик, пришел к Хайяму по поручению своего отца и тот задавал вопросы по поводу одного арабского стихотворения и о видах дуг окружности. Сведения о Хайяме и его трудах, сообщаемые более поздними средневековыми авторами, получены ими из вторых или третьих рук.

Установить точную дату рождения Хайяма помог гороскоп, найденный в его бумагах и приведенный Байхаки: «Его гороскопом были Близнецы; Солнце и Меркурий были в 3-м

градусе Близнецов, Меркурий был в соединении, а Юпитер был по отношению к ним обоим в тригональном аспекте». Исходя из этих данных, датой рождения Хайяма могли быть дни 17, 18 или 19 мая, а возможный год рождения с 1015 по 1054. Свами Говинда Тиртха, внимательно изучив эти сведения, пришел к выводу, что Хайям родился 18 мая 1048 года; позднее эта же дата как наиболее вероятная была подтверждена Ш. Шараф – сотрудницей Института теоретической астрономии Академии наук СССР.

Казалось бы, дата рождения Хайяма установлена, но… «Хайям был бы чересчур молод, чтобы в 1074 году числиться среди «лучших астрономов века», приглашенных Мелик-шахом {14} для реформы календаря, и чтобы в 1080 году имам и судья провинции Фарс вызывал его на философский диспут, титулуя «царем философов Запада и Востока», – пишет переводчик и исследователь жизни Хайяма И. Голубев. – Так что трудно согласиться с 1048 годом рождения. Возможно, это был чужой гороскоп, сохранившийся в бумагах профессионального астролога».

Тот же Байхаки утверждает, будто Хайям был учеником Ибн Сины, умершего в 1037 году, а сам Хайям в «Трактате о бытии и долженствовании», касаясь одной сложной философской концепции, пишет: «Я и мой учитель <…> Ибн Сина <…> обратили внимание на этот вопрос, и, быть может, нами это обсуждение доведено до удовлетворения наших душ». Слова «наше обсуждение» наводят на мысль о личном разговоре с Ибн Синой, который не мог состояться, если бы Хайям родился в 1048 году. Кроме того, Табризи сообщает о переписке, в том числе об обмене четверостишиями, между Хайямом и Абу-Саидом Мейхени[5], который умер… в 1048 году.

Наконец, существует легенда о совместных детских годах Хайяма, визиря Низам аль-Мулька {15} и главы исмаилитов Хасана Саббаха {16}: «Наш повелитель [исмаилитский титул Саббаха], Омар Хайям и Низам аль-Мульк вместе учились у учителя в Нишапуре. По обычаю детских лет, как и полагается мальчикам, они соблюдали правила дружбы и преданности и придерживались их до такой степени, что, выпив крови друг друга, поклялись, что если кто-нибудь из них достигнет высокой степени и величественного положения, то будет покровительствовать и помогать другим».

Сегодня эта легенда считается неправдоподобной, именно потому, что датой рождения Хайяма считается 1048 год, в то время как Низам аль-Мульк появился на свет в 1017 году, а Саббах – в 1054 или 1055 году. Так что – теоретически – соучениками могли быть лишь Хайям и Саббах, но ни

биографические источники, ни известные факты из жизни Хайяма этого не подтверждают.

Не менее запутан и вопрос о месте рождения Хайяма. Историк Ахмад Татави в 1589 году пишет: «Омар родился в Нишабуре, и предки его также были нишабурцы. Некоторые признавали его происходящим из деревни Шемшад, волости Бальха, а рождение его полагали в деревне Бесенг, из волостей Астерабада; как бы то ни было, большею частью он жил в Нишабуре». Аль-Байхаки писал, что Хайям «был из Нишапура и по рождению и по предкам» (на это же указывает и добавление Нишапури (по-персидски) или ан-Найсабури (по-арабски) к его имени).

В одних источниках указывается, что молодой Хайям учился в Нишапуре, в других говорится, что в ранней молодости он жил в Балхе. В качестве учителя называется имя некого «главы ученых и исследователей по имени Насир альмилла ва-ад-Дин шейх Мухаммед-и Мансур», о котором больше нет никаких сведений или упоминаний. По-видимому, Хайям начал свое образование в Нишапурском медресе, имевшем в то время славу аристократического учебного заведения, готовящего крупных чиновников для государственной службы, а затем продолжил его в Балхе и Самарканде.

Так или иначе, все источники сходятся в том, что к семнадцати годам Хайям овладел глубокими познаниями во многих областях человеческих знаний и указывают на его замечательные природные способности и память. «Он был мудрец, человек сведущий во всех областях философии, особенно же в математике», – говорит о Хайяме Закарийя аль-Казвини. Аль-Байхаки характеризует Хайяма как «знатока языковедения, мусульманского права и истории». Он же рассказывает о превосходной памяти Хайяма: «Однажды в Исфахане он внимательно прочел одну книгу семь раз подряд и запомнил ее наизусть, а возвратившись в Нишапур, он продиктовал ее, и когда сравнили это с подлинником, между ними не нашли большой разницы». Ал-Байхаки называет Хайяма «последователем Абу Али [Ибн Сины] в различных областях философских наук», под которыми в Средние века понимались: «высшая наука» или «метафизика» (философия в нашем смысле слова), «средняя наука» – математика и «низшая наука» – физика, и практические науки. К последним относились политические, юридические и науки о морали и нравственности. Хайям, кроме всего прочего, специально изучал весь комплекс филологических дисциплин, входящих в понятие средневековой образованности; хорошо знал родную поэзию, арабскую литературу, в совершенстве владел

арабским языком и знал основы стихосложения.

К окончанию учебы относится первый опыт самостоятельной научной работы Хайяма в области математики, посвященный извлечению корня любой целой положительной степени n из целого положительного числа N. Первый трактат Хайяма до нас не дошел, однако имеются ссылки на его название – «Проблемы арифметики». Указывается, что в этом трактате Хайям на базе более ранних работ индийских математиков по сути дела предложил метод решения уравнений $x^n = a$ (n – целое число). Кроме того, в трактате, по всей видимости, содержалось правило разложения натуральной степени двучлена $(a + b)^n$, то есть известная формула бинома Ньютона для натуральных показателей. Разумеется, пока рукопись «Проблем арифметики» не найдена, о ее содержании можно только догадываться, опираясь, прежде всего, на труды учеников и последователей Хайяма.

Вообще, математические сочинения Хайяма, дошедшие до наших дней, характеризуют его как выдающегося ученого. В трактате «О доказательствах задач алгебры и алмукабалы» он дал в геометрической форме систематическое изложение решения уравнений до третьей степени включительно. Трактат «Комментарии к трудным постулатам книги Евклида» содержит оригинальную теорию параллельных.

После окончания обучения Хайяму пришлось пережить ряд тяжелых испытаний. По каким-то причинам, возможно связанным с политическими событиями, он вынужден был покинуть Хорасан, и дальнейшие сведения о Хайяме связаны с Мавераннахром {17}, столицей которого был сначала Самарканд, а затем – Бухара.

Во времена Хайяма ученый мог заниматься наукой только при дворе того или иного правителя, занимая одну из четырех должностей – секретаря (дабира), поэта, астролога или врача. Было принято считать, что именно ученые царедворцы обеспечивают правителю прочность власти и ее великолепие. Вельможи XI века соперничали между собой в блеске своей свиты, переманивали друг у друга образованных придворных, а самые могущественные просто требовали передать в их распоряжение прославившихся ученых и поэтов.

Судьба ученого в значительной степени зависела от милости или немилости правителя, его нрава и капризов, от придворных интриг и дворцовых переворотов. Так что положение Хайяма во многом определялось чередой сменяющих друг друга покровителей, от которых он зависел, которых упоминал и благодарил в своих трудах. Первым из них был главный судья города Самарканда, которого Хайям превозносил как «славного и

несравненного господина, судьи судей имама».

После Абу Тахира Хайям пользовался покровительством бухарского хакана (или что то же самое – хана, хагана) Шамс аль-Мулука, который возвеличивал имама Омара и сажал его с собой на трон. Весьма вероятно, что ко двору Шамс аль-Мулука Хайям был представлен Абу Тахиром. О пребывании Хайяма в Бухаре известно только со слов Табризи: «Я слышал еще, что когда ученый [Хайям] соблаговолил прибыть в Бухару, через несколько дней после прибытия он посетил могилу весьма ученого Мухаммеда аль-Бухари {18}, автора «Собрания правильного», да освятит Аллах его душу. Когда он дошел до могилы, ученого осенило вдохновение, и он двенадцать дней и ночей блуждал по пустыне и не произносил ничего, кроме четверостишия:

Хоть послушание я нарушал, Господь,
Хоть пыль греха с лица я не стирал, Господь,
Пощады все же жду: ведь я ни разу в жизни
Двойным единое не называл, Господь… {19}

Перевод О. Румера

Важную роль в судьбе Хайяма сыграло то, что племянница Шамс аль-Мулука Туркан-хатун вышла замуж за султана Малик-шаха. В 1074 году, когда после длительного противостояния сельджукам Шамс аль-Мулук признал себя вассалом Малик-шаха, Хайям был приглашен в Исфахан, к султанскому двору руководить реформой иранского календаря. Приглашение исходило, по-видимому, от визиря Низам аль-Мулька.

1074 год стал поворотным в судьбе Хайяма – начался двадцатилетний период научной деятельности, который дал поистине блестящие результаты. Легенда – та же, что рассказывала о детских годах Хайяма – гласит: «Случилось, что Низам аль-Мульк достиг степени визиря. Омар Хайям явился к нему и напомнил о клятвах и договорах дней детства… Низам аль-Мульк, признав старое право, сказал: «Управление Нишапуром и его округой принадлежит тебе». Омар, бывший великим ученым, досточтимым и мудрым, сказал: «Я не думаю о власти, приказаниях и запрещениях народу. Лучше прикажи ежегодно выдавать мне жалованье». Низам аль-Мульк назначил ему десять тысяч динаров из дохода Нишапура, которые платили ему каждый год без уменьшения».

Город Исфахан, в который был призван Хайям, был в то время столицей могущественной державы Сельджукидов[6], простиравшейся от Средиземного моря на западе до границ Китая

на востоке, от Главного Кавказского хребта на севере до Персидского залива на юге. В описываемую эпоху Исфахан переживал пору своего расцвета, и двор Малик-шаха затмил своим великолепием все предыдущие иранские династии.

Впрочем, созидательная государственная деятельность и широкие просветительские преобразования, которыми отмечены эти десятилетия, происходили не столько благодаря Малик-шаху, сколько Низам аль-Мульку. Именно он открыл в Исфахане, Багдаде, Басре, Нишапуре, Балхе, Мерве, Герате учебно-научные академии (медресе); по имени визиря они повсеместно назывались Низамийе. Для исфаханской академии Низам аль-Мульк выстроил величественное здание и пригласил для преподавания в ней известных ученых из других городов. Исфахан, славящийся ценнейшими собраниями рукописных книг, обладающий прочными культурными традициями, стал научным центром.

Будучи придворным ученым, Хайям в 1077 году закончил математический труд «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида». К тому же времени относится перевод Хайямом проповеди Ибн Сины с арабского языка на персидский. В 1080 году написан философский «Трактат о бытии и долженствовании», а немного позже – «Ответ на три вопроса: необходимость противоречия в мире детерминизма и долговечности».

«Трактат о бытии и долженствовании» был написан в ответ на письмо судьи и имама ан-Насави, предложившего Хайяму высказаться по вопросам «о мудрости Творца в сотворении мира и в особенности человека и об обязанности людей молиться». К этому трактату непосредственно примыкает «Ответ на три вопроса», в предисловии к которому Хайям пишет, что он не ожидал получить «вопросы, в которых содержится столь сильное сомнение».

Оба трактата были написаны Хайямом для того, чтобы снять с себя подозрения в богохульстве и атеизме – именно это следовало из многочисленных рубаи, сочиненных им в то время. Основное содержание ответа Хайяма сводится к тому, что он рационалистически, в духе Аристотеля, обосновывает необходимость божества как первопричины – иначе получилась бы бесконечная цепь или порочный круг, что нелепо. Объявляя себя учеником Ибн Сины, он далее выступает как сторонник учения о нисходящей цепи порядка всего существующего. Согласно этому учению, божество создает чистый разум, который творит душу, душа – небо и т. д.

Затем обосновывается необходимость зла, сопутствующего

благу. Как говорится в «Ответе на три вопроса», воздержание от создания тысячи благ из-за появления при этом одного зла, было бы большим злом, а Бог милосерден. Наконец, переходя от проблем бытия к проблемам долженствования, Хайям говорит о необходимости в обществе разделения труда между людьми и установления справедливого закона. Такой закон может быть дан только наиболее сильным разумом и чистым душой человеком, пользующимся поддержкой Аллаха, т. е. пророком. Из этих рассуждений вытекает необходимость молитв: пророк смертен, и введенные им законы не удержатся, если люди не будут постоянно вспоминать в молитвах как эти законы, так и законодателя и Аллаха.

Ответы были признаны удовлетворительными, но обстоятельства появления обоих сочинений порождают сомнения в искренности их автора. В целом, отношения Хайяма с мусульманским духовенством остались весьма натянутыми. Рассказывают о случае, относящемся ко времени, когда Хайям еще жил в Нишапуре: «Один из законоведов приходил ежедневно к Омару перед восходом солнца и под его руководством изучал философию, на людях же отзывался о нем дурно. Тогда Омар созвал к себе в дом всех барабанщиков и трубачей, и, когда законовед пришел по обыкновению на урок, Омар приказал им бить в барабаны и дуть в трубы, и собрался к нему со всех сторон народ; Омар сказал: «Нишабурцы! Вот вам ваш ученый: он ежедневно в это время приходит ко мне и постигает у меня науку, а среди вас говорит обо мне так, как вы знаете. Если я действительно таков, как он говорит, то зачем он заимствует у меня знание, если же нет, то зачем поносит своего учителя?»

О антиисламском мировоззрении Хайяма говорит и Ибн ал-Кифти: «Омар-ал-Хайям – имам Хорасана, ученейший муж своего времени, который преподает науку греков и побуждает к познанию Единого Воздаятеля посредством очищения плотских побуждений ради чистоты души человеческой и велит обязательно придерживаться идеальных между людьми отношений согласно греческим правилам. <…> Между тем сокровенное (внутренний смысл) его стихов – жалящие змеи для мусульманского законоположения».

В то же время, хотя нет оснований считать Хайяма убежденным атеистом, он был далек от официальной религии и ортодоксии. Теологи называли его «несчастным философом, материалистом и натуралистом».

Несмотря на неоднозначную репутацию, Омар Хайям входил в ближайшую свиту Малик-шаха, в число его надимов – советчиков, наперсников и компаньонов, и, разумеется,

практиковал как астролог. Слава Хайяма – астролога-прорицателя, наделенного особым даром ясновидения, была очень велика; еще до появления при дворе Малик-шаха он был известен как высший авторитет среди астрологов.

Омар Хайям был приглашен для строительства и управления дворцовой обсерваторией. По свидетельству источников, султан, собрав у себя при дворе «лучших астрономов века» и выделив крупные денежные средства для приобретения самого совершенного оборудования, поставил перед Омаром Хайямом задачу – разработать новый календарь.

В течение пяти лет астрономы вели научные наблюдения в обсерватории, и разработали «Маликшахово летосчисление» – новый календарь, отличавшийся высокой точностью. В его основе лежит тридцатитрехлетний период, включающий восемь високосных лет (високосные годы следовали семь раз через четыре года и один раз через пять лет). «Маликшахово летосчисление» оказалось на семь секунд точнее ныне действующего григорианского календаря.

Разработанный календарь, однако, так и не был внедрен. Сам Хайям пишет, что «время не дало возможности султану закончить это дело, и високос остался незаконченным», поскольку относительно спокойный период жизни Омара Хайяма при исфаханском дворе оборвался в конце 1092 года, когда при невыясненных обстоятельствах скончался султан Малик-шах (по-видимому, он был отравлен); за месяц до этого террористом-ассасином по приказанию Саббаха был убит Низам аль-Мульк.

В это время старшему сыну Малик-шаха Баркйаруку исполнилось 14 лет, средним сыновьям Мухаммаду и Санджару – 10 и 6 лет, а младшему Махмуду – 5 лет. Турканхатун, опираясь на тюркскую гвардию, добилась провозглашения султаном Махмуда и в 1092 году стала фактической правительницей государства.

Положение Омара Хайяма при дворе пошатнулось – финансирование научной деятельности постепенно прекратилось. Хайям предпринял попытку заинтересовать новых правителей в субсидировании обсерватории, написав трактат «Науруз-наме», посвященный истории празднования Науруза, солнечному календарю и различным календарным реформам. Исторический трактат был адресован новым правителям государства Сельджуков в расчете побудить их возобновить денежную помощь обсерватории, что особенно видно в главе «Об обычаях царей Ирана», где акцентируется внимание на покровительстве ученым. Увы, книга не помогла – Исфаханская обсерватория пришла в запустение и была закрыта.

Туркан-хатун не благоволила к Хайяму, возможно, из-за давней вражды с Низам аль-Мульком, да и сам он нелестно отзывался о владычице султаната. В частности, ей посвящено приписываемое Хайяму четверостишие, намекающее на отношения правительницы с начальником придворной гвардии:

На чьем столе вино, и сладости, и плов?
Сырого неуча. Да, рок – увы – таков!
Глаза Туркан-хатун – красивейшие в мире —
Добычей стали чьей? Гулямов и юнцов!

Перевод О. Румера, С. Морочник, Б. А. Розенфельда

В 1094 году Махмуд умер от оспы, и султаном стал 16-летний Баркйарук, а после смерти Баркйарука в 1104 году его четырехлетний сын Малик-шах II. В 1105 году на престол взошел второй сын Малик-шаха Мухаммад, который умер в 1118 году, оставив трех малолетних сыновей, и престол захватил Санджар – последний из оставшихся в живых сын Малик-шаха, царствовавший до самой смерти, наступившей в 1157 году.

Санджар, при котором государство сельджуков значительно сократилось, перенес столицу государства в Мерв, а после его смерти оно распалось. Хрестоматийным стал рассказ об эпизоде, связанном с полным крушением придворной карьеры Омара Хайяма, – некоторые биографы относят его к 1097 году: «Однажды имам Омар пришел к великому султану Санджару, когда тот был мальчиком и болел оспой, и вышел от него. Визирь Муджир ад-Даула спросил у него: «Как ты нашел его и чем ты его лечил?» Он ответил: «Мальчик внушает страх». Это понял слуга-эфиоп и доложил султану. Когда султан выздоровел, то по этой причине он затаил злобу на имама Омара и не любил его».

Этот эпизод относится, по-видимому, к первым годам царствования Баркйарука. Видимо, Санджар заподозрил Хайяма в недобросовестном лечении или в «дурном глазе». Возможно, что это было связано с тем, что Хайям участвовал и в лечении Махмуда и Баркйарука.

Вообще, времена, когда Хайяму оказывал поддержку тот или иной покровитель, регулярно сменялись мрачными периодами подозрений и преследований, доходивших до того, что ученому приходилось опасаться за свою жизнь. Не удивительно, что в своих четверостишиях Хайям восклицал:

О небо, ты души не чаешь в подлецах!

Дворцы, и мельницы, и бани – в их руках;
А честный просит в долг кусок лепешки черствой…
О небо, на тебя я плюнул бы в сердцах!

Перевод В. Державина

О позднем периоде жизни Омара Хайяма известно так же мало, как и о его юности. Источники указывают, что некоторое время он жил в Мерве, и к его славе выдающегося математика и астронома прибавилась крамольная слава вольнодумца и вероотступника. Философские взгляды Хайяма – последователя Аристотеля и Авиценны – вызывали раздражение ревностных последователей ислама, а его отношения с высшим духовенством приняли такой опасный характер, что он вынужден был совершить паломничество в Мекку.

Арабский историк и биограф Джамал ад-Дин ибн Аль-Кифти в «Истории мудрецов» сообщил: «Когда же его современники очернили веру его и вывели наружу те тайны, которые он скрывал, он убоялся за свою кровь и схватил легонько поводья своего языка и пера и совершил хадж по причине боязни, не по причине богобоязни. <…> Не было ему равного в астрономии и философии, в этих областях его приводили в пословицу; о если бы дарована была ему способность избегать неповиновения Богу!»

Возможно, именно перипетиями предыдущих лет объясняется то, что, по словам аль-Байхаки, в конце жизни Хайям «имел скверный характер и был скуп», «был скуп в сочинении книг и преподавании».

Лишь через 25 лет гонений, когда к власти пришел сын Низам аль-Мулька, Омар Хайям вернулся в Хорасан, в родной Нишапур, где и провел последние годы жизни, лишь изредка покидая его для посещения Бухары или Балха. Ему к тому времени было, по-видимому, более 70 лет. Возможно, Хайям преподавал в Нишапурском медресе, имел учеников, изредка принимал искавших встречи с ним ученых и философов, участвовал в научных диспутах. Табризи сообщает, что у Хайяма «никогда не было склонности к семейной жизни, и он не оставил потомства. Все, что осталось от него, – это четверостишия и хорошо известные сочинения по философии на арабском и персидском языках».

В современных исследованиях по истории науки философские положения Омара Хайяма отождествляются с учением Авиценны, которое определяется как средневековое восточное аристотелианство. Эта картина мира, принятая в свое время западно-европейской схоластикой, нашла отражение в

«Божественной комедии» итальянского поэта Данте Алигьери. Элементы неоплатонизма в сочетании с положениями мистики чисел, утверждение несомненной реальности внешнего мира и признание всеобщей причинной связи между явлениями природы, отрицание возможности существования мира идей вне мира вещей, проблема происхождения зла и проблема абсолютной предопределенности, учение о субстанциях – все эти идеи Хайяма шли вразрез с мусульманской ортодоксией.

Что касается четверостиший Хайяма, то они парадоксальны: в них выражены противоположные, в принципе несовместимые позиции (это, кстати, в свое время привело к вопросу о том, может ли один человек быть автором настолько разнородных произведений). И действительно – у Хайяма есть и стихи славящие Аллаха и безбожные рубаи, и стихи с призывами к высокой морали, и ерничество по поводу пьянства и развратности своего «лирического героя». Как писал член-корреспондент Петербургской Академии наук В. А. Жуковский, один из первых в России исследователей наследия Омара Хайяма: «Он – вольнодумец, разрушитель веры; он – безбожник и материалист; он – насмешник над мистицизмом и пантеист; он – правоверующий мусульманин, точный философ, острый наблюдатель, ученый; он – гуляка, развратник, ханжа и лицемер; он – не просто богохульник, а воплощенное отрицание положительной религии и всякой нравственной веры; он – мягкая натура, преданная скорее созерцанию божественных вещей, чем жизненным наслаждениям. <…> Можно ли в самом деле представить человека, если только он не нравственный урод, в котором могли бы совмещаться и уживаться такая смесь и пестрота убеждений, противоположных склонностей и направлений, высоких доблестей и низменных страстей и колебаний».

На первый взгляд это кажется невозможным, но все становится на свои места, когда выясняется, что в рубаи прослеживается весь жизненный путь поэта. Переводчик И. Голубев так представляет основные вехи на этом пути: «Доверчивое благоговение перед Богом, потом осторожные жалобы на тяготы пути, потом просьбы, мольбы, сомнения, наконец – требования; потом внимательный анализ творческой деятельности Бога, ошеломляющие догадки о месте Бога и человека в мире; Хайям раскрывает позорную тайну Творца и перестает его уважать, и тогда уже звучат издевки, насмешки, наконец, откровенные проклятия, порожденные не только эмоцией, но и знанием».

Хайям писал стихи всю свою долгую жизнь, о чем

свидетельствуют упоминания в них возраста – то «скоро тридцать», то «уже за семьдесят». И действительно, начинал он с юношеского восхваления Аллаха:

Мир прекрасен! На все благодарно взирай!
Нам для жизни Господь подарил этот рай!
За бездомность, которую друг не осудит,
Горьким словом упрека ты нас не карай.

Перевод Н. Тенигиной

Мы – цель созданья, смысл его отменный,
Взор Божества и сущность зрящих глаз.
Окружность мира – перстень драгоценный,
А мы в том перстне – вправленный алмаз. —

Перевод К. Бальмонта

постепенно приходя к отрицанию божественного и божественности по мере совершенствования своей мировоззренческой системы (ведь даже если эти четверостишия не принадлежат Хайяму, то они показывают, что в персидской традиции антирелигиозные стихи прочно связаны с его именем):

Страданий горы небо громоздит,
Едва один рожден, другой – убит.
Но неродившийся бы не родился,
Когда бы знал, что здесь ему грозит.

Перевод В. Державина

Вхожу в мечеть смиренно, с поникшей головой,
Как будто для молитвы… Но замысел иной:
Здесь коврик незаметно стащил я в прошлый раз;
А он уж поистерся, хочу стянуть другой.

Перевод Л. Некоры

То он лики чудесные миру дарит,
То творенья свои беспощадно крушит.
Нет таких, кто спросил бы у Мастера-Рока:
Для чего, сотворив, он расправу вершит?

Перевод Н. Тенигиной

Точно так же получают объяснения и другие «противоречия» личности Хайяма: надо только расставить его четверостишия в верной временной последовательности (опорными точками могут служить рубаи, прямо или косвенно указывающие на возраст автора).

Кроме вопроса о внутренней противоречивости рубаията, неоднократно поднимался вопрос о том, является ли Хайям суфийским поэтом. Некоторые приписывают Хайяма к традиции суфизма, толкуя его рубаи как мистические откровения.

Здесь, видимо, нужно небольшое отступление. В VII веке Иран, страну древнейших религий, завоевали арабы, навязав персам элементы своей культуры, в том числе ислам. Персы восприняли более демократичную шиитскую ветвь мусульманства, склонную к образованию различных толков и сект, порой далеко уводящих от ортодоксального ислама. Древний Иран – нынешний оплот фундаментализма – отличался большей, чем арабские страны, веротерпимостью (относительной, конечно – тот же Хайям подвергался религиозным гонениям). Во времена Хайяма там уживались мусульманство, звездопоклонничество и огнепоклонничество (зороастризм), иудейская вера, христианство и древнеиндийские мистические учения. В этих условиях появился суфизм.

Суфизм, мусульманский мистицизм, возник на основе строгого аскетизма, призванного приводить к «высшему знанию» – познанию Бога, и перенял многое из духовных практик Индии. Название этой секты происходит от персидского слова *«суф»* («шерсть»): древние суфии носили простую одежду из грубой, некрашеной верблюжьей шерсти – самого дешевого материала, соответствующего бумажной ткани, из которой шились одежды индийских аскетов.

Посвященный в суфии должен был пройти три этапа на пути к духовному просветлению и единению с Богом: шариат, тарикат и хакикат. Шариат – это весь комплекс принципов и правил поведения, предписанных мусульманину; для суфия его соблюдение обязательно без всяких послаблений (за исключением тех случаев, когда суфий намеренно и осознанно нарушает нормы шариата, чтобы избавиться от гордыни, познать презрение окружающих и возвысить свой дух смирением). Тарикат – многолетняя духовная учеба, проходящая под руководством опытного наставника и включающая в себя «стоянки» и «состояния», такие, как покаяние, терпение, бедность,

аскетизм, отречение от собственной воли. Последняя стадия совершенствования – хакикат, «Истина», и достигший ее суфий способен к интуитивному познанию, он сам размечает себе дальнейший путь духовного развития и «стоянки» на нем.

Суфии использовали поэзию для создания обладающих мощным эмоциональным воздействием мистических текстов, полных сокровенного смысла и формулирующих многие аспекты суфийского учения. Непосвященным суфийские стихи «кажутся лишь сладострастными вакхическими рапсодиями, – пишет Рамачарака в книге «Религии и тайные учения Востока». – В них постоянно говорится о «винограде» и о «виноградной лозе», о «красном вине и винной чаше»; а также они переполнены восхвалениями «возлюбленной девы», «возлюбленного», «объятий любви», «брачного ложа» и многих иных представлений и образов, которые в уме европейца связаны с предметами, весьма отдаленными от религии и благочестия». Вообще, суфийская символика группируется вокруг слов «любовь» и «вино», которые играют значительную роль и в поэзии Хайяма.

Причиной такого своеобразного стиля суфиев является то, что они были вынуждены скрывать внутренний смысл своего учения под видом общепринятых поэтических сюжетов и прибегать к использованию символов для создания «завесы» над внешним, буквальным смыслом стихов. Суфийский символизм основан на восторженном признании Бога внутри человека, на присутствии обитающего в нем Духа. Так, «объятие» означает восторг единения с божеством; «бракосочетание» – это начало познавания; «вино» – мистические учения суфиев; «лоза» и «виноград» – источник вина, т. е. сам суфизм. «Таверна» – это храм, или тайное «место обучения» суфиев; «возлюбленный» – это символ, означающей «Всеблагий», или Бог; «любовником» называется суфий, созерцающий Возлюбленного. Выражения «возлюбленная дева» или «красная роза», любимая «соловьем», употребляются как символ божества, т. е. предмета страстной любви, «любовника», или «суфия». С этой точки зрения многие «рубаи» читаются совершенно по-новому:

О мальчик! Каждой каплей вина, пролитой в прах,
Огонь тоски залил в сокрытых там очах.
Хвала Аллаху! Можем и сами мы с тобой
Изгнать напитком дивным из сердца скорбь и страх.

Перевод Л. Некоры

Чашу дайте! Светильник души не возжечь,

Пока пламя вина нас не сможет обжечь!
Ах, рубины вина! Кто бы их ни коснулся,
Губ своих уж от них не сумеет отвлечь!

Перевод Н. Тенигиной

И тем не менее, наличие явственных мистических мотивов в некоторых рубаи Хайяма не дают основания для рассмотрения всего творчества поэта как суфийского, поскольку на самом деле они противостоят основной массе стихов.

Прежде всего, для суфия недопустим бунт против шариата, так демонстративно выраженный у Хайяма. Некоторые суфийские секты выступают против внешней стороны мусульманства, но есть граница, которую суфий переступать не вправе: он не может ополчаться ни на шариат как таковой, ни – тем паче – на Аллаха. А Хайям это делает сплошь и рядом. Кроме того, у него есть рубаи, полные издевки над самими суфиями (правда, адресат каждый раз конкретен, и их нельзя толковать как осуждение суфизма). Наконец, если верить Хайяму, то ему одинаково чужды все религиозные учения (и суфизм в том числе):

Те, кто ложный имеют на Истину взгляд,
Те все ночи подряд молитву творят.
Но зерно послушания лучше пред Богом,
Чем столетней молитвы ненужный обряд!

Перевод Н. Тенигиной

Так что, несмотря на то что картина мироздания Хайяма близка к суфизму, он не является суфийским поэтом. Скорее всего, Хайям был членом этого мистического братства, был знаком с его мировоззренческими концепциями, но с годами отверг суфийские взгляды на роль Бога в жизни человека. Для Хайяма не характерно устремление к Богу.

В рубаияте поэта сохранились следы его напряженных духовных исканий. Недаром сам он упоминает о «семидесяти двух ученьях» – ветвях ислама: легко ли в таком множестве религиозных течений выбрать созвучное себе? Стихи Хайяма, рассмотренные в совокупности, позволяют выделить три этапа в его поисках собственной позиции, пишет И. Голубев:

1) восторженность перед Творцом, порождавшая экстатические стихи; вскоре – прохождение суфийской школы и последующий разрыв с ее представлениями о цели человеческих

устремлений;

2) после недолгого интереса к зороастризму – разочарование во всех известных Хайяму мировоззрениях, период «мировой скорби» в его стихах, а затем появление мотивов любви к жизни, гедонизма. Об интересе к зороастризму свидетельствуют несколько четверостиший:

К христианам, к евреям я в храмы ходил —
Обращен на Тебя взор молящихся был,
Я к язычникам шел, помня встречу с Тобою,
Твой кудрей завиток им для четок служил!

Перевод Н. Тенигиной

3) выработка и проповедование собственной мировоззренческой концепции, в которой большое место занимали размышления о вечном круговороте материи, о взаимоотношениях между Богом и человеком. Появляются образы, которые повторяются из стихотворения в стихотворение: трава и цветы, произрастающие из праха умерших, как символ смерти и постоянного возрождения; гончар и глина, глиняный кувшин – Бог и человек; вино {20} как символ человеческой крови и жизненной силы.

К примеру, вокруг одного из самых бунтарских рубаи Омара Хайяма была создана легенда, которая передается в персидско-таджикской литературной традиции как факт биографии поэта. Однажды Омар Хайям, сидя с друзьями за кувшином вина, читал стихи. Когда он прочел одно из своих богохульных рубаи, налетевший внезапно порыв ветра опрокинул кувшин, он разбился, и вино пролилось. Раздосадованный Хайям тут же сложил экспромт:

Ты мой кувшин с вином разбил, о Господи!
Ты дверь отрады мне закрыл, о Господи!
Ты пролил на землю вино пурпурное…
Беда мне! Или пьян ты был, о Господи!

Перевод В. Державина

Бог, гласит легенда, не стерпел подобного святотатства – и лицо поэта почернело. Но это свидетельство Божьего гнева не утихомирило Хайяма, и он произнес новый экспромт, устыдивший Бога и вернувший поэту его прежний вид:

Ты – благ, зачем же о грехах мне думать.
Ты – щедр, о хлебе ль на путях мне думать?
Коль, воскресив, ты обелишь меня,
Зачем о черных письменах мне думать?

Перевод В. Державина

По мнению И. Голубева, смысл первого рубаи гораздо глубже, чем простая досада об утрате вина.

Речь идет не об испорченной попойке, а о несовершенстве человека («винный сосуд»), сотворенного Богом, который сам же и обрывает жизнь своего «изделия» («багряную струю», т. е. кровь, «небрежно пролил наземь» – намек на могилу).

В целом, рубаият Хайяма представляет собой своеобразную картину мироздания и весьма смелое для его времени морально-этическое учение, цель которого – счастливая жизнь на Земле, свободной от воли Аллаха. Может быть, поэтому язык Хайяма зашифрован: пусть служители церкви высказывает свое недовольство его насмешками, но им незачем знать, что поэт не просто издевается над шариатом, но воспитывает в духе нового учения, призванного преобразовать мир.

Долгое время наиболее вероятной датой смерти Омара Хайяма считался 1123 год. Однако есть несколько источников, частично противоречащих друг другу, указывающих на другую дату. Год смерти Хайяма традиционно определяется на основании рассказа ан-Низами ас-Самарканди о посещении им могилы Хайяма через четыре года после его смерти: «В пятьсот шестом году [1112 г. н. э.] <…> Омар сказал: «Моя могила будет расположена в таком месте, где каждую весну северный ветер будет осыпать надо мной цветы». Мне эти слова показались невозможными, но я знал, что такой человек не будет говорить без основания. Когда в [пятьсот] тридцатом году [1135 г. н. э.] я был в Нишапуре, уже прошло четыре года, как этот великий человек скрыл свое лицо под покровом праха и оставил этот мир осиротевшим. В пятницу я отправился на его могилу и взял человека, чтобы он показал мне ее. Он привел меня на кладбище Хайра. Я повернул налево и увидел ее у подножья садовой стены, из-за которой виднелись ветви грушевых и абрикосовых деревьев, осыпавших свои цветы на эту могилу настолько щедро, что она была совершенно скрыта под ними. Тогда я вспомнил те слова, которые слышал от него в Балхе, и заплакал».

Из книги Низами Арузи Самарканди «Собрание редкостей» также следует, что ученый умер в 1131–1132 году. На это же указывает и Яр-Ахмед Табризи в рукописи «Дом радости»: он

умер в «четверг 12 мухаррама в деревушке одной из волостей округа Фирузгонд близ Астрабада», что соответствует 4 декабря 1131 года, которое теперь считается наиболее вероятной датой кончины Хайяма.

Существует легенда о смерти Хайяма: «Однажды он чистил зубы золотой зубочисткой и внимательно читал метафизику из «Исцеления» [Ибн Сины]. Когда он дошел до главы о едином и множественном, он положил зубочистку между двумя листами и сказал: «Позови чистых, чтобы я составил завещание. Затем он поднялся, помолился и не ел и не пил. Когда он окончил последнюю вечернюю молитву, он поклонился до земли и сказал, склонившись ниц: "О боже мой, ты знаешь, что я познал тебя по мере моей возможности. Прости меня, мое знание тебя – это мой путь к тебе". И умер».

Могила Хайяма находится в Нишапуре около мечети памяти имама Махрука. В 1934 году на средства, собранные почитателями творчества Хайяма в разных странах, был воздвигнут обелиск. Надпись на обелиске гласит:

СМЕРТЬ МУДРЕЦА 516 г. ХИДЖРЫ ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ

У могилы Хайяма присядь и свою цель потребуй,
Одно мгновенье досуга от горя мира потребуй.
Если ты хочешь знать дату построения обелиска,
Тайны души и веры у могилы Хайяма потребуй.

Авторы надписи считали, что Хайям умер в 516 году (1122 или 1123 г.). Вполне возможно, что историки будущего еще поломают голову над датой возведения обелиска, на которую в соответствии с восточной традицией указывает последняя строка четверостишия (если заменить каждую букву строки ее числовым значением в арабской буквенной нумерации и сложить эти числа, в сумме получится 1313 год, что соответствует 1934 году по христианскому календарю). Сейчас над могилой Омара Хайяма в Нишапуре возвышается величественный надгробный памятник – одно из лучших мемориальных сооружений в современном Иране.

Данте (Дуранте) Алигьери

«Любовь» – слово, объясняющее все в творчестве Данте. Вот слово, которое он видит даже на вратах Ада и которое направляет его в его странствиях через открывающиеся перед ним три мира. Это оно, как нам и объясняет поэт в стихах чудодейственных и волшебных, создает секрет того Нового искусства, из которого прорастает его повествование, секрет меры торжественной и упоительной, поступки очаровывающей, для царственной и трогательной невесомости которой неопасны даже самые чудовищные видения. Любовь для Данте – это любовь абсолютная, стремление к великому Добру, которое с детства пробудило в нем свет невинных глаз той, которая была Беатриче».

П. Клодель. «Введение к поэме о Данте»

«Данте – один из тех поэтов, кто достоин звания всемирного, или кафолического, и чье творчество отмечено тремя следующими особенностями, – так говорит о Данте П. Клодель {21}. – Это вдохновение, которое можно сравнить с тем пророческим духом, отличие которого от святости с такой тщательностью подчеркивается в Священном Писании. Но для появления истинного поэта только вдохновения недостаточно: высокий разум, разборчивость и дар критики – это негатив творческого дара. И наконец, третий дар – кафолический. Я хочу сказать, что выдающиеся поэты получали гигантскую задачу выразить столь многое, что для ее выполнения им был необходим целый мир. Цель поэзии – погружение не в «глубь бесконечного,

для того чтобы найти новое», как говорил Бодлер, а в глубь конечного для того, чтобы найти неисчерпаемое. Именно такой поэзией оказывается поэзия Данте».

Данте не просто создал одно из величайших произведений мировой литературы – «Божественную комедию», – он положил начало итальянскому литературному языку, стал последним поэтом Средневековья и первым поэтом нового времени, канонизировал стихотворную форму терцин {22}. «Данте был поэтом для поэтов, – писал Х. Блум в своей книге «Западный канон». – Он универсален, но с той оговоркой, что Данте не предназначается для галерки. <…> Данте был поэтом самосознания и стремился оставить после себя некую поэтическую форму, чьей смерти будущность не пожелает допустить. Стать центром канона – такова была уникальная роль Данте для других поэтов».

Почти все, что известно о жизни Данте Алигьери, известно с его слов – точнее из автобиографических отсылок в «Божественной комедии». Вот, к примеру, информация о дате рождения поэта, над которой ломало голову не одно поколение интерпретаторов и исследователей его творчества:

О пламенные звезды, о родник
Высоких сил, который возлелеял
Мой гений, будь он мал или велик!
Всходил меж вас, меж вас к закату реял
Отец всего, в чем смертна жизнь, когда
Тосканский воздух на меня повеял.

Перевод М. Лозинского

Предполагается, что эти слова указывают на рождение под знаком Близнецов – согласно древнейшим комментариям к «Божественной комедии» (Оттимо) именно это созвездие благоприятствовало занятиям наукой и искусством. В XIII веке еще не велись записи о рождении флорентийских граждан, поэтому астрономическое свидетельство самого Данте особенно важно.

Однако стихи не указывают точную дату; из них можно лишь заключить, что автор «Божественной комедии» появился на свет между 21 мая и 20 июня 1265 года, когда солнце находилось в созвездии Близнецов. Более точные сведения можно извлечь из заслуживающих доверия слов нотариуса Пьеро Джардини, сообщившего Боккаччо {23}, что Данте родился в мае. Год рождения поэта (1265) подтверждается «Хроникой» Виллани,

поскольку Данте по флорентийскому обычаю был крещен в баптистерии Сан Джованни в первую страстную субботу после рождения, которая пришлась на 25 марта 1266 года. Имя, данное ему при крещении, – Дуранте, впоследствии в обиходе было сокращено до Данте.

По семейному преданию, семья Алигьери происходила от римского рода Элизеев – одних из основателей Флоренции. Поэт не раз слышал и рассказ о своем прапрадеде, рыцаре Каччагвида, сопровождавшем в походах на сарацин императора Конрада III (1138–1152) и павшем в бою с мусульманами во Втором крестовом походе в 1147 году. Каччагвида (первый документально установленный предок поэта) женился на девушке по имени Альдигьера из ломбардской семьи да Фонтана, в честь которой назвал своего сына. Прадед Данте «имя роду дал»: во Флоренции Альдигьери трансформировалось в Аллигьери (с двумя «л»), затем в Алигьери (по-латыни – Алагьер) и превратилось в фамилию.

Интересно, что Данте в «Божественной комедии» называет «отцом» именно Каччагвиду (песнь XVI «Рая»), нигде не упоминая своего настоящего отца – Алагьеро де Алигьери. Данте унаследовал от знаменитого предка воинственность и непримиримость; к этому следует добавить политический пыл, доставшийся поэту от деда, ярого гвельфа {24} (во Флоренции каждый младенец, не успев родиться, уже становился приверженцем одной из партий, и Алигьери в XIII веке были гвельфами).

Приверженность гвельфам наиболее влиятельных граждан Флоренции – крупных купцов, промышленников, банкиров, влиятельных юристов – объясняется прежде всего их стремлением отстоять свою финансовую, а следовательно, и политическую независимость. Флорентийские гвельфы искали опору в папском Риме, а с 1266 года – в Неаполе, где воцарилась Анжуйская династия, враждебная Священной Римской империи. Флорентийское купечество, имеющее финансовые интересы во Франции, где скрещивались торговые пути во Фландрию, Бургундию и Англию, стремилось также поддерживать самые лучшие отношения с французскими королями.

Дед Данте, Беллинчоне, неоднократно изгонялся из Флоренции из-за своих политических пристрастий. Он смог вернуться на родину лишь в 1266 году, когда в Неаполе при поддержке папы воцарился Карл Анжуйский. Беллинчоне изучил «трудное искусство возвращаться во Флоренцию», которое его великий потомок так и не постиг. Дома он с удовлетворением наблюдал, как гвельфы разрушают дома гибеллинов, осужденных

на изгнание. Власть во Флоренции окончательно перешла в руки гвельфов, но Данте это не помогло – в свое время он был изгнан из родного города, и так и не получил возможности вернуться.

Алигьери (Алагьеро), отец Данте, человек ничем не примечательный, по-видимому, оставался во Флоренции и в период владычества гибеллинов, поскольку не принимал участия в политической борьбе. Именно поэтому Данте родился во Флоренции, а не в чужом городе, как впоследствии это случилось с сыном флорентийца-изгнанника Франческо Петраркой.

Из сохранившихся в архивах документов о семье Алигьери известно, что они владели домами и участками земли во Флоренции и окрестностях и были людьми среднего достатка. Отец Данте был, вероятно, юристом, но не брезговал и ростовщичеством. Он был женат дважды. Мать Данте, Белла (вероятно, Изабелла), умерла достаточно рано, когда поэт и его сестра, имя которой неизвестно, были еще детьми. После ее смерти отец женился на Лапе ди Кьяриссимо Кьялуффи, и в этом браке родились сын Франческо и дочь Гаэтана (Тана). Около 1283 года Алагьеро умер, оставив детям скромное имение во Флоренции и загородный домик.

Одна из сестер Данте вышла замуж, и ее сын Андреа был очень похож на своего знаменитого дядю. Именно с Андреа был знаком Боккаччо, получивший от него некоторые сведения о семье Алигьери и донесший их до современников. Данте воспел одну из своих сестер в поэме «Новая жизнь» в образе молодой дамы, склонившейся над ложем больного поэта.

Франческо, брату Данте, в декабре 1297 года было не менее 18 лет; этим временем датирован документ, из которого следует, что вместе с Данте он взял взаймы 480 золотых флоринов. В 1302 году Франческо изгнали из Флоренции, но он смог вернуться на родину; враждебная партия Черных гвельфов его не преследовала, и он оказал Данте и его семье некоторую помощь. В 1332 году Франческо купил участок земли возле города, где и жил до самой смерти.

Жизнь самого Данте также зависела от затяжного конфликта императора и папы. В 1285 году он принимал участие в небольшом походе против Монтеварки. В 1287 году, по-видимому, был в Болонье. В июне 1289 года бился с аретинцами при Кампальдино (эта битва несколько раз упоминается в «Божественной комедии»), а через два месяца участвовал во взятии замка Капроны.

После смерти отца, восемнадцати лет от роду Данте стал старшим в семье. Он безапелляционно заявлял, что умеет в совершенстве писать стихи и что этим «ремеслом» он овладел

самостоятельно. Последнее утверждение полностью соответствовало истине: школа дала Данте начатки знаний в рамках средневековых школьных программ, т. е. почти никаких, университета во Флоренции в то время еще не было. Так что закладывать настоящие основы знаний Данте приходилось самому: он читал все, что попадало под руку, и перед ним понемногу начинал рисоваться его собственный путь мыслителя и поэта.

Среди поэтов Данте сознательно выбрал в качестве образца Вергилия {25}, который вскоре стал его «вождем, господином и учителем». Он изучил французский и провансальский языки (именно провансальские поэты дали ему первые образцы стихов), стал в огромном количестве читать поэмы о Трое и Фивах, об Александре Македонском и Цезаре, о Карле Великом и его паладинах, а в рифмованных французских энциклопедиях и дидактических поэмах находил недостающие знания.

Есть основания утверждать, что Данте некоторое время учился в школе правоведения в Болонье, где познакомился с поэтом и знаменитым юристом Чино да Пистойя[7] и поэтом Гвидо Гвиницелли, которого позднее назвал в «Божественной комедии» своим отцом в искусстве песен любви. Гвиницелли был основоположником «сладостного нового стиля» *(«дольче стиль нуово»* {26}*),* который позднее развила флорентийская поэтическая школа во главе с Гвидо Кавальканти {27} – прямым вдохновителем Данте.

В честь Кавальканти Данте написал много стихов, прославляя его удивительный талант; поэту посвящены отдельные части в поэме «Новая жизнь». Тем не менее, отношения Данте и Кавальканти были достаточно сложны (в свое время, несмотря на дружбу, Данте был вынужден голосовать за изгнание Гвидо из Флоренции).

Огромную роль во Флоренции в то время играл бывший изгнанник, писатель, переводчик и правовед Брунетто Латини {28}, который стал другом и учителем Данте (его он тоже назвал в «Божественной комедии» отцом). Именно Латини наиболее сильно повлиял на его интеллектуальное и духовное развитие, на формирование идей о светском государстве, независимом от церкви и справедливом обществе на земле. Сам о себе Латини говорил, что он человек светский, да и автор флорентийской хроники Джованни Виллани прямо называет его «человеком вполне мирским».

Латини обладал энциклопедическими знаниями, приобретенными во Франции, где он жил как изгнанник (изгнание было почти обязательной главой в биографиях едва ли

не всех писателей и поэтов Флоренции того времени), помимо Библии он цитировал Цицерона, Сенеку, Аристотеля, Цезаря, Вергилия, Овидия, Ювенала, Платона, Демосфена. Среди наук Латини на первое место ставил политику и риторику; он, по словам современника, «впервые освободил флорентийцев от неотесанности, обучив их красноречию и великому искусству руководить политикой сообразно с наукой». Вероятно, именно у него Данте изучал ars dictamini, искусство сочинять письма и трактаты как на латыни, так и на volgare (народном языке).

Латини умер в 1294 году, и о воображаемой встрече с ним Данте рассказывает в XV песне «Ада», вкладывая в уста своего учителя предсказание своей судьбы и изгнания, а также просьбу позаботиться о его «Сокровище».

В юношеском произведении «Новая жизнь» («Vita nuova»; по другим толкованиям – «Молодость»), написанном в начале 90-х годов XIII века, Данте почти ничего не говорит о событиях своего времени. Его «малая книга памяти» (так называет Данте «Новую жизнь») написана в стихах и прозе. Каждое из стихотворений, входящих в эту книжку (24 сонета, 5 канцон {29} и одна баллада), сопровождается прозаическими вставками, объясняющими, как появилось то или иное произведение. В целом – это поэтическая история любви Данте, первая в новой литературе автобиография ликующей и страдающей души. «Новая жизнь» – первый психологический роман в Европе после античной цивилизации и вместе с тем лучший сборник лирических стихов Высокого Средневековья.

«В этом произведении, – пишет И. Голенищев-Кутузов, – Данте развивает теорию куртуазной любви {30} к женщине, примиряя ее с христианской любовью к Богу». В «Новой жизни» Данте воспел свою первую любовь – Беатриче; и с тех пор Данте и Беатриче стали таким же символом любовной пары, как Петрарка и Лаура, Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта. Как все поэты «нового сладостного стиля», Данте соединил восхваление избранной им героини с мистическим толкованием любви как стремления к божеству. Сложная символика образа возлюбленной Данте вызвала к жизни огромное количество литературы по этому вопросу, причем часть исследователей склонна была видеть в Беатриче лишь поэтическую фикцию – аллегорическое выражение политических или философских идеалов и устремлений автора.

Реальное существование Беатриче можно считать установленным с тех пор, как в архивах было найдено завещание Фолько ди Портинари, в котором упоминается имя его дочери Беатриче, с которой биографы и идентифицируют возлюбленную Данте. Боккаччо писал, что она была дочерью богатого и

уважаемого гражданина Флоренции Фолько Портинари (умершего в 1289 году) и женой влиятельного банкира Симоне де Барди. Беатриче умерла в 1290 году, когда ей было 25 лет.

В начале повествования выясняется, что автор впервые увидел Беатриче, когда ему было девять лет, а ей – почти девять. «Числа «девять» и «три» во всех произведениях Данте многозначимы и неизменно предвосхищают появление Беатриче, – утверждает исследователь творчества поэта И. Голенищев-Кутузов. – Числом «девять» отмечено ее младенческое явление отроку Данте. Беатриче умерла, когда совершенное число «десять» повторилось девять раз, т. е. в 1290 году».

От провансальцев и их последователей в Италии Данте перенял обычай таить имя своей дамы. В честь «дамы защиты», подменяющей настоящую владычицу сердца, он пишет стихи, не вошедшие в «Новую жизнь». К ним относится сонет, посвященный Гвидо Кавальканти, о трех Прекрасных Дамах, которые вместе со своими возлюбленными плывут по морю в ладье, зачарованной волшебником Мерлином.

Данте так преуспел в своей выдумке, что в городе стали сплетничать о его увлечении. Тогда Беатриче «отказала ему в спасительном своем приветствии» и повергла в отчаяние:

И в этот миг мне Бог любви вещает:
«Беги отсель иль в пламени сгори!»
Лицо мое цвет сердца отражает.
Ищу опоры, потрясен внутри;
И опьяненье трепет порождает.
Мне камни, кажется, кричат: «Умри!»

Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова

Любовные стихи Данте были исполнены горечи и ощущения обреченности; автор «Новой жизни» в это время воспринимал власть любви трагически, как и его первый друг, еретик Гвидо Кавальканти. Однако светское влияние заставило Данте изменить свой поэтический стиль, и он начал цикл стихов, прославляющих Беатриче и должных поведать недостойному миру о чудесном явлении благороднейшей дамы:

В ее очах Амора откровенье,
Преображает всех ее привет.
Там, где проходит, каждый смотрит вслед;
Ее поклон – земным благословенье.

Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова

Или:

Приветствие владычицы благой
Столь величаво, что никто не смеет
Поднять очей. Язык людской немеет,
Дрожа, и все покорно ей одной.
Сопровождаемая похвалой,
Она идет; смиренья ветер веет.
Узрев небесное, благоговеет,
Как перед чудом, этот мир земной.

Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова

Образ юной красавицы, полной любви и сожаления к тоскующему Данте, все более овладевал его сердцем. Далее мы узнаем о возврате поэта к былой любви, о его раскаянии, о чудесном видении, ему представшем. Беатриче является в тех кроваво-красных одеяниях, в которых он увидел ее впервые в детстве. Данте кажется, что весь город охвачен великой скорбью, которую ощущают и пилигримы из дальних стран, проходящие по улицам горестной Флоренции. Он мысленно возносится в Эмпирей, и там – «за сферою предельного движенья» – видит свою любовь,

Покинувшую плен земных тревог,
Достойную похвал и удивленья.

Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова

На последней странице «Новой жизни» Данте обещает, что скажет о Беатриче, если только продлится его жизнь, то, что никогда не было сказано ни об одной женщине. И это обещание было выполнено, когда Данте написал свою «Божественную комедию».

Восхваляя Прекрасную Даму, Данте предчувствовал ее смерть, и вторая часть «Новой жизни» посвящена роковым предзнаменованиям. После смерти Беатриче Данте оплакивал ее в стихах, но не пожелал сообщить о подробностях горестного события в прозе своей «книги памяти», поэтому подробности смерти дамы сердца Данте неизвестны. В конце «Новой жизни» повествуется о некой «сострадательной даме», взгляды которой

утешали Данте. Сам поэт утверждает, что эта «сострадательная дама» была «достойнейшей дочерью Повелителя вселенной, которую Пифагор именовал Философией».

После смерти Беатриче Данте начал поиск истины, которую «как бы в сновидении» он прозревал в «Новой жизни»; поэт натолкнулся на трактат Боэция {31} «Об утешении в философии», и чистое умозрение увлекло его. Вообразив Мадонну Философию в облике благородной дамы, поэт стал ходить туда, «где она истинно проявляла себя, – в монастырские школы и на диспуты философствующих». Эти занятия имели огромное значение для всего дальнейшего поэтического пути Данте, поскольку именно тогда он углубился в изучение средневековой философии, начиная от блаженного Августина и заканчивая схоластами. Естественным образом изучение философов сопровождалось углубленными экскурсами в область римской литературы: Данте значительно расширил свое знакомство с классиками, проштудировав Овидия, Лукана, Горация, Ювенала, Сенеку, Цицерона и Вергилия. В это же время Данте увлекся астрономией.

Надо заметить, что по мнению И. Голенищева-Кутузова «заключительный аккорд «Новой жизни» противостоит всему замыслу следующего произведения Данте, «Пира» («Il Convivio»), написанного в изгнании, между 1304 и 1307 годах, и оставшегося незаконченным. «Можно предположить с достаточной вероятностью, – продолжает исследователь, – что «Новая жизнь» имела две редакции и что до нас дошла вторая, в которой конец был переделан и дополнен самим Данте».

«Пир», как впоследствии и «Божественная комедия», написан по-итальянски. В то время как шла работа над трактатом и зарождалась поэма, Данте уже решил вопрос о том, на каком языке ему нужно обращаться к читателям. С помощью народного языка, предназначенного для поэзии любви, Данте отобразил сложную систему философских и моральных взглядов его времени – при том, что языком науки была латынь. Данте видел, что если писатель хочет быть интересен читателю и влиять на сограждан, он должен отбросить язык школы и ученых кругов, заговорить на том языке, который всем понятен и доступен. Данте стал первым, кто изложил научные взгляды на «простом наречии»; он «углублялся в лес абстракций – эксперимент чрезвычайно опасный, который был бы гибелен для тех, кто не обладал его гением, но для него открыл новые пути. Он покорял стихию итальянского языка, расширял его границы, предъявляя к нему те требования, удовлетворить которые в ту эпоху мог только латинский. Сознавая все яснее требования подлинно философского языка, Данте утомился аллегорической системой

выражения».

Моральные и аллегорические канцоны в честь Мадонны Философии в большей степени соответствовали зрелому возрасту поэта, чем стихи «Новой жизни». В I главе I трактата «Пира» Данте пишет: «Если в настоящем сочинении, которое называется "Пиром"… изложение окажется более зрелым, чем в "Новой жизни", я этим ни в коей мере не собирался умалить первоначальное мое творение, но лишь как можно больше помочь ему, видя, насколько разумно то, что "Новой жизни" подобает быть пламенной и исполненной страстей, а "Пиру" – умеренным и мужественным. В самом деле, одно надлежит говорить и делать в одном возрасте, а другое – в другом. <…> В прежнем моем произведении я повествовал, будучи на рубеже молодости, а в этом – уже миновав его».

Некоторые исследователи полагают, что смена «сердечного увлечения» Данте была – помимо творческих причин – обусловлена весьма прозаическим фактом. Вскоре после смерти Беатриче Данте женился на Джемме (Гемме) Донати, происходящей из влиятельной флорентийской семьи. Джемма, ни разу не упомянутая в сочинениях Данте, была дочерью двоюродного брата Корсо Донати, – злейшего врага Данте и партии Белых гвельфов. Этот брак был оговорен родителями жениха и невесты в 1277 году, когда будущие супруги были еще детьми. У Данте и Джеммы родились три сына – Пьетро, Якопо и Иоанн (имя третьего, правда, встречается всего один раз, в документе от 1308 года), и дочь Антония.

Из родственников моны Джеммы следует назвать брата Корсо Донати – Форезе (умер в 1296 году); с ним Данте дружил в юности (о близости их отношений свидетельствует тот факт, что в «Божественной комедии» Форезе помещен не в Ад, а в Чистилище). Друзья обменивались сатирическими сонетами, построенными на грубой насмешке и разного рода оскорбительных намеках. Переписка – препирательство с Форезе – разительно отличалась от произведений «сладостного нового стиля»; в ней Данте как бы отдыхает от изысканной и утонченной фразеологии стихов периода «Новой жизни». Таким образом, уже в самом начале творчество Данте вышло за пределы одного литературного направления, обнаруживая широту дарования. Поэт пробовал силы в разных жанрах и стилях, используя опыт всех поэтических школ своего времени.

В 1295 году началась политическая деятельность Данте во Флоренции, продолжавшаяся семь лет. Он вошел в цех врачей и аптекарей, что открыло ему дорогу в политику. Этот цех включал в себя, кроме двух «титульных» профессий, еще книгопродавцев и

художников и принадлежал к семи старшим (судьи и нотариусы, Калимала (производители грубых сукон и импортеры тканей), менялы, Лана (шерстяники), врачи и аптекари, Сета (шелкоткачи и галантерейщики), меховщики) цехам.

Шестого июля того года были пересмотрены так называемые «Ordinamenti di giustizia» (1293) – «Постановления справедливости» (несмотря на колебания флорентийской политики, они оставались неизменной основой управления республики). Согласно им пять наиболее бедных младших цехов (мелкие торговцы (торговцы обрезками флорентийских тканей, чулочники, тряпичники и старьевщики), сапожники, каменотесы, плотники, кузнецы и слесари) были уравнены в правах с семью старшими, а магнатам и рыцарям запрещалась всякая политическая деятельность. Была образована народная милиция во главе со «знаменосцем справедливости».

После поправок 1295 года власть в городе фактически стала принадлежать старшим цехам, т. е. промышленной, торговой и финансовой буржуазии. Младшие, ремесленные цехи, правившие два предшествующих года, были оттеснены, а в группе старших видную роль стали играть дворяне: разрешение записываться в цехи снова открыло им путь к власти. Коалиция дворян с крупной торговой, банкирской и промышленной буржуазией стала основой господства гвельфской партии, которое длилось почти весь следующий век. Вскоре в пределах гвельфской партии возник раздор. Экономические группы: «банкирские дома», торговые компании вырастали быстро, и доходов на всех не хватало. Партия разбилась на две группы: Черных, которые стали называть себя просто гвельфами, и Белых. Город снова разделился на две противоборствующие группировки – Черных гвельфов во главе с Корсо Донати и Белых, к которым принадлежал Данте. В этот раз победу одержали Белые, и их противники были изгнаны из города.

Не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать политическое значение Данте. Боккаччо, а за ним литературоведы-романтики приписывали ему одну из главных ролей в общественной жизни Флоренции, однако это не совсем так, хотя он действительно занимал достаточно высокие посты. С 1 ноября 1295 года до 30 апреля 1296 года Данте участвовал в Особом народном совещании при капитане народа. 14 декабря 1295 года его избрали одним из старшин (savi – «мудрые люди») из sestiero (округа) Сан Пьетро для совещания по поводу предстоящих выборов приоров (глав цеха, входивших в правительство города). С мая до сентября 1296 года он состоял членом Совета ста, ведавшего финансами республики и другими

важными делами. В городских совещаниях он участвовал и в 1297-м. Его политическая деятельность между 1298 и 1301 годами недостаточно ясна, так как документы этого периода не сохранились. Известно, впрочем, о посольстве Данте в городок Сан-Джиминьяно по делам гвельфской лиги Тосканы. В течение двух месяцев (с 15 июня до 15 августа 1300 года) он был одним из семи приоров Флоренции. Именно этот приорат стал, по собственным словам поэта, «началом всех его бедствий».

В конце XIII века флорентийские гвельфы окончательно разделились на две враждебные партии: Белых и Черных. По существу, разница между двумя фракциями гвельфов была не так уж велика, но среди Белых нашлись граждане, склонные энергично поддерживать ту часть «Постановлений справедливости», в которой гарантировались демократические права и привилегии младших цехов (к ней, в частности, принадлежал Данте). В то же время к Белым примыкали богатые патриции, ставшие аристократами, как, например, Кавальканти.

Началом «упадка города» стало майское празднество 1300 года, когда народное веселье закончилось кровавой схваткой враждующих партий гвельфов. В канун праздника святого Иоанна, покровителя Флоренции (23 июня), в том же году произошло новое столкновение между Черными и Белыми. Приоры, среди которых был Данте, приняли соломоново решение, удалив из города вожаков обеих групп. Среди высланных были Корсо Донати и Гвидо Кавальканти, лучший друг Данте (это решение Харольд Блум, американский литературовед и критик, назвал иронической прелюдией к ожидавшему самого Данте изгнанию). 26 августа 1300 года Гвидо Кавальканти умер, возвратившись вскоре во Флоренцию из малярийной местности Тосканы, где он должен был проживать.

Приорат Данте кончился 15 августа 1300 года, и до февраля 1301-го документов о его политической деятельности не найдено. 15 марта он участвовал в одном из городских советов, на котором было решено не поддерживать притязания короля Карла Неаполитанского на Сицилию. 14 апреля Данте был на совещании по поводу подготовки выборов приоров. С 1 апреля до 30 сентября он состоял членом Совета ста; 19 июня он дважды голосовал против предложения оказать помощь «господину папе» в его междоусобной войне с феодальными соседями.

К тому времени «черные» активизировали свою деятельность, ворвались в город и устроили очередной погром. Утром 5 ноября 1301 года с небольшим отрядом конников во Флоренцию проник высланный Корсо Донати, которому было оказано слабое и неорганизованное сопротивление. Корсо Донати приказал

взломать ворота тюрьмы и выпустил своих сторонников. Шесть дней продолжались грабежи и насилия. Белая синьория пала, и 8 ноября были избраны новые приоры из числа богатых купцов и банкиров, принадлежавших к партии Черных.

27 января 1302 года Данте вместе с другими Белыми был обвинен в «baratteria», т. е. в присвоении государственных денег, вымогательстве и употреблении полученных средств «против верховного первосвященника и против господина Карла, дабы воспрепятствовать его прибытию, а также против мирного благоденствия города Флоренции и партии гвельфов».

По всем шести частям города звучала серебряная труба городского герольда, призывавшая разрушить дома изгнанных государственных преступников и врагов народа. Данте в это время в городе не было. Его дом был разрушен, но жена поэта, близкая родственница Корсо Донати, не подверглась преследованиям и ей удалось спасти часть имущества.

10 марта 1302 года Данте и еще 14 «белых» были заочно приговорены к смертной казни; решение суда было таким: если Данте Алигьери вернется во Флоренцию, то пусть его «жгут огнем, пока не умрет».

Изгнание поэта из родной Флоренции сыграло решающую роль в его судьбе и дальнейшем творчестве. Покинув родину не по своей воле, он из тосканского поэта и муниципального политика стал политическим деятелем Италии, отцом ее литературного языка, поэтом не только итальянским, но и европейским, одним из гениев, творчество которого является достоянием всего человечества. Флорентийские Черные, с позором изгнав Данте из родного города, как бы предопределили его тяжкий путь восхождения к мировой славе.

В первые годы изгнания Данте, по-видимому, находился в Ареццо и в Сьене – апеннинских замках предводителей гибеллинов, с которыми сблизились Белые гвельфы в борьбе против Черных. Одним из них был Угуччоне делла Фаджуола, гибеллин незнатного происхождения, опытный военачальник, захвативший власть в Ареццо. Он сначала ласково принял флорентийских изгнанников, но вскоре правитель Ареццо пошел на примирение с папой Бонифацием, обещавшим сделать его сына кардиналом и обманувшим его. Тогда Угуччоне выдал одну из своих дочерей за овдовевшего к тому времени Корсо Донати. Белые гвельфы оказались в опале и ушли в горы, к замкам в истоках Арно.

Данте в это время находился в окружении Черки во владениях синьоров Убальдини (плоскогорье Муджело северо-восточнее Флоренции). 8 июня 1302 года он вместе с 18

предводителями флорентийцев присутствовал в церкви Сан Годенцо при заключении договора между Белыми гвельфами и старшим в роде Убальдини – Уголино. Для феодальных союзников Белых особенно важна была подпись Виера Черки, который своими богатствами гарантировал возмещение военных убытков. Подпись Данте Алигьери, бывшего приора, имела только морально-политическое значение.

Убальдини поддержали Белых, и в июне 1302 года началась первая муджеланская война и стычки с Черными. Вторжения Убальдини во владения Флорентийской республики сопровождались насилием и грабежами; рыцари и наемники поджигали дома, в которых заживо сгорали мирные жители. Черные перешли в контрнаступление, им удалось за большие деньги подкупить Карлино де Пацци, который сдал им 15 июля замок Пьянтравинье вместе со всем гарнизоном, среди солдат которого было немало Белых (за что Данте в «Комедии» осудил Карлино – еще до смерти – на вечные муки во льдах Коцита как предателя).

Войска Черных опустошили владения Убальдини и осадили крепость Монтеччанико. Однако флорентийские Белые оказали Черным жестокое сопротивление; им удалось удержать в своих руках этот важный опорный пункт. В отместку Черные приступили к казням пленных и сторонников Белых во Флоренции. Изгнанники успешно обороняли также замок Филиччоне, однако исход этой войны был неясен. Успехи Белых были незначительны. Следовало готовиться к походу следующего года.

Вероятно, среди организаторов первой муджеланской войны был и Данте. Осенью 1302 года он отправился в Форли (на границе Апеннин и Романьи), где с 1296 года правил гибеллин Скарпетта дельи Орделаффи, ставший предводителем Белых изгнанников и местных гибеллинов, выступавших против «черной» Флоренции. По сообщению Флавио Биондо, Данте был секретарем нового вождя Белых, однако более поздние биографы считают это маловероятным – скорее всего Данте помогал в канцелярии Орделаффи готовить вторую муджеланскую войну. Зимой 1302 года, а потом и весной 1303-го он отправился в Верону, чтобы просить помощи этого города.

Тогда же, перестав принимать участие в гражданских распрях между Белыми и Черными, поэт стал «сам для себя своей партией». Уже зимой 1302/03 года он советовал не пускаться в опасные и плохо подготовленные военные действия, чем, по свидетельству Оттимо, одного из старейших комментаторов «Божественной комедии», вызвал раздражение вождей Белых. В

стихах Данте, посвященных этому времени, звучат жалобы на тягость изгнания и горькие обвинения по адресу его бывших единомышленников:

Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.
Но худшим гнетом для тебя отныне
Общенье будет глупых и дурных,
Поверженных с тобою в той долине.
Безумство, злость, неблагодарность их
Ты сам познаешь; но виски при этом
Не у тебя зардеют, а у них.

Перевод М. Лозинского

Весной 1303 года, когда Белые начали кровавые походы, Данте среди них не было – он на долгие годы покинул Тоскану. Борьба между гвельфами казалась ему бессмысленной, и поэт с нетерпением ждал часа примирения. На это указывает одна из лучших его канцон, написанная в то время, – «Мое три дамы сердце окружили». Эти аллегорические дамы – Справедливость, Щедрость и Умеренность – облачены в лохмотья, всеми гонимы и напрасно ищут пристанища в раздираемой смутами Италии. Поэт говорит, что стремится к примирению и верит, что «прощенье – наилучший лавр войны».

Данте не участвовал в собрании Белых в Болонье, и его имени нет среди 131 подписи флорентийских изгнанников под декларацией о союзе и военной помощи 18 июня 1303 года.

В это время Данте жил в Вероне при Бартоломео делла Скала, тиране этого ломбардского города, и внимательно следил за событиями на родине. После смерти Великого Ломбардца (7 марта 1304 года) Данте оставался в Вероне еще некоторое время, вероятно, до конца 1304-го или начала 1305 года. Он не очень ладил с братом и наследником делла Скала Альбуином, о котором пренебрежительно отозвался в «Пире». Данте враждовал и с побочным сыном Альберта делла Скала – Джузеппе, аббатом монастыря Сан Дзено – «с душой еще уродливей, чем тело». Затем мы находим следы Данте в разных городах и областях Италии – об этом же свидетельствует знакомство поэта со всеми диалектами Италии.

Есть недостоверные сведения Леонардо Бруни о том, что Данте был в 1304 года в Ареццо среди 12 советников партии Белых при генеральном капитане графе Алессандро Гвиди да

Ромена. В то же время известно, что поэт отрицательно относился к графам да Ромена, которые пользовались услугами фальшивомонетчика магистра Адамо, сожженного во Флоренции. Так что, по-видимому, в это время в Ареццо находился не Данте, а его брат Франческо Алигьери, вскоре вернувшийся на родину.

Из упоминаний в «Божественной комедии», а также в «Пире» и в «Народном красноречии», можно установить, что Данте некоторое время был гостем Гвидо да Кастелло, «простодушного ломбардца», отличавшегося щедростью. По-видимому, после этого он гостил у правителя области Тревизо (около Венеции); можно также предположить, что он некоторое время жил в Болонье и в Падуе.

Так прошло несколько лет, и следующие сведения о жизни поэта датированы 1306 годом, когда Верховный капитан гвельфской лиги (Черной) Тосканы маркиз Мороелло Маласпина стал покровителем Данте, который уже не различал гвельфов и гибеллинов, ища меценатов среди синьоров Италии, которые не слишком нарушали законы справедливости и прислушивались к голосу совести. Кроме Кан Гранде делла Скала, ставшего после Альбуина владыкой Вероны, ни одну семью итальянских синьоров Данте не хвалил так, как род маркизов Маласпина из Луниджаны.

Один сонет поэта этого периода написан от имени маркиза Мороелло Маласпина. В так называемой «Горной канцоне» («La Montanina») и в письме маркизу Данте говорит о новой страсти к прекрасной незнакомке. Эта канцона и письмо связаны с циклом стихов «О Каменной Даме» («Donna Pietrosa»), которую, вероятно, звали, Пьетра («камень»). Из игры слов в канцоне «К той ныне точке я пришел вращенья», а именно «I» amorosa spina» / «злой терн любви» – «malaspina» можно заключить, что она была из рода луниджанских маркизов. Страсть Данте, выраженную в секстинах и канцонах, обращенных к мадонне Пьетре, филологи долго принимали за аллегорию, за стремление превзойти любовные песни трубадуров.

Вероятно, еще в Вероне Данте начал комментировать канцоны «Пира», написанные во Флоренции в 90-х годах XIII века. Ему необходимо было прославить свое имя, чтобы оно громко прозвучало на всю Италию. Он уже не хотел быть поэтом любви, а стремился стать писателем, избравшим более возвышенные предметы – мораль, гражданскую доблесть, философию, науку, исправление нравов, поучения о том, что не аристократическое происхождение и богатство, а духовное совершенство и мудрость являются благородством. Данте предполагал написать пятнадцать трактатов и в них комментировать четырнадцать канцон философского содержания; написал же он только четыре

трактата, в которых толкуются три доктринальные канцоны.

Духовный «пир» Данте был предназначен для всех стремящихся к знанию и совершенству. Он обращался не к ученым-латинистам, а к более широкому кругу читателей, жаждущих просвещения. Поэтому трактаты «Пира» были написаны не по-латыни, а на итальянском, volgare. Итальянский народный язык должен был стать, утверждал Данте, солнцем, которое осветит новые времена. Параллельно с «Пиром» Данте писал (но так и не завершил) по-латыни трактат «О народном красноречии» («De volgari eloquentia»), в котором разработал поэтику и риторику романских языков (прежде всего итальянского и провансальского).

В «Пире» и в «Народном красноречии» Данте защищал право итальянского поэта писать не только о любви, но также о войне и морали и других великих предметах на родном языке. Тем самым он теоретически оправдал свою будущую поэму о судьбах человечества и строении космоса, написанную на итальянском языке. «Пир» и трактат «О народном красноречии» подготовили «Божественную комедию».

В «Пире» он охватил современные ему проблемы этики, физики, астрономии, и в этой поэме, за триста лет до Галилея, появляются первые страницы итальянской научной прозы. Данте изучил Аристотеля и его арабских и западно-европейских комментаторов. Объективный идеализм «Пира» восходит к арабской философии; в нем имеет место отблеск идей неоплатоников, стоиков и толкования текстов средневековой философии. Стоическая философия утешала флорентийского изгнанника, давала ему силы переносить тяготы изгнания: бедность, унижения, вечные странствия. Центральным в его творчестве этого периода стал образ Катона Утического, защитника добродетели и свободы.

Данте полагал, что следует преодолеть феодальную раздробленность во имя единого государства, в котором восторжествует законность и наступит вечный мир на земле. Рядом с государем мировой империи станет философ, необходимый для доброго и совершенного правления. Он обращается в «Пире» к феодальным правителям: «О вы, несчастные, ныне правящие! И о вы, несчастнейшие, которыми управляют! Ибо нет философского авторитета, который сочетался бы с вашим правлением».

Боккаччо утверждал, что в 1307 или 1308 году Данте находился в Париже для усовершенствования своих знаний и выступал на диспутах, удивляя аудиторию начитанностью и находчивостью. В «Божественной комедии» мы находим данные,

подтверждающие истинность этого свидетельства: упоминания городов на морском пути от Генуи к Марселю, подробности из жизни Латинского квартала в Париже. Данте был хорошо знаком с философской и теологической мыслью, центром которой был в это время Париж, где поэт, по всей видимости, изучал космогонию псевдо-Дионисия Ареопагита, повлиявшую на последнюю часть «Божественной комедии», и его комментатора Скотта Эриугену. По-видимому, именно в Париже познания Данте в области науки, богословия и философии стали энциклопедическими.

27 ноября 1308 года был избран «король римлян» – Генрих VII, граф Люксембургский, которого всячески поддерживал папа Климент V. Новый император был германским князем по происхождению, французом по воспитанию и образованию. Он свято верил в свою миссию примирителя всех враждующих и восстановителя римской монархии. В Ломбардии Генрих короновался железной короной Италии. Многие города – Милан, Генуя, Пиза – открыли ему свои ворота, но гвельфская лига в Центральной Италии не пожелала признать императора.

Данте, который в это время находился в замках графов Гвиди да Ромена и Батифолле, обратился с торжественным латинским письмом ко всем правителям Италии, призывая их подчиниться императору – «солнцу мира и справедливости». В Милане Данте склонился перед ним как перед символом всемирного государства, в котором воцарится мир и будет побеждено стяжательство. Для Данте Генрих был носителем высшей идеи справедливости; он должен был основать мировую монархию, не подчиненную власти церкви:

> Воссядет дух державного средь вас
> Арриго, что, Италию спасая,
> Придет на помощь в слишком ранний час.
>
> *Перевод М. Лозинского*

Однако обращение Данте пропало втуне: на севере Италии некоторые города оказали Генриху VII вооруженное сопротивление. Флорентийские банкиры и купцы встали во главе антиимператорской лиги, в которую вошли также Лукка, Сьена, Перуджа, Болонья, и заявили, что они «ни пред одним государем еще не склоняли рогов». Полный негодования, Данте отправил письмо «злодеям флорентийцам», датированное 1 марта 1311 года, в котором обозвал Флоренцию змеей, блудницей, проклял злобу и жадность своих сограждан, грозил им страшными

казнями, исключая их из всеобщей амнистии, объявленной императором.

24 августа 1313 года Генрих VII внезапно скончался. Смерть императора вызвала радость во Флоренции и глубокую скорбь Данте и других изгнанников. Хотя он не участвовал в походе императора на Флоренцию, его резкие обличения так возмутили Черных, что поэт был исключен из числа амнистированных, ему и его сыновьям подтверждались все прежние наказания.

Через восемь месяцев после смерти Генриха VII скончался папа Климент V (20 апреля 1314 года), переселившийся в Авиньон. Данте обратился к итальянским кардиналам, которые были тогда в меньшинстве, призывая их выбрать папой итальянца, так как считал необходимым возвратить папский престол в Рим.

Затем следы Данте снова теряются. Известно все же, что он был в Ассизи; из Умбрии поэт направился в монастырь Санта Кроче ди Фонте Авеллано. На склонах Монте Катриа, около Губбио, где когда-то был приором Пьетро Дамьяни, Данте, по преданию, в одиночестве писал «Божественную комедию» – свое величайшее произведение, ставшее шедевром мировой литературы.

Пушкин говорил, что «единый план Дантовой "Комедии" есть уже плод высокого гения». Однако «заслуги Данте планом не ограничиваются, – пишет Е. Рейн в статье «Рай и Ад в мировой поэзии». – Он поместил Ад, Чистилище, Рай внутри каждого персонажа. Беспримерная сила фантазии и словесного искусства его проявились тысячи раз на протяжении "Комедии". По сути дела и сегодня дантовские терцины являются вершиной поэтического искусства».

Согласно одной из трактовок, Данте ставил перед собой цель помочь людям справиться со страхом смерти, что было в то время чрезвычайно актуальной задачей. Поэт советовал не забывать о грядущей смерти и не утверждал, как философы эпохи Просвещения, что ад выдумали церковники, – он верил в реальное существование ада и в то, что смелость, честь и любовь помогут человеку выйти из него невредимым.

«Божественная комедия» начинается с того, что автор, потрясенный смертью Беатриче, пытается излить горе в стихах, чтобы хотя бы в них спасти и сохранить чистый образ любимой. Но неожиданно понимает, что она неподвластна смерти и может спасти от гибели его самого. Беатриче с помощью Вергилия проводит живого Данте, а вместе с ним и читателей, через все ужасы ада. На вратах ада начертано «Оставь надежду всяк сюда входящий», но Вергилий советует Данте забыть страх, поскольку

только с открытыми глазами человек может постичь корни зла. Борхес проводит аналогию между путешествием Данте и мытарствами Улисса, считая, что «Данте сам был Улиссом и в какой-то мере мог страшиться кары, постигшей Улисса».

По Данте, душа человека может попасть в ад и при жизни, поскольку это не место, а состояние, в которое впадает тот, кто оказывается во власти греха. Даже если это грех ненависти – жертва и палач будут низвергнуты в ад вместе, и пока жертва будет ненавидеть своего мучителя, она не сумеет вырваться из ада. Основной темой «Божественной комедии» можно назвать справедливость в земной и загробной жизни, и возможности ее восстановления самим человеком.

Есть, впрочем, и иные версии. Комментатор Озанам в статье «Данте и католическая философия» думает, что первичной темой «Комедии» был апофеоз Беатриче; Гвидо Витали спрашивает, не стремился ли Данте, воздвигая «Рай», создать прежде всего царство для своей дамы. Знаменитое место в «Vita nuova» («Надеюсь сказать о ней то, что еще ни о какой женщине не говорилось»), по мнению Х.-Л. Борхеса, подтверждает или допускает эту мысль: «Данте создал лучшую книгу в литературе, чтобы вставить в нее встречу с невозвратимой Беатриче. В начале "Vita nuova" читаем, что однажды поэт перечислил в письме 60 женских имен, чтобы тайком поместить меж ними имя Беатриче. Думаю, что в "Комедии" он повторил эту грустную игру».

Считается, что Данте принялся за «Божественную комедию» около 1307 года, прервав работу над трактатами «Пир» (1304–1307) и «О народном красноречии» (1304–1307). В те же годы Данте создавал и трактат «Монархия».

Свою поэму Данте назвал комедией, поскольку у нее мрачное начало (Ад) и радостный конец (Рай и созерцание Божественной сущности), и, кроме того, она написана простым стилем (в отличие от возвышенного стиля, присущего, в понимании Данте, трагедии), на народном языке. Эпитет «Божественная» в заглавии придуман не Данте – впервые он появился в издании, вышедшем в 1555 году в Венеции.

Поэма состоит из ста песней приблизительно одинаковой длины (130–150 строк) и делится на три кантики – Ад, Чистилище и Рай, в каждой из которых содержится тридцать три песни; первая песнь Ада служит прологом ко всей поэме. Размер «Божественной комедии» – одиннадцатисложник, схема рифмовки – терцина, в которую Данте вкладывал глубокий смысл. «Божественная комедия» включает в себя все сущее (как материальное, так и духовное) сотворенное триединым Богом, наложившим на все отпечаток своей троичности. Поэтому в

основе структуры поэмы лежит число три, а симметричность ее строения коренится в подражании мере и порядку, которые Бог придал всем вещам.

«Единственный из всех поэтов Данте описывал вселенную вещей и душ не с точки зрения зрителя, а с точки зрения Создателя, стараясь поместить их окончательно не в рамках и контексте вопроса "как", а в рамках и контексте вопроса "почему?", оценивая их с позиции конечных целей, – пишет П. Клодель. – Он понял, что в этом видимом мире нам доступны не целостные существа и сущности, а преходящие и временные знаки, вечный смысл которых мы не постигаем. Он постарался дать полную историю того времени, в центр которого был помещен, очертив все пределы начиная со случайных рождений и кончая неизменными результатами непостижимой Божественной Мудрости».

В письме к Кан Гранде Данте объясняет, что его поэма многозначна, и этим похожа на Библию. Эту мысль подхватывают и позднейшие исследователи. «Вообразим в восточной библиотеке таблицу с гравюрой многовековой давности, – пишет о «Комедии» Хорхе Луис Борхес. – По мере того как углубляешься в гравюру, понимаешь, что она отражает все на земле – все, что есть, что было и что будет, историю прошлого и будущего, то, что имеем, и то, что получим, все, что ждет нас в каком-то углу этого спокойного лабиринта…» Действительно, поэма имеет сложную аллегорическую структуру, и хотя повествование почти всегда можно воспринимать только в буквальном смысле, это далеко не единственный уровень восприятия. Автор поэмы представлен в ней как человек, удостоившийся особой милости – совершить путешествие к Богу через три царства загробного мира: Ад, Чистилище и Рай. Это путешествие представлено в поэме как реальное, совершенное Данте во плоти и наяву, а не во сне или видении.

Грехи, за которые карают в Аду, делятся на три основные категории: распущенность, насилие и ложь; это три греховные наклонности, проистекающие из греха Адама. Этические принципы, на которых построен Дантов Ад (как и его видение мира и человека в целом), представляют собой сплав христианской теологии и языческой этики на основе «Этики» Аристотеля. Как заметил Е. Рейн, Данте сформировала средневековая христианская схоластика, он был наследником эллинского и латинского мира.

Пройдя через девять кругов Ада и центр Земли, Данте и его проводник Вергилий выходят на поверхность у подножия горы Чистилища, расположенной в Южном полушарии, на

противоположном от Иерусалима крае Земли. {32} Схождение в Ад заняло у них ровно столько же времени, сколько прошло между положением Христа в гробницу и его воскресением, и начальные песни Чистилища изобилуют указаниями на то, каким образом действие поэмы перекликается с подвигом Христа.

Восходя на гору Чистилища, где на семи уступах искупаются семь смертных грехов, Данте очищается сам и, достигнув вершины, оказывается в земном Раю. Таким образом, восхождение на гору – это «возвращение в Эдем», обретение утерянного Рая. С этого момента проводником Данте становится Беатриче. Ее появление является кульминацией всего путешествия, более того, поэт проводит подчеркнутую аналогию между приходом Беатриче и пришествием Христа – в истории, в душе и в конце времен.

Когда-то Господь избрал римский народ для того, чтобы тот вел человечество к справедливости, в чем он и достиг совершенства при императоре Августе. Именно тогда на земле, впервые после грехопадения, воцарился мир и справедливость, и Господь пожелал направить к людям своего Возлюбленного Сына. Появление Христа, таким образом, знаменует завершение движения человечества к справедливости.

Как римляне при Августе вели человеческий род к справедливости, так Вергилий на вершине горы Чистилища приводит поэта к обретению внутреннего чувства справедливости. Тогда, когда в душе Данте воцаряются мир и равновесие, появляется Беатриче, и ее приход является отражением пришествия Христа. Так путь, пройденный душой индивидуума, достигающей справедливости, а затем – очищающей благодати, символически повторяет путь искупления, пройденный человечеством в ходе истории.

С Беатриче Данте поднимается сквозь девять концентрических небесных сфер (согласно устройству неба в птолемеево-аристотелевской космологии), где обитают души праведных, к десятой – Эмпирею, обители Господа. Там Беатриче сменяет св. Бернард Клервоский, который показывает поэту святых и ангелов, вкушающих высшее блаженство: непосредственное созерцание Господа, утоляющее все желания.

Несмотря на разнообразие посмертных судеб, можно выделить один принцип, действующий на протяжении всей поэмы: воздаяние соответствует природе греха или добродетели, присущих человеку при жизни. Особенно четко это прослеживается в Аду (зачинщики раздора и схизматики рассечены там надвое). В Чистилище очищение души подчиняется несколько иному, «исправляющему» принципу (глаза завистников

накрепко зашиты). В Раю души праведных появляются сначала на том небе, или небесной сфере, которая больше соответствует степени и природе их заслуг (души воителей обитают на Марсе). Наконец, согласно теологическим воззрениям тех времен, на пути к Богу разум проходит три стадии, ведомый тремя различными видами света: Светом Естественного Разума, Светом Милости и Светом Славы. Именно эти три стадии представляют в «Божественной комедии» три проводника.

Джакопо ди Данте, сын поэта, развил эту мысль. В прологе к комментариям он пишет, что «Комедия» стремится показать в аллегорической форме три состояния человека: порок (Ад), переход от порока к добродетели (Чистилище) и совершенный человек (Рай), поскольку «чтобы постичь Высшее благо, человеку необходимы и высшая добродетель и блаженство». Так толковали произведение и другие комментаторы древности, к примеру, Джакомо делла Лора объяснял: «Поэт разделил книгу на три части – Ад, Чистилище и Рай, чтобы показать, что жизнь возможна в трех видах: жизнь порочных, жизнь кающихся и жизнь добрых».

Эта аллегория «Божественной комедии» совершенно очевидно рассчитана на читателя-христианина, которого заинтересует как описание загробной жизни, так и путешествие Данте к Богу. Однако П. Клодель предостерегает: «Его [Дантов] Ад это исключительно лишь Ад чувств, ему, по-видимому, неизвестны муки Проклятия и богооставленности, а также жажды Бога, муки самой жестокой, так как причина ее бесконечна и неуловима. Его Чистилище имеет в этом смысле тот же недостаток, так как великое очистительное страдание должно совершаться не столько огнем и голодом, сколько в свете сознания и муке видеть свой грех перед ликом вечной Невинности, сознавать, что не пришелся по сердцу Отцу и Супругу. Наконец, в Раю читатель находит только редкие и смутные намеки на великую теорию обожествленного Видения, которое, помогая постижению Божественного, сообщает нам свои силы и делает из нас не существ, "подобных Богу", как обещает нам Искуситель, а "Богов", облаченных всем достоянием Сына».

И все же единство «того» и «этого» миров выражено в поэме четко и недвусмысленно. Более того, не обойдена вниманием и «мирская» жизнь – в поэме дана целая галерея живых и ярких портретов: «В "Божественной комедии" великое множество поэтов, и каждый знает свое место: то самое, какое назначил ему Данте» (Х. Блум).

«Во всей поэме нет неоправданного слова, – пишет Борхес в «Девяти эссе о Данте». – Точность Данте не плод искусственной

риторики; это – утверждение реальности, законченности, с которой ему виделся каждый эпизод поэмы. То же относится к чертам психологии героев, столь восхитительно и одновременно скупо выраженным. Они словно вплетены в поэму; процитирую некоторые: Души, предназначенные Аду, плачут и поносят Бога, но когда входят в лодку Харона, страх сменяется нестерпимым, мучительным желанием попасть в Ад (Ад, III). Услышав, что Вергилий никогда не взойдет на небо, Данте немедленно называет его учителем и господином, показывая, что по-прежнему любит и, может быть, узнав о несчастии Вергилия, полюбил еще больше (Ад, IV). Вергилий указывает на гордецов, пытавшихся с помощью одного разума достичь бесконечности божественного, но тут же замолкает, понурив голову, ибо он сам таков (Чистилище, VI)».

В общем, цитируя Хорхе Луиса Борхеса: «"Комедия" – книга, которую все должны читать. Отстраняя лучший дар, который может нам предложить литература, мы предаемся странному аскетизму. Зачем лишать себя счастья читать "Комедию"? Притом, это чтение нетрудное. Трудно то, что за чтением: мнения, споры; но сама по себе книга кристально ясна. И главный герой, Данте, возможно, самый живой в литературе». Ему вторит Харольд Блум: «По всепроникающей остроте мысли, языковой энергии и мощи вымысла Данте (вместе с Шекспиром) не имеет себе равных среди западных писателей».

Одновременно с «Комедией» писался трактат «Монархия» (между 1312 и 1313 годами), в разгар политических событий, вызванных походом Генриха VII. В трактате Данте настаивает на разделении церкви и государства, на том, что светская власть не должна зависеть от духовной. Единая империя необходима для того, чтобы на земле наступил вечный мир и прекратились раздоры князей и королей, однако должны быть сохранены местные свободы и самоуправление. Величайшими бедствиями человечества являются стяжательство и алчность, и они должны исчезнуть в единой державе, а в мировом государстве настанет полнота времен (plenitudo temporis) – всеобщее благополучие и благоденствие. Только законность, справедливость и материальная обеспеченность (а не алчность и стяжательство) могут способствовать высшей цели каждого человека: спасению души. Италии и Риму принадлежит историческое право возглавить все страны мира, но Данте никогда не утверждал, что высшая власть должна принадлежать итальянцам.

В XIV веке сторонники передачи светской власти в руки церковников обнаружили в произведении Данте опасную ересь. По свидетельству Боккаччо, кардинал Бельтрандо дель Поджетто

приказал сжечь попавшие ему под руку рукописи «Монархии» и хотел в 1329 году подвергнуть сожжению кости поэта. Позднее итальянские романтики превратно истолковывали учение Данте о всемирном государстве как программу объединения Италии в ее этнических границах. Националистическое толкование Данте красной нитью проходит в итальянской историографии XIX века. В XX столетии историки литературы стали обвинять поэта то в «отживших средневековых идеях», то в «коммунистическом утопизме».

Между 14 июля 1314-го и 10 апреля 1316 года великий изгнанник жил в Лукке. Поэт мог вернуться во Флоренцию после декрета об амнистии, если бы согласился покаяться, но он не мог и не хотел предстать перед насмешливыми согражданами в покаянной рубахе, со свечой в руках. 15 октября 1315 года Данте вместе со своими сыновьями снова был осужден на смерть флорентийской синьорией.

Боккаччо сообщал, что после смерти Генриха VII Данте перешел через Альпы и направился в Романью, где и окончил свои дни. По-видимому, некоторое время он жил в Вероне, однако трудно сказать, как долго. Несомненно то, что Кан Гранде, чьи достоинства Данте прославил в «Божественной комедии», до самой смерти оставался его покровителем и другом. Боккаччо писал о том, что, как только Данте заканчивал несколько песен, он отсылал их Кан Гранде делла Скала и не давал никому списывать, прежде чем не выслушивал его мнение. Эти сведения косвенно подтверждает ученик Данте Джованни Квирини, пославший после смерти своего учителя синьору Вероны, при дворе которого он жил, сонет, прося у Кан Гранде разрешения ознакомиться с еще неизвестными песнями «Рая». Отсюда можно заключить, что дружба Данте с вождем североитальянских гибеллинов не прерывалась до самой смерти поэта.

О втором пребывании Данте в Вероне мы знаем очень мало: полное отсутствие документов и прямых указаний на знакомства и связи поэта между 1315 и 1320 годами заставляет с чрезвычайной осторожностью относиться к сопоставлениям и догадкам биографов и романистов. Дело в том, что еще при жизни Данте рождались легенды о нем: к примеру, веронцы искренне верили, что Данте действительно спускался в Ад.

Поэту приписывается также латинский трактат «Вопрос о земле и воде» («Questio de aqua et terra»), который был прочитан в воскресенье 2 января 1320 года в церкви Святой Елены в Вероне. Трактат дошел до нашего времени только в одной рукописи, и принадлежность его Данте не может не вызвать серьезных возражений. Кроме того, рассуждения автора трактата

противоречат космографии Данте в «Божественной комедии», как справедливо заметил известный итальянский историк философии Бруно Нарди.

О причинах, побудивших поэта покинуть двор Кан Гранде и переселиться в Равенну, можно лишь догадываться. Менее всего вероятно то, что Данте уехал из Вероны, поссорившись со своим меценатом. На склоне лет поэт искал тихую пристань, где он мог бы окончить свое великое творение. В Равенне, незадолго до смерти, Данте закончил третью часть «Божественной комедии». Существует предание, что последние песни «Рая» были утеряны, но тень Данте, явившись его сыну Якопо ночью, указала тайник в стене, где была спрятана рукопись.

В это время Джованни дель Вирджилио, профессор риторики и поэт из Болоньи, послал Данте в Равенну эклогу {33}, написанную латинским гекзаметром, с требованием писать на латыни, а не площадной речью:

> Не расточай, не мечи ты в пыль перед свиньями жемчуг,
> Да и кастальских сестер[8] не стесняй непристойной одеждой.

Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова

Дель Вирджилио предлагал Данте воспеть на языке древних подвиги императора Генриха VII или Роберта Анжуйского, короля Неаполя, после чего Данте стал бы первым поэтом своего времени.

В ответе, также в форме эклоги, Данте не только подражает буколическому жанру древних, – стихи содержат политические высказывания о современности. Реализм сочетается в них с виртуозной стилизацией, за первым смыслом часто скрывается многосмыслие, что не было свойственно античным поэтам. В этом – своеобразие латинской поэзии предгуманизма, достигшей в эклогах Данте мастерства, которому могли бы позавидовать поэты эпохи Возрождения.

Летом 1321 года Данте как посол правителя Равенны отправился в Венецию для заключения мира с республикой Святого Марка. Возвращаясь назад дорогой между берегами Адрии и болотами По, Данте заболел, вероятно, малярией. Он умер в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года.

Флоренция не приняла Данте и после смерти. Он так и не возвратился на родину, хотя мечтал, чтобы именно во Флоренции его увенчали поэтическими лаврами по античному обычаю:

В ином руне, в ином величье звонком
Вернусь, поэт, и осенюсь венком,
Там, где крещенье принимал ребенком.

Перевод М. Лозинского

Лавры возложил на его чело посмертно – 14 сентября 1321 года – синьор Равенны Гвидо Новелло (да Полента), произнеся речь, восхваляющую заслуги великого поэта. Он приказал положить тело Данте Алигьери в греческий мраморный саркофаг романо-византийской эпохи (каменная арка, о которой говорил Боккаччо). Чело поэта было увенчано лавровым венком, который он не получил при жизни. Саркофаг был прислонен к стене церкви Сан Пьер Маджоре, названной впоследствии церковью Святого Франциска. В 90-х годах XV века венецианский правитель Равенны Бернардо Бембо пригласил знаменитого архитектора Пьетро Ломбардо, который построил мавзолей над саркофагом Данте. Он стоит до сих пор.

Мигель де Сервантес Сааведра

«Не было в жизни моей ни одного дня, когда бы мне удалось подняться на верх колеса Фортуны; как только я начинаю взбираться на него, оно останавливается», – писал Сервантес в конце своей жизни. И все же он был вознагражден – хотя и через пять веков после собственной смерти.

7 мая 2002 года авторитетное жюри, созданное Нобелевским институтом в Осло и состоящее из крупнейших писателей современности 50 национальностей, постановило: «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса Сааведра – лучшее литературное

произведение в истории человечества. Мигель де Сервантес Сааведра – величайший писатель всех времен и народов. А ведь жюри пришлось оценивать «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, пьесы Шекспира, «Войну и мир» и «Анну Каренину» Льва Толстого, романы Достоевского и Габриэля Гарсиа Маркеса, произведения других писателей… И тем не менее – гений Сервантеса оказался вне конкуренции.

«Эпоха, в которую жил Сервантес, – пишет исследователь его творчества Ф. Кельин, – была исключительно бурной. <…> В истории Испании она была ознаменована постепенной утратой мирового господства. С другой стороны, XVI столетие явилось тем временем, когда в Испании освободились силы, в течение ряда веков уходившие на так называемую Реконкисту – отвоевание страны у мавров, и это привело страну к пышному, хотя и кратковременному расцвету. В области искусства эта эпоха была ознаменована появлением замечательных писателей, художников, ученых. Недаром вторую половину XVI века и XVII век, когда жили и творили Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина, Кеведо, Гонгора, Эль Греко, Веласкес, Мурильо – мы вспоминаем здесь только самые громкие имена, – принято называть «Золотым веком».

Однако Золотой век испанской культуры, на который пришлось творчество Мигеля де Сервантеса, оказался для него самого очень не простым. Его жизнь являет собой образец постоянной борьбы с судьбой и тяжелейшими обстоятельствами. Во всяком случае, именно такой представляется жизнь писателя после знакомства с его биографией.

Мигель де Сервантес Сааведра родился в 1547 году в городке Алькала-де-Энарес, неподалеку от Мадрида. Самый знаменитый испанский писатель был четвертым из семи детей в семье брадобрея-костоправа, где кроме него росло еще трое мальчиков и три девочки. Отца будущего писателя звали Родриго де Сервантес, мать – Леонора де Кортинас.

Мигель по отцовской линии принадлежал к одному из древнейших испанских родов, чем немало гордился. К моменту рождения Мигеля фамилия Сервантес насчитывала уже пять столетий рыцарства и общественной службы и была распространена не только в Испании, но и в Мексике и других странах Латинской Америки. «Семья эта, – писали исследователи, – является в испанских летописях окруженной таким блеском и славой, что относительно происхождения ей нет основания завидовать какой бы то ни было из наиболее знатных фамилий Европы».

Сааведра происходили из горцев Северной Испании. В XI

столетии они принимали участие в крестовых походах, воевали с маврами, прошли всю Испанию, часть их переселилась в Новый Свет, часть – рассеялась по Пиренейскому полуострову, продолжая соблюдать традиции рыцарства и постепенно впадая в крайнюю бедность. Фамилия Сааведра соединилась в результате брачного союза с фамилией Сервантес в XV веке, которая к XVI столетию пришла в полный упадок. Таким образом, Мигель де Сервантес Сааведра является отпрыском двух благородных испанских родов, настолько же знатных, насколько и бедных.

На это обстоятельство, вероятно, намекает сам Сервантес в романе «Дон Кихот», вкладывая в уста своего героя следующую сентенцию: «Есть два рода дворянства и родословных. Одни происходят от королей и принцев, но мало-помалу значение их умалилось, и, вышедши из широкого основания, роды эти окончились, как пирамида, едва заметною точкою; другие же, напротив, происходя от скромных и безызвестных предков, мало-помалу стяжали себе известность и блеск». Вообще, на примере семьи Сервантес Сааведра можно проследить историю обеднения испанского дворянства и роста так называемой идальгии – дворян, «лишенных состояния, сеньорий, права юрисдикции и высоких общественных постов».

Гордые своим происхождением, дед и отец Сервантеса утешались воспоминаниями о былом величии фамилии. В доме Родриго Сервантеса постоянно звучали рассказы о подвигах Сааведра: они составляли любимую тему для разговоров у семейного очага, несмотря (а может, и благодаря ему) на очевидное противоречие между героической историей рода и нищетой, в которую он впал. Позднее, опираясь на детские воспоминания, Сервантес так описывал быт идальго: «Кусок отварной баранины, изредка говядины к обеду, винегрет вечером, кушанье скорби и сокрушения по субботам[9], чечевица по пятницам и пара голубей, приготовлявшихся сверх обыкновенного в воскресенье, поглощали три четверти его годового дохода. Остальная четверть расходовалась на платье его, состоявшее из тонкого суконного полукафтанья с плисовыми панталонами и такими же туфлями, надеваемыми в праздник, и камзола из лучшей туземной саржи, носимого им в будни».

Дед писателя когда-то занимал видное положение в Андалусии, был одно время старшим алькальдом города Кордовы и обладал известным состоянием. Отец Сервантеса Родриго страдал глухотой, а потому не занимал никаких судебных и административных постов и не пошел дальше вольнопрактикующего лекаря, то есть был человеком даже с точки зрения «идальгии» совсем незначительным. К кругу бедных

дворян принадлежала и мать писателя.

Родриго де Сервантес в поисках заработка был вынужден переезжать с места на место, и семья следовала за ним. Судя по тем героическим усилиям, которые родители Сервантеса в свое время затратили на то, чтобы собрать необходимую сумму для выкупа Мигеля и его младшего брата Родриго из алжирской неволи, семья была достаточно крепкой.

«О бедность, бедность! – писал Сервантес в «Дон Кихоте». – К чему ты гнездишься по преимуществу между идальго и дворянами? К чему ты заставляешь их класть заплаты на башмаки свои и на одном и том же камзоле носить пуговицы всякого рода: шелковые, костяные, стеклянные? Почему воротники их большею частью измяты, как цикорные листья, и не выкрахмалены? О, несчастный идальго, с твоею благородной кровью! Затворивши двери, питаешься ты лишь своею честью; и к чему, выходя из дому, лицемерно употребляешь ты зубочистку, не съевши ничего такого, что могло бы тебя заставить чистить себе зубы. Несчастны эти щекотливо самолюбивые люди, воображающие, будто все видят за милю заплатку на их башмаке, вытертые нитки на их плаще, пот на шляпе и голод в желудке».

В такой обстановке и родился Мигель Сервантес. День его рождения в точности неизвестен; достоверно, однако, что крещение он принял 9 октября 1547 года. Долгое время исследователи расходились во мнении относительно дня рождения писателя. Одни, исходя из того, что у католиков был обычай совершать обряд крещения почти сразу после рождения, предполагали, что Сервантес родился или в тот же день, или накануне. Другие же биографы считали днем рождения Сервантеса 29 сентября – день св. Мигеля, в честь которого и было дано имя ребенку согласно испанским обычаям. Сегодня именно 29 сентября 1547 года считается днем рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры.

В 1551 году, когда Мигелю исполнилось четыре года, семья странствующего лекаря Родриго де Сервантеса переселилась в Вальядолид, который был тогда официальной столицей королевства. Родриго прожил здесь недолго – не прошло и года, как его арестовали за неуплату долга местному ростовщику, и скудное имущество семьи было продано с торгов.

Снова началась бродяжническая жизнь, приведшая Сервантесов сначала в Кордову, затем опять в Вальядолид, оттуда в Мадрид и наконец в Севилью. К вальядолидскому периоду относятся школьные годы Мигеля. Десятилетним подростком он поступил в коллегию иезуитов, где проучился четыре года с 1557 до 1561 год. В своем «Разговоре собак», написанном уже в

старости, Сервантес с любовью вспоминает о начальном училище, которое посещал, будучи ребенком. В зрелом возрасте он также сокрушался о том, что так и не смог получить высшее образование и ученую степень из-за бедности родителей: «Сыновья разбогатевших купцов, – говорил он впоследствии, – посылали своих детей в школы. Но сын семьи Сааведра был лишен возможности следовать по пути, который ведет к почестям».

По его собственному свидетельству, у него рано проявилась любовь к чтению, и он читал все, что попадалось ему под руку, подбирая даже клочки исписанной бумаги, валявшиеся где-нибудь в грязи на улице. Тогда же Сервантес впервые попробовал себя в поэзии, которую любил «с первых лет нежного детства моего» («Путешествие на Парнас»). Эти ранние занятия поэзией оказали большое влияние на судьбу Сервантеса, хотя он и не стал выдающимся поэтом.

Свое образование Мигель завершил в Мадриде у одного из лучших испанских педагогов того времени, гуманиста Хуана Лопеса де Ойоса, ставшего несколько позднее его крестным отцом в литературе. Хуан Лопес де Ойос – мадридский священник, преподаватель риторики – прославился, в частности, тем, что поддерживал молодых поэтов.

Вторым человеком, повлиявшим на становление Сервантеса как писателя, считается бродячий актер Лопе де Руэда. Будучи ювелиром, он по неизвестным причинам бросил свое ремесло, оставил родную Севилью и стал актером и драматургом. Он сколотил небольшую труппу, репертуар которой составляли пьесы его собственного сочинения: четыре комедии, две пасторали, десять диалогов в прозе и два диалога в стихах. Эти пьесы разыгрывались на площадях многих испанских городов, и Сервантес стал горячим почитателем де Руэда, по-видимому, в 1560 году.

Надо сказать, что в те времена испанский народный театр только зарождался, и своим развитием был обязан именно Руэда. До него драматические представления в Испании ограничивались религиозными пантомимами, которые устраивались в церквях под наблюдением духовенства, и частными спектаклями, исполнявшимися при дворе или во дворцах вельмож. Лопе де Руэда первый вынес эти представления на площадь и приспособил их к пониманию, вкусам и нравам толпы; их главной целью было позабавить публику. «Все бутафорские принадлежности умещались в одном мешке и состояли из четырех белых пастушеских курток с кожаными отворотами и с позолотою, четырех бород, коллекции париков и четырех или

более посохов. Пьесы состояли из разговоров между двумя или тремя пастухами и пастушкою. В них вставлялись две или три интермедии, где появлялись негр, негодяй, шут, а иногда и бискаец. Все эти четыре роли и многие другие исполнял сам Лопе де Руэда с неподражаемым искусством».

К концу шестидесятых годов XVI столетия семья Сервантесов вступила в полосу окончательного разорения. В связи с этим Мигелю и его младшему брату Родриго пришлось подумать о том, чтобы самим зарабатывать на хлеб, избрав одну из трех возможностей, открывавшихся перед испанскими дворянами средней руки, – искать счастья в церкви, при дворе или в армии. Мигель, воспользовавшись рекомендацией своего учителя Хуана Лопеса де Ойоса, провозгласившего его «своим дорогим и любимым учеником», избрал второй путь. Он поступил на службу к чрезвычайному послу папы Пия V, монсеньору Джулио Аквавива-и-Арагону, приехавшему в 1568 году в Мадрид с соболезнованиями Филиппу II по поводу смерти его жены Изабеллы (Елизаветы) Валуа Французской.

На этот же период приходится публикация первого стихотворения Сервантеса, посвященного смерти Изабеллы Французской в 1568 году, написанного для литературного конкурса, объявленного де Ойосом. Стихотворение Сервантеса снискало особую похвалу, и литературный дебют двадцатидвухлетнего идальго увенчался успехом. Впрочем, последующие исследователи творчества великого испанца считают, что «его стихотворения не отличались достоинствами, в достаточной степени оправдывающими восторженные похвалы учителя».

Тем не менее, Джулио Аквавива, любитель поэзии, обратил внимание на стихи Сервантеса и пригласил его к себе на службу. Вместе с послом Сервантес покинул Мадрид и в начале 1569 года прибыл в Рим, заняв должность камерария (ключника), то есть приближенного лица. На службе у Аквавивы, ставшего весной 1570 года кардиналом, Сервантес провел около года.

Во второй половине 1570 года, когда началась Кипрская война, он добровольцем поступил в испанскую армию, расквартированную в Италии, в полк Мигеля де Монкады, и отправился воевать в качестве простого рядового. Очень большое значение для Сервантеса имела идеологическая, религиозная составляющая войны – борьба за христианскую веру. С этих пор идея освобождения христиан, попавших во власть турок, стала темой большого количества его поэтических произведений.

Пять лет, проведенных Сервантесом в рядах испанских войск в Италии, были очень важным периодом в его жизни. Они дали

ему возможность посетить крупнейшие итальянские города: Рим, Милан, Болонью, Венецию, Палермо – и подробно познакомиться с укладом итальянской жизни. Не менее важным, чем тесное соприкосновение с жизнью Италии XVI века, с бытом ее городов, было для Сервантеса и обращение к богатой итальянской культуре, особенно литературе. Длительное пребывание в Италии позволило ему не только овладеть итальянским языком, но и расширить гуманитарные познания, приобретенные им в мадридской школе.

К основательному изучению античной литературы и мифологии Сервантес присоединил широкое знакомство со всем лучшим, что создало итальянское Возрождение как в литературе, так и в области философии, – с поэзией Данте, Петрарки, Ариосто, с «Декамероном» Боккаччо, с итальянской новеллой и пастушеским романом, с неоплатониками. Хотя Сервантес и называл себя полушутя «талантом, в науке не искушенным», он был, по собственному его признанию, страстным читателем.

Наряду с величайшими представителями античной литературы – Гомером, Вергилием, Горацием, Овидием и другими, а также упомянутыми выше писателями итальянского Возрождения, в перечне фигурируют персонажи Священного Писания и восточной (арабской) письменности. Этот список нужно дополнить указанием, что на мировоззрение Сервантеса оказали влияние идеи Эразма Роттердамского и что он был знатоком национальной испанской литературы, народной поэзии и вообще национального фольклора.

Итак, в начале 1570-х годов развернулась война между Священной лигой (Венеция, Испания, Папа Римский, Мальта и ряд итальянских государств: Генуя, Неаполь, Сицилия, Савойя, Тоскана, Парма и др.) и Османской империей. Сервантес отличился в знаменитой морской битве при Лепанто[10] 7 октября 1571 года, когда флот турок был разбит. Это был последний крупный бой гребных флотов Средиземноморья во время Кипрской войны 1570–1573 годов между Турцией и Священной лигой.

15 сентября 1571 года союзный флот вышел в море, к берегам Греции. Сервантес, находящийся на борту одного из кораблей, заболел сильнейшей нервной лихорадкой. Он лежал в полубреду на своей койке, но, услышав, что идет сражение, выбежал на палубу и потребовал, чтобы его назначили на пост. Капитан приказал ему удалиться, друзья уговаривали его укрыться в безопасном месте. Услышав это, Сервантес якобы воскликнул: «До сих пор я служил как бравый солдат; теперь, как бы я ни был болен, я предпочитаю умереть, сражаясь за Бога и короля, вместо

того чтобы постыдно укрываться под палубой!» и снова потребовал, чтобы ему дали соответствующие указания. Ему указали место в шлюпке, привязанной сбоку корабля, где кроме него находилось еще двенадцать человек. Став в их главе, Сервантес охранял во время боя лодочный трап и получил три огнестрельных ранения: два в грудь и одно в предплечье, после чего его левая рука была раздроблена, и в итоге он до конца жизни не владел ею, по его собственным словам, «к вящей славе правой».

Сервантес был отвезен в Мессину и провел зиму в госпитале, откуда выписался только в апреле 1572 году. Но увечье не побудило его оставить военную службу. Зачисленный в полк Лопе де Фигероа, Сервантес провел некоторое время на острове Корфу, где был расквартирован полк. 2 октября 1572 года он участвовал в морской битве при Наварине (Греция).

К этому времени умер папа Пий V, и приближался распад Священной лиги. Дон Хуан Австрийский (брат короля Испании Филиппа II) решил действовать самостоятельно; он задумал основать либо в Греции, либо на берегу Африки независимое испанское королевство и таким образом вести постоянную борьбу с исламом. Сервантес вошел в состав экспедиционного корпуса, направленного под начальством дона Хуана Австрийского в Северную Африку для укрепления крепостей Голеты и Туниса.

Поход дона Хуана окончился трагично – Голета стала могилой трех тысяч воинов. Сервантес, принимавший участие в этом предприятии, вернулся в Италию с доном Хуаном, когда последний был отозван Филиппом II: в 1573 году полк Сервантеса был возвращен в Италию для несения гарнизонной службы сперва в Сардинии, а потом (в 1574 году) в Неаполе. Дон Хуан получил направление во Фландрию, где вскоре умер. Испанские войска, участвовавшие в кампании, были по большей части распущены.

Жизнь в Италии и гарнизонная служба не представляла теперь для Сервантеса ничего привлекательного. Он подал в отставку и, уезжая в Испанию, заручился письменными рекомендациями своих начальников. Дон Хуан Австрийский снабдил Сервантеса письмами высокопоставленных лиц, в которых засвидетельствовал его безупречное поведение.

Позже Сервантес никогда не жаловался на этот период своей жизни, несмотря на то, что он остался калекой после военных походов. Напротив, сорок лет спустя, с гордостью вспоминая все перенесенное за эти годы, он говорил, что, если бы он мог выбрать себе жизненное поприще, то снова бы избрал свои раны, которые считал легкой расплатой за славу быть участником великого дела борьбы за крест.

20 сентября 1575 года писатель вместе со своим братом Родриго, служившим вместе с ним в армии, на борту галеры «Эль Соль» («Солнце») отбыл из Неаполя в Испанию. Корабль, на котором плыл Сервантес, был захвачен корсарами, которые продали Мигеля вместе с братом Родриго в рабство в Алжир. «Я очутился, – писал впоследствии Сервантес, – под тяжелым игом неволи».

Рабство его продолжалось пять лет. В течение этого времени ему удалось в подробностях изучить положение пленных христиан на берегу Африки, и наблюдения эти послужили впоследствии материалом для значительной части его литературных произведений.

Пленные старались скрыть свое общественное положение на родине и свое состояние, чтобы понизить цену выкупа, хозяева, напротив, старались как можно более почтительно обращаться с ними, чтобы поднять цену своего товара в глазах покупателей. Они частенько превращали простого солдата в генерала, матроса – в дворянина, аббата – в епископа. Рекомендательные письма к королю, которые вез с собой Сервантес, повысили его социальный статус, что, с одной стороны, повлекло увеличение суммы выкупа и соответственно увеличило срок его рабства, а с другой стороны, избавило его от смерти и наказаний.

На свободе Сервантес оказался лишь через пять лет, на три года позже брата. Через некоторое время Сервантесу удалось передать в Испанию письмо к родным, в котором он сообщал о несчастье, постигшем его и Родриго. Отец заложил остатки имущества, присоединил к полученным деньгам приданое обеих дочерей и таким образом получил сумму, с помощью которой надеялся выкупить сыновей. Но когда Мигель принес своему «хозяину» Гассан Паше присланные деньги в качестве выкупа за себя и брата, тот отказался принимать их, ссылаясь на то, что сумма слишком мала.

Тем не менее, этих денег хватило, чтобы выкупить Родриго, который, возвратившись в Испанию, должен был помочь Мигелю бежать из плена или собрать необходимый выкуп. Вообще, за пять лет плена Мигель Сервантес несколько раз пытался совершить побег, но обстоятельства неизменно складывались против него. Однако всякий раз он оставался жив, несмотря на то, что за попытку побега полагалась казнь. Объяснить причину этого не мог никто, даже сам Сервантес, который не раз возвращался к теме алжирского плена в «Дон Кихоте». «Один только пленник умел ладить с ним [Гассан Пашой], – писал он. – Это был испанский солдат Сааведра; с целью освободиться из неволи он прибегал к таким средствам, что память о них будет долго жить в

том краю. И, однако, Гассан-Ага никогда не решался не только ударить его, но даже сказать грубое слово, между тем как мы все боялись – да и сам он не раз ожидал, что его посадят на кол в наказание за его постоянные попытки к побегу».

Итак, Сервантес остался в плену. После того как все собранные деньги ушли на выкуп Родриго, его отец обратился к придворному алькальду с просьбой помочь вернуть свободу Мигелю. Но долги отца повлекли за собой судебные тяжбы, и эти проволочки очень затянули дело. Так или иначе, но семья Сервантес Сааведра кое-как сколотила 300 червонцев и попыталась передать их рабовладельцам. Когда деньги были получены, оказалось, что «хозяин» Сервантеса и слышать не хочет о такой ничтожной сумме.

Сервантесу, казалось, не суждено было выйти из неволи – Гассан Паша готовился к отъезду в Константинополь, и писатель уже был прикован к галере, на которой должен был плыть. Однако неожиданно он получил свободу; ему помог монах ордена Св. Троицы Хуан Гиль, который выкупил Мигеля. 19 сентября 1580 года Сервантес был освобожден и 24 октября покинул Алжир, чтобы через несколько дней ступить на родную землю.

Пять лет, проведенные писателем в неволе, еще в большей степени, чем военная служба, наложили отпечаток на всю его жизнь и на все его мировоззрение. «Алжирская» тема вошла в его творчество, облекаясь то в форму повестей, то вставных эпизодов («История пленника» – главы первой части «Дон Кихота») или, наконец, комедий. Сервантес писал: «Свобода – это сокровище, дарованное человеку небесами; за свободу, так же, как и за честь, нужно рисковать жизнью, так как высшее зло – это рабство».

Родина встретила Сервантеса неласково. Уже с первых шагов писатель увидел, что он, заслуженный ветеран, участник Лепантской битвы, никому не нужен и всеми, кроме своих близких, забыт. Семья тоже находилась в весьма плачевном положении. Его отец окончательно оглох и в связи с этим вынужден был отказаться от врачебной практики (он умер в 1585 году), и Мигель стал главой семьи. Вместо более или менее обеспеченной и спокойной жизни, на которую Сервантес мог рассчитывать, возвращаясь на родину, ему пришлось сразу же начать поиски работы. Перед ним открылись две возможности: вернуться на военную службу или зарабатывать на жизнь литературным трудом. Сервантес снова пошел в армию.

Конец XVI столетия был отмечен присоединением к Испании в 1581 году Португалии и дальнейшим усилением борьбы за владычество на морях (эта борьба в 1588 году привела Испанию к гибели Непобедимой армады). Но само по себе освоение

территории Португалии и ее колоний, а также подготовка хотя и провалившейся, но все же грандиозной по своим размерам попытки захвата Англии открывали широкое поле деятельности для предприимчивых людей, а именно таким и был Сервантес.

Вернувшись на военное поприще, он пробовал найти себе применение в Португалии, в качестве военного курьера ездил в Северную Африку, в Оран и некоторое время состоял при ставке герцога Альбы в Томаре. Однако, по-видимому разочаровавшись в военной службе, которая не принесла ему материального благополучия, Сервантес окончательно от нее отказался и стал искать другой, более надежный источник существования.

Материальное положение семьи за это время не только не улучшилось, но становилось с каждым годом все хуже. Семья пополнилась внебрачной дочерью Сервантеса, Исавелью де Сааведра. Не улучшил положение семьи и брак Мигеля, состоявшегося в 1584 году. Он женился на уроженке города Эскивьяс, Каталине де Саласар-и-Паласьос, принесшей ему очень маленькое приданое. Обнародованные подробности брачного контракта показывают, до чего были бедны жених и невеста: в числе предметов, составлявших приданое Каталины, значилось полдюжины кур!

Сервантес прожил со своей женой более тридцати лет. По-видимому, эта более чем тридцатилетняя совместная жизнь супругов была счастливой. По крайней мере, вдова Сервантеса перед смертью выразила желание быть похороненной рядом с мужем. Этим свидетельством исчерпывается все, что известно о взаимных отношениях Сервантеса и его жены.

В своих сочинениях он часто возвращался к вопросу о супружеском счастье и взаимоотношениях супругов. Так, в одной из остроумных интермедий, озаглавленной «Судья по бракоразводным делам», он выводит перед зрителями целый ряд пререкающихся супругов, настойчиво требующих у судьи развода. Судебное разбирательство всякий раз обнаруживает ничтожность взаимных придирок супругов, и судья неизменно отказывается дать развод. Интермедия заканчивается появлением мужа и жены, просивших развода год тому назад, но подобно другим не получивших его и теперь пришедших благодарить судью за то, что он удержал их от безрассудного поступка. Счастливую пару, снова обретшую мир и любовь у семейного очага, сопровождает веселый хор певцов, напевающий нравоучение: «Худой мир лучше доброй ссоры», которое является моралью произведения.

Будущее не сулило писателю и его семье ничего радостного. Заработок Сервантеса был, по-видимому, в эти годы случайным. В 1587 году, покинув на время семью, он стал искать счастья на

стороне и перебрался на юг страны, в Андалусию, которая благодаря оживленным торговым связям с колониями открывала широкие возможности для частной инициативы. Следующие пятнадцать лет Сервантес прожил в Севилье, крупном торговом центре и самом богатом городе Андалусии.

На первых порах ему как будто улыбнулось счастье. Андалусия в восьмидесятых годах XVI столетия была главным районом, откуда шли поставки на армию и флот, притом с огромным для того времени размахом. Осенью 1587 года Сервантесу удалось получить место комиссара по заготовкам для Непобедимой армады в городах и селах, расположенных в окрестностях Севильи.

Снабжение армии в основном осуществлялось путем простого отъема излишка продуктов у населения, что было, в общем-то, способом легкой наживы. Но там, где другие продовольственные комиссары создавали целые состояния, Сервантес терпел одни неудачи: выполнение комиссарских обязанностей вовлекло его в спор с церковным управлением в городке Эсихе, что грозило ему отлучением от церкви и застенками инквизиции. К тому же Сервантес не отличался аккуратностью, а небрежность в отчетах вела к столкновениям с органами финансового контроля, к обвинениям в незаконных реквизициях, в утайке денег. Одно из таких столкновений закончилось для него заключением, правда, кратковременным, в тюрьму города Кастро-дель-Рио (1592). В общем и целом, служба в продовольственном ведомстве не только не улучшила материальное положение Сервантеса и его семьи, по-прежнему жившей в Мадриде, а наоборот, еще более осложнила и ухудшила его.

В середине 1594 года Сервантеса назначили на место сборщика налоговых недоимок в королевстве Гранады, что стало для него источником новых бедствий. Съездив в Мадрид и обеспечив себя денежным поручительством, Сервантес приступил к сбору недоимок и уже в августе того же года передал севильскому банкиру Симону Фрейре де Лима для перевода в Мадрид сумму в семь тысяч четыреста реалов. И именно здесь Сервантеса постигла очередная неудача, по своим размерам превзошедшая все остальные.

Банкир объявил себя банкротом, и хотя казначейству и удалось взыскать с него врученную Сервантесом сумму, однако дело этим не кончилось. Несмотря на то что Сервантес сдал в законном порядке казначейству весь остаток собранных им недоимок, оно, обвинив сборщика налогов в сокрытии денег, предъявило ему значительный по своим размерам иск. Сервантес не смог доказать свою невиновность и уплатить по иску, а потому

был в сентябре 1597 года посажен в Севильскую королевскую тюрьму, где провел около трех месяцев.

В следующий раз – уже третий по счету – он оказался в тюрьме все по тому же делу о сокрытии денег в 1602 году. Однако этим история не кончилась – в ноябре 1608 года иску снова был дан ход и Сервантеса снова вызывали для дачи показаний.

В 1604 году Сервантес расстался с Севильей и поселился в Вальядолиде, куда затем переехали члены его семьи (за исключением жены, продолжавшей жить в Эскивиасе). К этому времени семья Сервантеса уменьшилась – во Фландрии погиб его младший брат Родриго – и состояла теперь из его сестер, внебрачной дочери Исавели де Сааведра и племянницы Костансы Овандо. Материальное положение семьи оставляло желать лучшего.

Переездом в Вальядолид завершается третий и очень важный период в биографии Сервантеса, охватывающий двадцать пять лет его жизни – период окончательного становления его таланта. К третьему периоду жизни писателя, иногда не совсем правильно называемому «севильским», хотя в него входят и произведения, написанные им в первые годы по возвращении на родину из алжирского плена, относятся его пастушеский роман «Галатея» и около тридцати драматических произведений, «комедий», большая часть которых до нас не дошла. Вообще говоря, совершенно невозможно восстановить хронологический порядок драматических произведений Сервантеса. Они долго оставались в рукописях и таким образом постепенно терялись. То же самое можно сказать и о многих других произведениях писателя.

Сведения о драматургии «севильского» периода ограничиваются тем, что сказал о своих ранних драмах сам Сервантес в предисловии к выпущенному в 1615 году сборнику «Восьми комедий и восьми интермедий». Он сообщил, что в театрах Мадрида были поставлены его «Алжирские нравы», «Разрушение Нумансии» и «Морское сражение», а также признал себя автором написанных им в то время двадцати или тридцати пьес. Не дошедшее до нас «Морское сражение», очевидно, прославляло победу при Лепанто. Написанные вскоре после его возвращения на родину и не позднее 1585 года «Алжирские нравы», несмотря на то что темой их явилась всепобеждающая любовь, стали протестом против равнодушия, с которым королевское правительство относилось к судьбе алжирских пленников.

Что касается третьей из упоминаемых Сервантесом пьес, «Нумансии», то это одна из вершин испанского театра Золотого века. Относящаяся, по-видимому, к концу восьмидесятых годов

XVI столетия, эта трагедия повествует о беспримерном героизме защитников древней Нумансии, осажденной в 134–133 годах до н. э. войсками римского полководца Сципиона. Глубокий патриотический смысл «Нумансии», тот факт, что ее героем является народ, который прославляется в трагедии, обеспечили ей успех у зрителей. «Нумансия» оказалась самой живой из всех пьес Сервантеса.

Надо сказать, что он совершил революцию в испанской драматургии. После произведений Лопе де Руэда и до появления пьес Сервантеса испанский театр мало продвинулся в создании национальной драмы. Весь репертуар испанского театра ограничивался небольшим набором фарсов. В то же время к моменту, когда Сервантес начал писать свои драмы, в Испании уже появился постоянный театр, обязанный своим существованием соглашению с церковью. Согласно ему, правительство объявило, что в Мадриде актеры могут давать представления в определенных местах, указанных двумя религиозными братствами, и при условии, что будет взыматься арендная плата в пользу братств (после 1583 года этим правом пользовался также и городской госпиталь). Начиная с 1583 года, то есть приблизительно с того времени, когда стал писать свои драмы Сервантес, в Мадриде открылись публичные представления в стационарных помещениях.

Сервантес-драматург сразу пошел вразрез с народными вкусами как в отношении принципа построения драматических представлений в Испании, так и в отношении особенностей их сценической постановки. Вместо прежнего назначения драмы – служить для увеселения народа, он сделал ее орудием поучения. Эта коренная реформа повлекла за собой множество других, второстепенных. Сервантес распростился с традиционными пастухами и пастушками, исключил из своих пьес любимца публики gracioso (забавный плут). Но главное нововведение Сервантеса в жанре драмы заключалось в том, что он вставил в пьесы воспоминания о своих странствованиях и страданиях, то есть наблюдения над реальной жизнью, и таким образом ввел в драматическое произведение принцип жизненной правды. Сам Сервантес, впрочем, не придавал этому обстоятельству особенного значения.

Действующие лица Сервантеса – не карикатуры, а цельные характеры, иногда возвышающиеся до общечеловеческих типов. Драматурга занимала не внешняя интрига, а внутренняя жизнь, психология его героев. Сервантес первый, как он сам признавал, вывел на испанскую сцену сокровенные движения человеческой души.

Остальные нововведения, сделанные им в области драмы, имели второстепенное значение и не всегда вели к ее усовершенствованию. Так, например, он ввел в драму аллегорические фигуры: войну, моровую язву, голод, болезнь, славу, страх, отчаяние, ревность и т. п. Это было не шагом вперед, а скорее возвращением к уже изжитым мотивам религиозной драмы. Кроме того, он уменьшил количество актов до трех.

Началом следующего периода в творчестве Сервантеса, периода, давшего миру его бессмертный роман в двух частях «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», новеллы, сборник «Восемь комедий и восемь интермедий», поэму «Путешествие на Парнас», важную не только в автобиографическом отношении, но и обнаружившую поэтический талант ее автора, а также «Странствия Персилеса и Сихизмунды», следует считать первые годы XVII столетия (1603 год). Именно к этому времени, по-видимому, относится начало написания «Дон Кихота». Эти даты устанавливаются на основании слов самого Сервантеса о том, что его роман родился «в темнице, местопребывании всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков». Во время одного из тюремных заключений, по собственному признанию писателя, в его воображении возник образ человека, сошедшего с ума от чтения рыцарских романов и отправившегося совершать рыцарские подвиги в подражание героям любимых книг. Писатель, скорее всего, имел в виду свое заключение в севильской тюрьме в 1602 году.

Первоначально он задумывал новеллу. В процессе работы над ней перед автором открылись романные перспективы развития сюжета о Дон Кихоте.

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» стал не только вершиной творчества Сервантеса и одним из величайших созданий мировой литературы, но и основным произведением заключительного периода его творчества. Первоначально «Хитроумный идальго» был отпечатан в Вальядолиде в конце 1604 года небольшим тиражом с указанием даты издания «1605». Весной 1605-го в Мадриде, в типографии Хуана де ла Куэста, был отпечатан второй тираж. Об успехе романа свидетельствует тот факт, что в том же году появляется его второе издание, содержащее целый ряд расхождений с первым, он дважды переиздавался в Лиссабоне и один раз в Валенсии. Дон Кихот и Санчо Панса как персонажи карнавальных шествий начали появляться на улицах испанских городов и даже в колониях (в столице Перу Лиме).

В 1606 году Сервантес переехал в Мадрид вслед за двором Филиппа III. Последние месяцы его пребывания в Вальядолиде

были омрачены незаконным и совершенно нелепым арестом, которому подвергся как сам Сервантес, так и его близкие в связи с убийством вблизи их дома одного молодого дворянина, а также продолжающимся препирательством с казначейством по делу о финансовой отчетности.

Когда именно Сервантес окончательно обосновался в Мадриде, точно не выяснено, но, по-видимому, около 1608 года. Как и в Вальядолиде, он жил здесь в бедных кварталах – несмотря на большой успех, «Дон Кихот» не смог поправить положение автора.

Необычайный успех «Дон Кихота» заставил его обратить более серьезное внимание на литературу, чем прежде, и попытаться войти в круг литераторов, последовавших, как и он, за двором в Мадрид. Он познакомился с Лопе де Вега, Эспинелем и другими (следует сразу сказать, что из этой попытки ничего не вышло).

Если верить мемуарам того времени, то Сервантес пользовался большим почетом в литературном мире: его чествовали писатели, записывали в члены модных религиозных братств, венчали на поэтических турнирах, раскрывали перед ним двери академий. Сервантес в ответ писал хвалебные стихи в честь Мендозы, Лопе де Вега и других собратьев по перу. Но, несмотря на все внешние знаки уважения, в отношениях между Сервантесом и его коллегами не было и тени искренности: многие писатели смотрели на него с предубеждением, питали к нему вражду, почти каждый таил частичку личной злобы. Это и понятно: в первой части своего романа автор «Дон Кихота» не только восставал против рыцарских романов, но и громил все разновидности литературных произведений, в которых находил ложь и искусственность. Наряду с критикой средневековой литературы в роман вставлено множество намеков на современную ему словесность. И так как сатира была направлена не столько против отдельных писателей, сколько вообще против новых модных течений в литературе, то обиженными оказались все, начиная от такого корифея, как Лопе де Вега, и кончая самыми бесталанными и малоизвестными.

«Жизнь Сервантеса в Вальядолиде и в Мадриде в начале XVII столетия, – пишет Шаль, – представляет непрерывную войну. Каждый день он дает сражение или плохой литературе, или плохо организованному обществу. Он критикует театр – и вооружает против себя драматургов; критикует поэзию – и возбуждает ненависть к себе поэтов».

Но если малоизвестные писатели ничем не могли навредить Сервантесу, то модный драматург и любимец публики Лопе де

Вега был серьезным противником. Борьба между ним и Сервантесом началась уже в период между 1598 и 1603 годами, то есть в то время, когда «Дон Кихот» еще только писался, и переросла во вражду после его выхода. Отношения между Сервантесом и Лопе де Вега долго были спорным вопросом для их биографов, однако частная переписка Лопе де Вега свидетельствует о том, что он очень не любил Сервантеса. Последний, в свою очередь, тоже не оставался в долгу: в его похвалах модному драматургу постоянно сквозила ирония. Он называл де Вега moonstruo de naturaleza, что может быть истолковано и как чудный гений, и как чудовищный гений. Значение слова «вега» (равнина) дала Сервантесу повод к написанию прелестного сонета, в котором он воспевал равнину, приносящую по нескольку раз в год урожай, неслыханный по своему обилию и разнообразию. На первый взгляд, что может быть выше этой похвалы – ведь Лопе де Вега действительно был весьма плодовитым драматургом? А между тем, вчитавшись внимательнее в стихотворение Сервантеса, можно заметить, что писатель поражен количеством пьес, но ровно ничего не сказал о качестве, и сквозь это намеренное умолчание довольно ясно просвечивает ироническая улыбка. Разумеется, Лопе, считавший себя главой новой литературной школы, не мог простить такое собрату по перу. В результате пьесам Сервантеса был закрыт ход в театры – об этом позаботился Лопе де Вега и его подражатели.

Но не только стычки с Лопе де Вега отравляли жизнь писателю – у него нашлось немало недоброжелателей, которые издевались над каждым его шагом и даже увечьем, называя обломком Лепанто и изводя его мелкими издевками до конца его жизни.

Надо сказать, что Сервантесу не удалось уйти от литературных вкусов того времени: крайняя нищета заставила его опубликовать сборник «Восемь комедий и восемь интермедий» (1615 г.), в который вошли пьесы, наиболее близкие по духу к любимым публикой произведениям Лопе де Вега. В 1613 году вышли в свет «Назидательные новеллы» (предполагается, что они были написаны для дочери Сервантеса Изабеллы).

Новеллы заслужили похвалу даже литературных врагов Сервантеса, не говоря уже о друзьях и почитателях автора. Переведенные вскоре после появления на французский, английский, итальянский и голландский языки, они послужили источником для ряда сценических переделок. Радушный прием, оказанный испанскими писателями «Назидательным новеллам», является хотя и косвенным, но все же бесспорным признанием справедливости слов Сервантеса о том, что «он был первый, кто

начал писать новеллы по-кастильски, ибо все печатавшиеся в Испании многочисленные новеллы были переведены с иностранных языков». Никто не оспаривал и авторских прав Сервантеса, выраженных в словах: «…все повести сборника – моя полная собственность; сочиняя их, я никому не подражал и никого не обкрадывал. Они зачаты в моей душе, рождены на свет моим пером, а ныне им предстоит расти и расти на руках у печатного станка». Заявляя об этом, писатель был совершенно прав, так как ничего равного «Назидательным новеллам» испанская проза до этого не знала. «Назидательные новеллы» «открывали свободный путь», как сказал о них сам Сервантес в своей поэме «Путешествие на Парнас», не только «кастильской речи». Этот «свободный путь» заключался в искусном сочетании художественного вымысла, элементов сказочного, фантастического с реалистическим восприятием окружающей действительности.

По своему содержанию «Назидательные новеллы» перекликаются со вставными эпизодами «Дон Кихота» и с основной сюжетной линией романа и являются своеобразными литературными «заготовками», которые благодаря их художественным достоинствам обрели право на самостоятельную жизнь. Написанные в различные периоды творческой жизни Сервантеса, «Новеллы» отличаются большим разнообразием сюжетов. К «Назидательным новеллам» следует отнести также вставные главы и эпизоды «Дон Кихота» («Повесть о безрассудно-любопытном» и рассказ пленника из первой части романа).

Однако все эти произведения, несмотря на их художественные достоинства, меркнут в свете самого романа «Дон Кихот», о котором написаны тысячи страниц. Вряд ли среди писателей с мировым именем найдется хотя бы один, кто не выступил бы со своим толкованием романа или суждением о нем. В России о романе высказывались Пушкин, советовавший Гоголю в момент создания им «Мертвых душ» брать пример с Сервантеса, Белинский, не скупившийся на восторженные похвалы «Дон Кихоту», Герцен, Чернышевский, Тургенев, противопоставивший в своем очерке Гамлета и Дон Кихота, Достоевский, Горький, Луначарский. Доказывать гениальность книги, признанной лучшей, было бы нелепо. Поэтому мы расскажем о том немногом из истории романа, что необходимо знать, чтобы лучше понять его.

Роман состоит из двух частей, причем вторая часть была написана Сервантесом через десять лет после написания первой. При единстве фабулы они существенно отличаются друг от друга. «История хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», к

написанию которой Сервантес приступил на пятьдесят пятом или пятьдесят шестом году своей жизни, умудренный большим и притом весьма горьким житейским опытом, была, по-видимому, задумана в форме повести, сходной с теми, которые составили сборник «Назидательных новелл». Возможно, что толчком к ее созданию послужили какие-нибудь случайные обстоятельства (знакомство с анонимной «Интермедией о романсах», герой которой, сельский житель Бартоло, начитавшись, подобно Дон Кихоту, рыцарских романов, отправляется на войну с англичанами) или литературные воспоминания (новелла флорентийца Франко Саккети). Однако Сервантес отвел чисто анекдотической стороне только первые пять глав своего романа.

На протяжении всего произведения он стремится убедить читателей, что единственной причиной, побудившей его писать, было стремление высмеять характерные особенности рыцарских романов, убить их «силой смеха». Это немудрено, учитывая большую популярность этого жанра (с 1508 по 1612 год в Испании появилось около ста двадцати рыцарских романов, лишь немногие из которых, вроде «Амадиса Галльского» или «Пальмерина Английского», обладали художественными достоинствами).

«Расправившись» с рыцарской литературой в шестой главе первой части романа (истребление рыцарской библиотеки Дон Кихота), погрузив своего безумного героя в жестокую действительность, Сервантес строго судит не только его, но и окружающую его несправедливость. По мере развития действия пародия осложняется, она перестает быть чисто книжной, ее обличительный характер становится все очевиднее. Она продолжает играть роль связующего звена, необходимого для сохранения единства действия, но поскольку сатирическая направленность романа могла вовлечь автора в конфликт с инквизицией (и привести к обвинению в ереси), Сервантес прибег к маскировке: он ввел в роман «арабско-ламанчского историка» Сида Ахмета Бен-инхали, которому приписывал отдельные сатирические высказывания.

Осознавая противоречие между мечтой о Золотом веке и испанской действительностью, и помня, что в 1559 году Филипп II устроил невиданное публичное сожжение «еретиков», Сервантес был особенно осторожен. И приходится только удивляться, с какой находчивостью он сумел обойти подводные камни, стоявшие на его пути.

Сервантес не случайно взял своих героев из среды испанского захудалого дворянства – идальгии, к которой принадлежал он сам, и безземельного крестьянства, составлявших в его время

основную массу населения. В сущности, великий роман Сервантеса – это непрекращающийся диалог рыцаря и его оруженосца. Без Дон Кихота немыслим Санчо, так же как без Санчо немыслим Дон Кихот (исследователи указывают, что Сервантес создал образ оруженосца Дон Кихота, использовав опыт площадного театра).

В уста рыцаря, прикрываясь его безумием, Сервантес вкладывал все те уроки, которые он хотел преподать своим современникам: идеи неоплатонизма, неостоицизма, натурфилософии, наследие национальной испанской старины, достижения итальянского Возрождения, плоды индийской, арабской и еврейской философии, концепции Эразма Роттердамского, высокую поэзию и испанские народные песни. Проповедь идей Эразма Роттердамского, критиковавшего обрядовую сторону католицизма, занимает в романе особое место. Автор «Оружия христианского воина» противопоставил католическим обрядам внутреннюю духовную работу человека над собой, личностный путь к Богу и раннехристианский идеал человеческого общежития в любви и вере, воплощенный в символе «мистического тела Христова».

Предполагается, что Сервантес, писавший «Дон Кихота» в эпоху католической Контрреформации, зашифровывал идеал всеединства в образах, восходящих к рыцарским романам Средневековья. Сервантес ярко продемонстрировал преимущества иносказательного, иронического изображения приключений героя, который своим обликом, языком и действиями пародирует все приметы рыцарских романов.

Вообще же, «интерпретация «Дон Кихота» как пародии на рыцарский эпос правомерна по отношению к его отдельным эпизодам, мотивам и образам, к некоторым повествовательным приемам, используемым автором, но не может охватить роман Сервантеса как новаторское жанровое целое, основанное на совмещении и согласовании множества жанровых традиций, – пишут исследователи. – Преследуя цель дискредитировать в глазах читателя рыцарские романы, о чем прямо заявлено в Прологе к первой части, автор «Дон Кихота» создает не литературную пародию как таковую, а радикально новый тип повествования».

Сервантес представил «рассудительное сумасшествие» Дон Кихота как особое состояние сознания человека, что открыло роману путь к описанию сознания героя. Процесс рождения и становления самосознания героя как тема романа вышел в «Дон Кихоте» 1615 года на первый план.

Особую роль во второй части играет Санчо, образ которого

начинает конкурировать по значимости с образом его господина. В основе развития сюжета второй части лежит выдумка Санчо, который, успешно освоив стиль мышления своего хозяина, внушил ему, что крестьянка на ослице, встреченная ими на дороге, и есть Дульсинея, превращенная в уродливую поселянку злыми волшебниками.

В ряду ключевых эпизодов второй части (встреча Дон Кихота со странствующими актерами, с рыцарем Зеленого Плаща, спуск Дон Кихота в пещеру, кукольное представление в балаганчике Маэсе Педро, полет Дон Кихота и Санчо на Клавиленьо и др.) особое место занимает рассказ о правлении Санчо на Острове Баратария. В нем Санчо демонстрирует всю глубину своей «дурацкой мудрости», контрастно дополняющей «мудрое безумие» Дон Кихота. В финале второй части, в момент смерти Дон Кихота-Алонсо Кихано, образ Санчо приобретает особую символическую значимость: он воплощает бессмертие народа, его неумирающее телесное целое и становится, по словам М. де Унамуно, духовным наследником своего господина, живым носителем донкихотовского отношения к миру.

Сервантес изобразил драматичность человеческого существования в мире, утратившем патриархальную цельность и гармонию. Реальность в «Дон Кихоте» впервые оказывается раздробленной во множестве индивидуальных точек зрения, в игре «мнений» и «суждений», что открывает простор для самых разных трактовок романа.

Вторая часть «Дон Кихота» была написана, по-видимому, в 1613 году и появилась в продаже в ноябре 1615 года (впервые обе части «Дон Кихота» увидели свет под одной обложкой в 1637-м). Появлению второй части романа предшествовал подложный второй том «Дон Кихота» некоего Алонсо Фернандеса Авельянеды, вышедший в свет летом или осенью 1614 года.

Кем был автор этой фальшивки, скрывший себя под псевдонимом, до сих пор, несмотря на ряд высказанных более или менее веских гипотез {34}, остается до конца невыясненным. Сервантес узнал о появлении подложного «Дон Кихота», когда заканчивал вторую часть романа. Вероятно, что слух о скором выходе в свет продолжения романа распространился в литературных кругах вскоре после того, как Сервантес приступил к написанию второй части.

Возможно также, что Сервантес знакомил со второй частью своих собратьев по перу, и потому подложный «Дон Кихот» Авельянеды на год опередил вторую часть романа. Книге предшествовало предисловие, написанное в оскорбительном для Сервантеса тоне, полное язвительных намеков и прямой издевки

над писателем.

До сих пор остается невыясненным, знал или не знал Сервантес подлинное имя автора фальшивки (принято считать, что не знал, хотя это маловероятно). В лже-«Дон Кихоте» содержится ряд эпизодов, сюжетно совпадающих с эпизодами из второй части романа, и спор о приоритете Сервантеса или анонима не может быть разрешен окончательно. Скорее всего, писатель специально включил во вторую часть «Дон Кихота» переработанные эпизоды из сочинения Авельянеды, чтобы еще раз продемонстрировать свое умение превращать в произведения искусства малозначительные в художественном отношении тексты (точно так же он поступил с рыцарскими романами).

Фальшивый «Дон Кихот» был встречен Сервантесом с большим и вполне законным раздражением и, несомненно, ускорил его смерть. И все же писатель ограничился лишь гневной отповедью по адресу своего врага. Впрочем, лже-«Дон Кихот», несмотря на свою бесспорную литературность и бойкость написавшего его пера, особенного успеха не имел и прошел, в общем, незамеченным.

Несмотря на ту громкую известность, которую принес писателю «Дон Кихот», материальное положение его семьи не улучшилось. Мало что изменилось и в отношении к нему официальной Испании и ее литературных кругов: для них он по-прежнему был человеком малоприемлемым. Но, не улучшив положения Сервантеса, огромный успех романа побудил писателя продолжать работу над прозой, непревзойденным мастером которой он был.

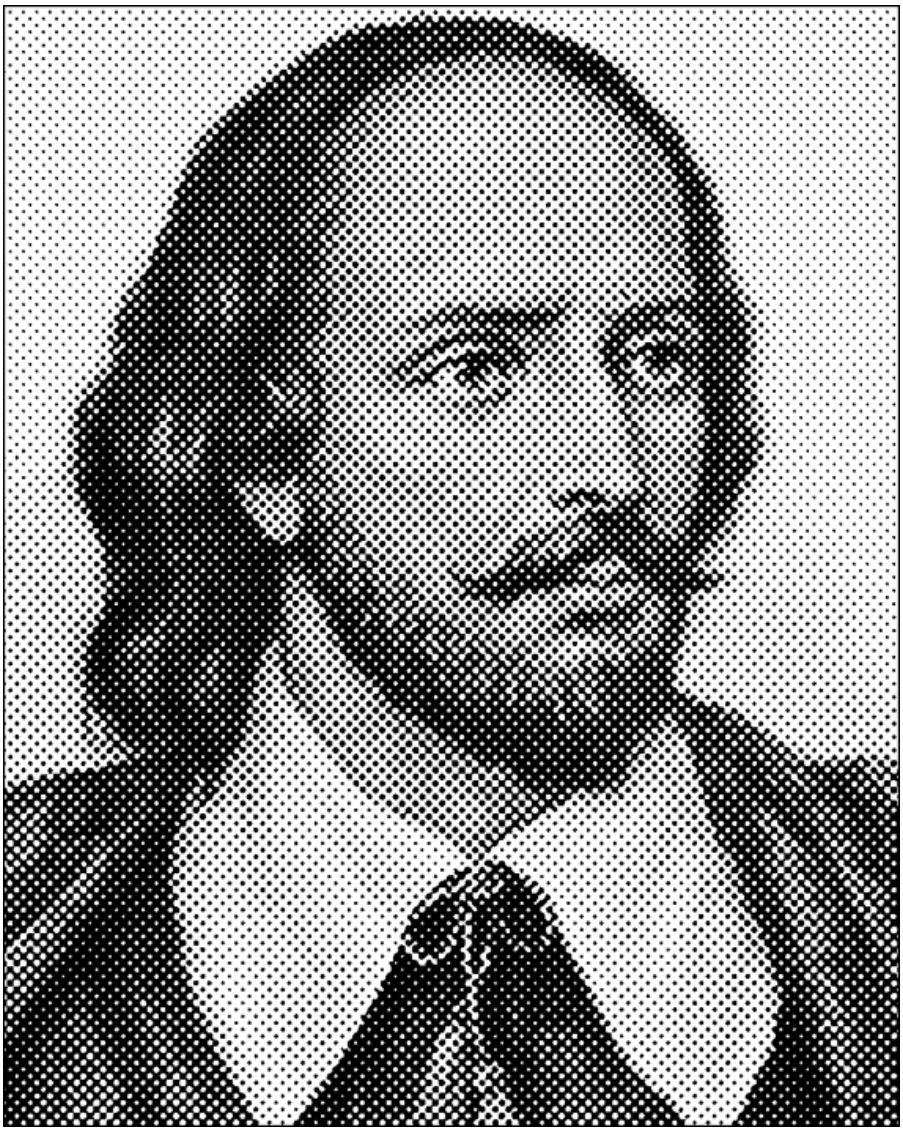
1605–1610 годы стали временем усиленной работы Сервантеса над произведениями, вышедшими позднее, – новеллами, комедиями, интермедиями и второй частью его романа. Эти годы были омрачены кончиной сестер писателя, перед смертью постригшихся в монахини, и вторым браком его дочери Исавели де Сааведра, в результате которого материальное положение писателя ухудшилось, поскольку жених потребовал гарантировать приданое. Примеру сестер Сервантеса последовала и его жена, также принявшая постриг. Да и сам писатель в 1609 году вступил в состав Братства рабов святейшего причастия, членами которого были не только высокопоставленные особы, но и ряд крупных испанских писателей (в том числе Лопе де Вега и Кеведо). Позднее, в 1613 году, Сервантес стал терциарием (членом полумонашеского религиозного Братства мирян) Францисканского ордена и накануне смерти принял «полное посвящение».

По-видимому, поступками Сервантеса руководили

соображения не столько религиозного характера, сколько стремление заручиться покровительством влиятельных членов Братства и обеспечить себя в случае болезни и острой нужды (такая помощь входила в круг обязанностей терциариев). В пользу такого предположения говорит тот факт, что двух своих покровителей: графа Лемосского, которому он посвятил «Назидательные новеллы», «Восемь комедий и восемь интермедий», вторую часть «Дон Кихота» и «Странствия Персилеса и Сихизмунды», и кардинала – епископа Толедо и главного инквизитора дона Бернардо де Сандоваля-и-Рохаса – Сервантес нашел именно среди членов Братства. Как ни мала была помощь этих покровителей, она все же несколько облегчила его жизнь, гарантировала от новых мелких притеснений со стороны властей.

Сервантес умер 23 апреля 1616 года. Он был похоронен в указанном им самим монастыре за счет благотворительных сумм Братства. Точное место упокоения Сервантеса неизвестно, поскольку в 1633 году монахи покинули стены своей обители. Памятник выдающемуся писателю был поставлен в Мадриде только в 1835-м.

Шекспир Уильям



Вот уже двести лет не утихают споры о том, кто был Уильям Шекспир, величайший драматург всех времен и народов, и существовал ли он вообще. Безусловно, имеются документальные подтверждения того, что в Стратфорде-на-Эйвоне и Лондоне жил некий Уильям Шакспер, который вел размеренную жизнь, занимался ростовщичеством, успешно приумножая собственное богатство. Родился Уильям в простой семье, его окружали неграмотные люди… В общем, он никак не мог быть автором шедевров мировой драматургии – во всяком случае, многие

исследователи считают именно так. Малое количество документальных свидетельств порождает массу домыслов и спекуляций.

Сторонники «антишекспировской» точки зрения приводят многочисленные аргументы. Во-первых, тексты «недоучки» Уильяма Шекспира свидетельствуют о том, что объем его активного словаря составлял 20–25 тысяч слов. Для сравнения: самые образованные его современники (Фрэнсис Бэкон, к примеру) могли похвастаться запасом в 9—10 тысяч слов, а современный англичанин с высшим образованием использует не более 4 тысяч. Иначе говоря, словарного запаса Шекспира с лихвой хватило бы на полдюжины человек.

Во-вторых, автор пьес Шекспира, говорят скептики, должен был прекрасно знать французский, испанский и итальянский языки, владеть латынью и древнегреческим, разбираться в истории. Откуда такая уверенность? Игорь Гилилов пишет, что сюжет «Гамлета» взят из книги француза Бельфоре, переведенной на английский только через сто лет после появления пьесы. Сюжеты «Отелло» и «Венецианского купца» заимствованы из итальянских сборников, также появившихся на английском только в XVIII веке. Сюжет «Двух веронцев» взят из испанского пасторального романа, не публиковавшегося на английском до появления пьесы. Судя по всему, Шекспир знал и использовал произведения Монтеня, Ронсара, Ариосто, Боккаччо, Гомера, Плавта, Овидия, Сенеки, Плутарха, причем не только переводы, но и оригиналы. Установлено, что автор пьес был сведущ в юриспруденции, риторике, музыке, ботанике, медицине, военном и даже морском деле. В общем, произведения Шекспира принадлежат перу чрезвычайно эрудированной личности, знающей – помимо всего прочего – быт самых высокопоставленных кругов английского общества того времени, включая монархов, знакомой с придворным этикетом, родословными.

Словом, противоречие между известными фактами биографии Уильяма Шекспира и его произведениями очевидно. Собственно говоря, что о нем известно? Скептики утверждают, что нет никаких свидетельств, что Шекспира при жизни считали писателем; в частности, не осталось не то что ни одной рукописи – ни одного клочка бумаги, написанного его рукой. Единственный автограф – подпись на завещании.

Да и само завещание, найденное через сто с лишним лет после смерти Шекспира, кажется скептикам странным. В нем «нет ни одного слова, которое могло бы быть связано с Великим Бардом. Там расписаны ложки, вилки, деньги на несколько

поколений вперед, проценты, пенсы… – сетует И. Гилилов. – Все расписано – вплоть до посуды и кровати, о которой потом так много писали. И – ни одного слова о книгах, хотя многие книги стоили дорого».

Да, деловой стиль, в котором Шекспир распределяет между родственниками свой скарб, удивляет. «Но ведь, кажется, в этом и заключается смысл завещания? – иронизирует О. Дмитриева. – Или гению следует непременно писать его гекзаметрами?» Известны духовные завещания, написанные в возвышенном ключе, но, как правило, они составлялись задолго до смерти и являлись частью литературного творчества. Шекспир же изъявлял свою волю в момент серьезной болезни, и едва ли ему было до высокого штиля.

Другая интригующая деталь – отсутствие книг и рукописей в перечне материальных ценностей, передаваемых семье. Для одних – это бесспорное доказательство того, что Шекспир не был великим драматургом. Другие возражают: родственники Шекспира были людьми неграмотными, и книги и бумаги были им ни к чему. Более того, возможно, писатель продал или раздал книги, покидая Лондон, а собственные рукописи сжег. Разрыв со сценой мог ознаменоваться душевным кризисом и даже уничтожением своих творений.

Наконец, смерть Шекспира из Стратфорда прошла незамеченной, единственный отклик на смерть гения – запись в стратфордском приходском реестре: «25 апреля 1616 погребен Уилл Шакспер, джент». А ведь, когда умирал поэт, коллеги писали элегии на его смерть, издавали памятные сборники. И. Гилилов полагает, что молчание столичных собратьев по литературному цеху симптоматично: Шакспер не посвящали траурных элегий, поскольку знали, что он не был Шекспиром. Но зачем они тогда приезжали к нему в Стратфорд? Ведь, по преданию, Шекспир умер от лихорадки, подхваченной в результате бурных возлияний с коллегой, Беном Джонсоном {35}.

А что касается элегий и надгробных од, то «в XVI веке современники никогда не утратили бы чувства дистанции между джентльменом-поэтом, предававшимся этому занятию на досуге, и поэтом, выбившимся в джентльмены благодаря своему ремеслу, – пишет О. Дмитриева. – Первых было принято прославлять в панегириках, вторых в лучшем случае хвалить в своем кругу». Кроме того, драматургия считалась «низким» жанром, в отличие от поэтической лирики или романа (не случайно Шекспир, кем бы он ни был, издавал при жизни только свои поэмы и сонеты и никогда – пьесы). Да и стоило ли ждать бурной реакции на смерть Уилла Шекспира, если само известие о

ней могло достичь столицы спустя много месяцев?

И еще. Успех шекспировских пьес отнюдь не означал, что имя их автора хорошо известно – первые издания пьес Шекспира, вышедшие вслед за поэмами, были анонимными, без обозначения фамилии писателя. В те времена авторского права еще не существовало, и, продав пьесу театру, писатель переставал быть собственником своего произведения. У Шекспира не было всенародного признания – его имя было известно лишь узкому кругу литераторов и актеров (достаточно сказать, что чиновник, плативший за спектакли при королевском дворе, вместо Shakespeare писал Shaxbird).

Так или иначе, но всевозможные противоречия и белые пятна шекспировской биографии стали причиной возникновения самых невероятных версий. Появились ученые труды, согласно которым настоящими авторами пьес Шекспира были и Фрэнсис Бэкон {36}, и граф Рэтленд[11], и полуреальная возлюбленная Барда Энн Уэтли, и его реальная жена Энн Хатауэй, и чуть ли не королева Елизавета. Каждая из этих теорий подтверждалась массой косвенных свидетельств, но все они при ближайшем рассмотрении оказывались несостоятельными.

К примеру, отказывая «крохобору» Шаксперу в праве быть гением, И. Гилилов с легкостью приписывает его произведения «целомудренному» графу Рэтленду, который, однако, страдал венерической болезнью, отравившей его брак. Существует якобы масса подтверждений того, что именно Рэтленд писал пьесы: и особый кембриджский жаргон, проскальзывающий в некоторых произведениях, и знание придворных обычаев, и то, что последняя пьеса появилась в 1611 году…

Но даже если граф писал под именем Шекспира, то как быть со «смуглой леди сонетов», живой образ которой едва ли мог порадовать его жену. В другом герое сонетов – «белокуром друге» – легко угадывается граф Саутгемптон (близкий приятель Рэтленда и покровитель Шекспира). А в свете высоких моральных качеств, приписываемых Рэтленду, и его возвышенной платонической любви к супруге странными кажутся лирические строки, обращенные к мужчине.

К тому же, многие знали Шекспира из Стратфорда: кембриджские однокашники Рэтленда, Бен Джонсон, издатели. И все они десятилетиями хранили тайну псевдонима графа. Возникает вопрос – зачем? Особенно если учесть, что слухи о недуге Рэтленда циркулировали при дворе, равно как и намеки на то, что действительно было страшным грехом, – на самоубийство графини. Трудно поверить в столь избирательную «тактичность» десятков людей, обсуждавших подробности семейной жизни четы

Рэтленд, но сохранивших инкогнито графа как автора гениальных творений.

Наконец, если принять версию сторонников Рэтленда, то первую пьесу Шекспира он должен был написать, когда ему было лет двенадцать, а в пятнадцать лет создать «Ричарда III». Одним словом, Рэтленд не слишком убедителен в роли Уильяма Шекспира.

Что касается Фрэнсиса Бэкона как потенциального претендента на славу Барда, то Ч. Гамильтон объясняет возникновение данной версии (несостоятельность которой была доказана уже в XIX веке) следующим образом: в 1592 году, когда театры закрылись из-за чумы, высокие покровители нашли Шекспиру работу секретаря у Бэкона. Бэкон доверял ему редактировать свои эссе («Опыты») и писать речи для графа Эссекса. Четырехлетнее (1592–1596) сотрудничество с Бэконом, вельможей и тонким знатоком законов своего времени объясняет «основательность познаний Шекспира в юриспруденции», придворном этикете, дворцовых сплетнях и интригах. В итоге Ч. Гамильтон ставит провокационный вопрос: а не писал ли Шекспир эссе Бэкона?

Наконец, нужно принять во внимание известный феномен: то, что кажется странным и необъяснимым с позиций сегодняшнего дня, оказывается естественным для шекспировской эпохи. Так, сомнения относительно личности Шекспира зародились в XIX веке, на закате эпохи истинных джентльменов. В основе их, помимо естественного изумления перед талантом драматурга, лежала также неготовность признать, что гений осенил человека низкого происхождения и заурядной биографии. Противники авторства Шекспира всячески принижают знания и способности актера, высоко ставя ум и знания того, кто написал пьесы. Они считают, что их автором мог быть только человек, принадлежавший к кругам высшего общества.

Таковы и другие претензии к Шекспиру: его герои благородны и исполнены прекрасных порывов, а их создатель оказался человеком, наделенным практической сметкой. Несомненный разрыв между прозаическими фактами житейской деятельности Шекспира и его поэтической драматургией издавна вызывал вопрос: как совместить собирателя имущества с автором «Ромео и Джульетты», «Гамлета», «Отелло», «Короля Лира»?

Да, документы свидетельствуют о том, что Шекспир заботился о своем достатке, старался заработать достаточно денег для приобретения недвижимости, купил один из лучших домов в Стратфорде и несколько земельных участков. И именно этот прагматизм вменяется ему в вину, хотя Шекспир, когда это

требовалось, помогал землякам в нужде. Более того, по свидетельствам современников, он отличался деликатностью, терпимостью, великодушием, был «прямодушным и справедливым человеком». Бен Джонсон утверждал, что он был честной, открытой и свободной личностью, а Драйден говорил о «всеобъемлющей душе Шекспира».

Так что деловые качества как таковые не могут служить основанием для обвинения в ограниченности и бездарности. Невольно вспоминаются строки другого гения: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать» (однако практическая сметка А. С. Пушкина не вызывает сомнений в его гениальности как поэта).

Среди немногих достоверных фактов о биографии Уильяма Шекспира есть один, мимо которого с легкостью проходят сторонники «антишекспировской» версии. Речь идет о внезапном повороте судьбы тридцатилетнего провинциала, который покинул свой мирок и стал комедиантом. И сегодня актерство многими воспринимается как занятие малопочтенное, а в то время лицедеи считались париями; у них даже не было постоянных помещений, где они могли бы заниматься своим ремеслом. Городские власти не разрешали строить театры и давать публичные представления в пределах Лондона. Театры строили за городской чертой, там, где находились всякого рода злачные места, загоны для травли медведя и арены для петушиных боев – буржуа-пуритане, управлявшие муниципалитетом столицы, видели в театрах источник разложения нравов и одну из причин распространения чумы.

Шекспир преуспел на театральном поприще даже в этих невыгодных условиях. Он сумел выделиться на фоне остальных актеров, стать пайщиком театральной труппы, создать стационарный театр и сколотить состояние, достаточное для того, чтобы купить себе дворянское звание. А ведь в отличие от современных драматургов, Шекспир не мог обеспечить себя только творческим трудом. Из-за отсутствия авторского права, получив единовременную плату, драматург больше не имел от пьесы никакого дохода. Ему не платили за повторные исполнения и за издание пьесы.

В общем, большинство исследователей сходятся в том, что пьесы Шекспира написал Уильям Шекспир. Они – плод высокого профессионального мастерства, написать их мог только человек, досконально знавший театр. Во-первых, эти пьесы были созданы не для театра вообще, а для вполне определенной труппы. Шекспир всегда приспосабливал свои произведения к особенностям конкретных актеров, использовал их физические и

голосовые данные. Для премьера труппы были написаны роли Ричарда III, Ромео, Брута, Гамлета, Отелло, Макбета, Лира, Кориолана, Антония, Просперо. Во второй половине 1590-х годов Шекспир писал роли для актера с горячим и бурным темпераментом (Тибальд в «Ромео и Джульетте» и Гарри Перси по прозвищу Горячая Шпора). В труппе был и комик, который блеснул в роли Фальстафа в первой части «Генриха IV», и Шекспир написал «под него» вторую часть «Генриха IV» и «Виндзорских насмешниц».

Актеры более позднего времени, игравшие шекспировских героев, сделали еще одно любопытное открытие. Оказалось, что драматург учитывал физические возможности актера, и на протяжении пьесы создавал для него паузы, когда тот мог отдохнуть за кулисами. Особенно это заметно в четвертых актах трагедий – исполнитель главной роли в некоторых сценах совсем не появляется перед зрителями. Все эти факты не случайны – только драматург, который был одновременно и актером, мог учитывать все детали, необходимые для успешной постановки пьесы.

Так или иначе, но положение, которое занимал Шекспир в то время, не идет ни в какое сравнение с тем, как к нему стали относиться полтораста лет спустя. В середине XVIII века Шекспира признали классиком, возник культ драматурга, а в начале XIX века его провозгласили величайшим поэтом. Ничего подобного при жизни Шекспира не было и не могло быть. Поэтому не следует удивляться, что никому из современников не пришло в голову собрать сведения о нем и написать биографию. Жизнеописаний в те времена удостаивались лишь царственные особы, высшие прелаты и лица, причисленные к лику святых; жанр биографии деятелей культуры начал развиваться в Англии лишь четверть века спустя после смерти великого драматурга. Так что серьезное изучение Шекспира началось в XVIII веке. Появились литераторы и ученые, занявшиеся изучением его жизни и творчества – в том числе и те, кто говорит о нем как о величайшей литературной мистификации.

«23 апреля 1564 года, в год рождения Галилея и смерти Кальвина, в небольшом городке средней полосы Англии явился на свет ребенок, темное имя которого, тогда же записанное в приходский церковный список, давно уже стало одним из самых лучезарных, самых великих человеческих имен, – явился Вильям Шекспир. Он родился в полном разгаре шестнадцатого века, того века, который по справедливости признается едва ли не самым знаменательным в истории европейского развития, века,

изобиловавшего великими людьми и великими событиями, видевшего Лютера и Бакона, Рафаэля и Коперника, Сервантеса и Микель-Анджела, Елизавету Английскую и Генриха Четвертого». Такими восторженными словами приветствует трехсотлетний юбилей Шекспира И. С. Тургенев.

Уильям Шекспир родился в Стратфорде-на-Эйвоне – городе с почтенной историей. Великий актер Гаррик[12] называл Стратфорд «самым грязным, невзрачным и неприглядным заштатным городом во всей Великобритании». Однако есть и множество противоположных мнений – зачастую Стратфорд описывается как утопающий в зелени тихий городок на берегу реки.

В земельной описи Англии XI века Стратфорд фигурирует как небольшое поместье, принадлежавшее епископу Вустера, и в течение нескольких веков владельцами этого поместья были его преемники. Позже Стратфорд превратился в преуспевающий город, который в XIII веке получил привилегии на проведение ярмарок. Позднее он получил местную независимость; управление возлагалось на городскую корпорацию, возглавляемую бейлифом (байли), советом из четырнадцати членов муниципалитета и четырнадцати олдерменов.

В трех с половиной милях к северо-востоку от Стратфорда поселился дед Шекспира; он арендовал землю, обрабатывал почву и пас скот. Отец поэта, Джон, не желая заниматься крестьянским трудом, переселился в город, где занялся изготовлением разного рода изделий из мягкой кожи. В городских документах он упоминается как перчаточник. Заниматься этим ремеслом было выгодно, так как перчаточники были защищены от иностранной конкуренции постановлением парламента. Впрочем, Джон Обри (XVII век) сообщает, что Шекспир-старший был мясником, но А. Аникст опровергает эту информацию – перчаточникам было запрещено заниматься убоем скота.

Джон Шекспир долгое время преуспевал – он обзавелся домом и женился на Мэри Арден, дочери состоятельного фермера, принадлежавшего к одной из самых старинных фамилий в графстве Уоркшир.

Когда Джон Шекспир поселился в Стратфорде, он быстро стал подниматься по ступеням иерархической лестницы. В сентябре 1556 года он был избран одним из двух «контролеров эля», которые следили за тем, чтобы пекари выпекали полновесные хлеба, а пивовары продавали доброкачественные эль и пиво по предписанной цене в запечатанной посуде. Осенью 1558 года Джон принял присягу в качестве одного из четырех констеблей, которым вменялось в обязанность поддержание

порядка. В следующем году он заверял протоколы уголовного суда и стал членом муниципалитета. С 1561 по 1563 год Джон служил одним из двух казначеев, распоряжавшихся имуществом города, а в 1567 году вошел в число кандидатов на пост бейлифа. В 1568 году Джон Шекспир был избран бейлифом – высшим должностным лицом Стратфорда. Через год покинул этот пост, и стал в 1571 году главным олдерменом.

Достигнув высшей выборной должности, Джон Шекспир обратился в геральдическую палату с просьбой о присвоении фамильного герба. Однако никаких последствий это ходатайство не имело, хотя он и получил из геральдической палаты эскиз герба – для Джона Шекспира наступили тяжелые времена.

У Шекспиров было много детей – об этом свидетельствуют приходские книги. Правда, в то время в Стратфорде жил еще один Джон Шекспир – башмачник, и в результате отцу поэта приписывали трех жен и одиннадцать детей (к началу XIX века путаница была успешно устранена).

Первой в семье Джона Шекспира родилась дочь Джоан; вторым ребенком стала Маргарет, умершая через несколько месяцев после рождения. 26 апреля 1564 года священник «осторожно и осмотрительно» крестил Уильяма Шекспира. Запись в приходской книге гласит: «Gulielmus, filius Johannes Shakspere» [Гильельм, сын Иоганна Шекспира]. Эта запись, дошедшая до наших дней, не является подлинной – она перенесена в пергаментную приходскую книгу с бумажного оригинала в 1600 году.

День рождения Шекспира точно неизвестен, но по традиции он отмечается 23 апреля, в день св. Георгия – покровителя Англии. Эта традиция возникла два столетия назад, благодаря собирателю древностей Уильяму Олдису, который объявил 23 апреля днем рождения Шекспира (хотя и ошибся на год, считая, что поэт появился на свет в 1563 году). Кроме того, викарий Стратфорда в свое время передал выписку из приходской книги с пометкой: «Родился 23 апреля 1564 г.», и с 1773 года 23 апреля принято считать днем рождения Барда.

Лето 1564 года ознаменовалось эпидемией чумы, которая унесла от одной седьмой до одной шестой части всего населения Стратфорда, но, к счастью, болезнь миновала дом Шекспиров.

Надо сказать, что все женщины в семье Шекспиров, включая дочерей поэта, были неграмотны. Впрочем, в те времена образование не считалось привилегией, и даже аристократы специально писали с ошибками, чтобы их не приняли за писцов. Что касается предполагаемой неграмотности Джона Шекспира, то в его время дети учились писать лишь после того, как овладевали

первоначальными навыками чтения. Таким образом, многие были неспособны написать свое имя, хотя умели читать. Поколение Уильяма Шекспира было более грамотным, чем поколение его отца.

Когда Уильям немного подрос, Джон Шекспир отдал его учиться «на некоторое время в одну из бесплатных школ, где, вероятно, тот приобрел свои небольшие познания в латыни» – в Новую королевскую школу в Стратфорде-на-Эйвоне, которая была одной из лучших провинциальных школ.

Обучение детей начиналось в четыре-пять лет в подготовительной школе. Ученики приходили в класс, имея при себе «роговую книгу»: лист бумаги или пергамента, вставленный в деревянную рамку и покрытый тонкой пластинкой из прозрачной кости. На этом листе был напечатан алфавит и молитва «Отче наш». Одолев «роговую книгу», дети переходили к «Азбуке с катехизисом» – перепечатке алфавита «роговой книги», за которым следовали текст из катехизиса и несколько благодарственных молитв. Третий, и последний учебник – «Букварь и катехизис», включал в себя святцы, календарь, семь покаянных псалмов и другие благочестивые тексты. Помимо чтения и письма дети получали элементарные знания в счете и арифметике.

В 1574 или 1575 году Шекспир должен был начать заниматься в грамматической школе по курсу высшей ступени. Здесь преподавали риторику и логику; дети составляли сочинения на заданную тему и, наконец, речи и декламации в прозе и стихах. Ученики знакомились с творчеством Вергилия, Ювенала и Горация, а «Метаморфозы» Овидия были основным школьным пособием. История изучалась по Саллюстию и Цезарю, а философия – по «De Officiis» («Об обязанностях») Цицерона. Наконец, в программу обучения входило освоение древнегреческого языка.

Таким образом, школа предлагала учащимся довольно обширные знания, и Шекспир был достаточно хорошо подготовлен (во всяком случае по понятиям позднейших эпох). Он был образован не хуже, чем любой из его современников, и нет ничего странного в том, что поэт так хорошо знал классическую литературу и ее приемы.

Неизвестно, правда, как долго Шекспир оставался в школе. Один из документов начала XVII века свидетельствует о том, что он не закончил обучение: стесненные обстоятельства Джона Шекспира вынудили забрать Уильяма.

Отец драматурга обанкротился, что вынудило его продать наследственные владения жены и скрываться от долговой ямы (он

даже не ходил в церковь из боязни быть вызванным в суд). Прежде педантично посещавший собрания городского совета, он перестал являться на них после 1576 года (но его имя еще несколько лет сохранялось в списке олдерменов – так велико было уважение к Джону Шекспиру). Лишь 6 сентября 1586 года совет сместил его, так как «г-н Шекспир (Shaxpere) не является на объявляемые заседания в течение долгого времени».

Перчаточник Джон Шекспир взял сына в подмастерья. Правда, Обри писал: «Его [Шекспира] отец был мясником, и <…> мальчиком он занимался отцовским ремеслом, а когда он резал теленка, то делал это весьма изящно и при этом произносил речь». Это свидетельство малодостоверно, но сообщение Обри можно интерпретировать как намек на участие юного Уилла в рождественской пантомиме об убиении тельца. Впрочем, все это относится к области догадок.

После ухода из школы в жизни Уильяма произошло еще одно важное событие – он женился на Энн Хатауэй, дочери состоятельного землевладельца из деревни Шоттери. А. Аникст пишет: «Должно быть, в долгие летние вечера 1582 г. он не раз пробирался по узкой тропинке, которая вела на запад от его дома через зеленые поля к небольшому селению под названием Шотери, где проживало большое семейство Хатауэй. <…> Шекспир ухаживал за старшей дочерью фермера и соблазнил ее, а возможно, она сама обольстила юношу».

Эта женитьба породила массу биографических фантазий; ее история – вымышленная или реальная – даже легла в основу кинофильма «Влюбленный Шекспир» Энтони Берджеса. Вообще же история отношений Уильяма Шекспира и Энн Хатауэй вызывала толки в среде шекспироведов – слишком уж много странностей было с ней связано.

Брак Шекспира был заключен в консисторском суде Вустера, что подтверждено документально. Уже сам этот факт вызывает интерес, поскольку во времена Шекспира свидетельств о браке как таковых не существовало. Для заключения законного союза требовалось всего лишь троекратно оглашать в церкви имена жениха и невесты в течение трех воскресных или праздничных дней. Каждый, кто был осведомлен об обстоятельствах, способных помешать свадьбе, мог выступить с протестом, и если такового не поступало, происходила церемония бракосочетания в присутствии семьи, друзей и соседей. Обычно она проводилась в приходской церкви невесты, а запись о свадьбе вносилась в приходскую книгу.

Однако женитьбе Шекспира сопутствовали особые обстоятельства: он не достиг совершеннолетия (21 года), а его

невеста, которая была на семь или восемь лет старше Уильяма, ждала ребенка. Поэтому-то 27 ноября двое друзей семейства невесты отправились в Вустер, чтобы получить обычное для таких случаев разрешение суда.

Составленный в сухих официальных терминах документ (датированный 28 ноября) устанавливает, что Уильям Шекспир и «Энн Хатауэй, девица из Стратфорда Вустерской епархии, могут, имея согласие невесты, законным образом совершить торжественный обряд бракосочетания и затем жить вместе в качестве мужа и жены, после того как каждый из них объявит о предстоящем браке, то есть они могут вступить в брак, доказав отсутствие каких-либо препятствий в виде ранее заключенных брачных контрактов или кровного родства или тому подобного».

Однако когда судебный клерк отмечал выдачу разрешения в епископской книге записей 27 ноября 1582 года, он записал имя невесты как Энн Уэтли. Разумеется, родилась романтическая легенда о том, что Шекспир любил Энн Уэтли, но вынужден был жениться на соблазненной им Энн Хатауэй. Биографы создали образ таинственной девы и сделали ее главным персонажем мелодраматической истории, в которой Уиллу пришлось выбирать между любовью и долгом.

Никаких «документальных данных» о существовании Энн Уэтли нет, да и быть не может – это английский вариант «подпоручика Киже». Произошла обычная вещь: клерк Вустерского епископата, который невнимательно переписывал содержание выданных документов в епископскую книгу, присвоил Энн фамилию одного из местных землевладельцев.

Из-за описки регистратора Энн Уэтли (которая, кстати, входит в список «подлинных авторов» пьес Шекспира) приписывают сразу несколько биографий. Она – то ли дочь купца-авантюриста, то ли монахиня, влюбленная в Уильяма, – была титулована как автор двух гениев Англии – Марло и Шекспира. Получается, что Энн Уэтли вначале сочинила пьесы Марло, между делом произвела переворот в английской драме, выдумала белый стих, а затем принялась «писать Шекспира». Мало того, будучи монахиней, она уговорила Уильяма жениться на другой женщине, рассказав об этом в стихах, которые больше известны как «Сонеты» Шекспира.

В общем, легенда об Энн Уэтли и несчастной любви Шекспира оказалась весьма живучей и по сей день находит своих поклонников. Альтернативная точка зрения, не столь привлекательная в силу своей прозаичности, состоит в том, что Шекспир вовсе не делал уступок совести. В елизаветинские времена считалось, что обряд обручения при свидетелях имеет

силу гражданского брака, так что вполне возможно, что Уильям и Энн Хатауэй были помолвлены к тому моменту, как она забеременела.

26 мая 1583 года приходский священник крестил дочь Шекспира Сьюзан. Менее чем через два года Энн родила двойню, мальчика и девочку. Шекспиры назвали своих близнецов Гамнетом и Джудит (Гамнет умер в возрасте 11 лет), а после 1585 года детей у Шекспиров больше не было.

Никаких документальных сведений о жизни Шекспира с 1585 года до 1592 года нет – этот период называется в шекспироведении «утраченными годами». Информационная лакуна, естественно, заполнилась легендами, согласно которым Шекспир беспробудно пил и был накоротке с местными забулдыгами. Правда, впервые эти сведения были обнародованы в 1762 году, когда анонимный корреспондент «British magazine», остановившийся в трактире «Белый лев», сочинил «письмо с родины Шекспира». Хозяин трактира, сообщал корреспондент, отвел его к дому, где родился великий человек: «По пути туда, в местечке Бидфорд, он показал мне среди зарослей кустарника дикую яблоню, которую называют шекспировским пологом, потому что однажды поэт ночевал под ней; ибо он, равно как и Бен Джонсон, любил пропустить стаканчик в компании; а поскольку он много слышал об обитателях этого селения как о лихих пьяницах и весельчаках, он однажды пришел в Бидфорд, чтобы выпить с ними. Он спросил у какого-то пастуха, где бидфордские пьяницы, и тот ответил, что пьяницы отлучились, но что любители выпить сидят по домам; и я предполагаю, продолжал овчар, что вам за глаза хватит и их компании: они перепьют вас. И действительно, они его перепили. Он был вынужден проспать под этим деревом несколько часов…»

Эта малодостоверная история обросла новыми подробностями. Около 1770 года Джон Дарден, «сомнительный хранитель стратфордских преданий», по выражению А. Аникста, рассказал о том, что утром собутыльники Шекспира разбудили его и стали уговаривать возобновить соревнование. Однако поэт, сказав, что с него было довольно, окинул взглядом близлежащие деревушки и экспромтом произнес:

«Со мною пили
Педворт с дудкой, танцор Марстон,
Чертов Хиллборо, тощий Графтон,
Эксхолл, папист Виксфорд,
Нищий Брум и пьяный Бидфорд»,

перечислив названия всех населенных пунктов, из которых пришли его собутыльники.

Возможно, рассказы о пристрастии Шекспира к спиртному основаны не более как на «измышлениях трактирщиков». Согласно другому, более достоверному преданию, уоркширцы тешили себя более опасными забавами, чем пьяные турниры – в частности, браконьерской охотой на оленей.

История о Шекспире-браконьере изложена в предисловии Николаса Роу к его книге, изданной в 1709 году: «По несчастью… он попал в дурную компанию; и молодые люди из этой компании, часто промышлявшие браконьерской охотой на оленей, неоднократно склоняли его совершать вместе с ними набеги на охотничий заповедник, расположенный неподалеку от Стратфорда и принадлежавший сэру Томасу Люси из Чарлкота. За это сей джентльмен преследовал его судебным порядком, по мнению Шекспира, пожалуй, излишне сурово, и, чтобы отомстить за это дурное обращение, Шекспир написал балладу, направленную против Люси. И хотя эта, возможно его первая, проба пера утрачена, говорят, баллада была настолько злобной, что судебное преследование против него возобновилось с новой силой и Шекспир был вынужден оставить на некоторое время свое дело и свою семью в Уоркшире и укрыться в Лондоне».

Считается, что Шекспир отомстил преследователю, намекнув на его личность в комедии «Виндзорские насмешницы»[13]. Люси из Чарлкота в свое время приняли в качестве своей эмблемы изображение щуки (по-английски «luce» или «pike»), а на одном из надгробий Люси изображено по три щуки в каждой четверти геральдического щита, что в сумме дает дюжину.

В пьесе Шекспира Фальстаф оскорбил Шеллоу, «мирового судью в графстве Глостершир», побив его слуг, подстрелив его оленя и ворвавшись в дом лесничего. Чтобы отплатить за обиду, Шеллоу прибывает в Виндзор, и его племянник хвастается знатностью рода:

«**Слендер**: Все наши покойные потомки были джентльмены, и все наши будущие предки будут джентльмены. Они носили, носят и будут носить двенадцать серебряных ершей[14] на своем гербе!

Эванс: Двенадцать серебряных вшей[15] на своем горбе?

Шеллоу: Да, на своем старом гербе!

Эванс: Я и говорю. На своем старом горбе… Ну что ж, человек давно свыкся с этой божьей тварью и даже видит в ней весьма хорошую примету: счастливую любовь, говорят».

Видимо, Шекспир хорошо запомнил, почему ему пришлось покинуть родной город и податься в актеры. Впрочем, это не более, чем одна из версий о том, как великий драматург проводил «утраченные годы». Сомнительно, однако, что только браконьерство стало причиной преследования Шекспира со стороны чарлкотского дворянина; Роу упоминает некую язвительную балладу, которая якобы была наклеена на ворота заповедника Люси, что побудило обозленного рыцаря обратиться к юристу и возбудить иск против Шекспира.

До сегодняшнего дня дошли два варианта этого стихотворного опуса – и оба оскорбительны донельзя. Первый вариант баллады таков:

Своих оленей так берег
Сэр Томас от врага,
Что и у Томаса на лбу
Вдруг выросли рога.
Оленей, ваша милость, нет
У вас, но есть жена —
Пусть о рогах для вас всю жизнь
Заботится она.

Перевод А. Аникста, А. Величанского

Иная версия этой баллады была в середине XVIII века включена в заметки к биографии Шекспира, которую он так никогда и не написал:

Судья мировой и в парламент прошел —
Он пугало дома, в столице – осел,
С кем именем схож он? – Походит на вошь он,
Но с вошью не только по имени схож он;
В величьи своем остается ослом.

Перевод А. Аникста, А. Величанского

Впрочем, легенда вызывает сомнение у исследователей. Во-первых, щука была геральдической эмблемой многих дворян. Во-вторых, некоторым ученым кажется невероятным, чтобы Шекспир мог таить злобу в течение десяти лет и затем излить ее, уязвив свою жертву в какой-то пьесе. Но даже если предположить, что это было именно так, лишь единицы могли уловить скрытые намеки на какого-то провинциального джентльмена и на события

многолетней давности. Дело, по-видимому, в том, что в 1610 году другой сэр Томас Люси предъявил в Звездную палату[16] иск против браконьеров. Возможно, именно этот случай и проник в предание. Однако «легенда о браконьерстве настолько нравится публике, что любые доводы здесь бессильны, – утверждала в середине XX века Элис Фейерфакс-Люси. – Если эта легенда будет авторитетно опровергнута, будущие поколения лишатся того, что в течение веков делало нашего поэта живым в представлении читателей».

Впрочем, даже если легенда и имеет под собой реальную основу, то она повествует о развлечении, а не о серьезных жизненных занятиях – Шекспир не мог прокормить свою растущую семью случайным куском оленины. По недостоверным данным, он, «еще находясь в Стратфорде, был принят на службу в контору местного адвоката, который в то же время был мелким нотариусом и, возможно, был также сенешалем в каком-нибудь поместном суде». Однако если бы Шекспир занимал место в какой-нибудь адвокатской конторе, присутствуя на судебных заседаниях, то его подпись обнаружилась бы в делах или в завещаниях, но ничего подобного обнаружено не было.

В 1859 году появилась экзотическая версия, будто поэт отправился на военную службу в Нидерланды, но речь, разумеется, идет о каком-то однофамильце – фамилия Шекспир была довольно распространенной.

Обри полагает, что Шекспир «в молодые годы был учителем в провинции». Однако Шекспир никогда не учился в университете, а у стратфордских учителей были ученые степени, полученные в Оксфорде или Кембридже. Впрочем, во многих городах муниципальные власти предъявляли менее строгие требования к преподавателям. Возможно также, что Шекспир нашел место репетитора в каком-нибудь высокопоставленном семействе.

Еще одна версия гласит, что Шекспир уже тогда занялся актерством. Существует предположение, будто он вступил на этот путь до 1583 года, то есть до женитьбы на Энн. Еще пятнадцатилетним мальчиком Шекспир примкнул к труппе гастролировавших актеров и затем был представлен семейству Хафтонов. В семнадцать лет Уильям якобы уже начал свою театральную карьеру в частном семейном театре Хафтонов, слегка изменив фамилию, чтобы избежать отцовских нареканий по поводу своей затеи. Однако никаких достоверных данных, подтверждающих эту версию, нет.

Однако, чем бы Шекспир не занимался, незадолго до 1592 года он покинул Стратфорд и отправился в Лондон, где стал актером и драматургом. Причина отъезда Шекспира из

Стратфорда неизвестна – несмотря на существование романтических легенд.

Шекспир, безвестный лицедей, оказался в Лондоне в труппе, пользовавшейся покровительством лорда Стренджа. Началом его драматургического творчества принято считать 1590 год, хотя точное время появления Шекспира в столице неизвестно. И снова легенда восполняет образовавшийся пробел. Некий Даудел, возвращаясь из Стратфорда, написал письмо с пересказом сплетен о подручном мясника, который сбежал в Лондон и «был принят в один из театров в качестве слуги».

Красочная разработка этой сплетни появилась в 1753 году в краткой биографии Шекспира в «Жизнеописаниях великих поэтов Британии и Ирландии» Р. Шайелса: «Когда он пришел в Лондон, у него не было ни денег, ни друзей и, будучи чужаком, он не знал, к кому обратиться и каким образом заработать себе на жизнь… Шекспир, доведенный до крайней нужды, ходил к театральному подъезду и зарабатывал по мелочам, приглядывая за лошадьми джентльменов, приезжавших на спектакль; он отличился даже в этом ремесле – его усердие и ловкость были замечены; вскоре у него было столько работы, что он сам не мог с ней справиться, и в конце концов стал нанимать себе в помощь мальчишек, которых так и называли – мальчишками Шекспира. Некоторые актеры, случайно разговорившись с ним, нашли его столь интересным и искусным собеседником, что, пораженные этим, рекомендовали его в театр, где он сначала занимал очень низкое положение, однако недолго, ибо вскоре выделился если не как выдающийся актер, то по крайней мере как превосходный автор».

Эта история обязана своим существованием преувеличенным представлениям о бедственном положении Шекспира. Более вероятным кажется предание о том, что Уильям получил должность помощника суфлера, и должен был напоминать актерам об их выходе по ходу пьесы. Возможно, Шекспир начал актерскую карьеру в труппе Ее Величества, а после решил, что ему выгоднее перейти в другой театр. Позднее он смог использовать в качестве источников сюжета три пьесы из репертуара этой труппы: «Беспокойное царствование короля Джона», «Славные победы Генриха V» и «Правдивая история короля Лира и трех его дочерей». Создавая свои варианты пьес, Шекспир, возможно, помнил о тех днях, когда он был актером королевской труппы.

Когда Шекспир покинул Стратфорд, ему было чуть больше двадцати. В 25 он уже был автором первой пьесы, имевшей успех. Он выбрал тему, которой до него никто не касался, – междоусобную династическую войну. Пьеса была поставлена в

1590 году, окончательно утвердив автора в правильности выбранного пути. 3 марта 1592 года еще больший успех имела постановка первой части трилогии «Генрих VI».

Успех был столь велик, что сразу же появились завистники. Роберт Грин написал разгромную статью «На грош ума, купленного за миллион раскаяний» – первое и последнее критическое произведение о творчестве Шекспира, вышедшее при жизни великого драматурга: «Не верьте им; есть выскочка-ворона средь них, украшенная нашим опереньем, кто «с сердцем тигра в шкуре лицедея» считает, что способен помпезно изрекать свой белый стих, как лучшие из вас, и он – чистейший «мастер на все руки» – в своем воображеньи полагает себя единственным потрясателем сцены».

То, что Грин избрал для своего нападения именно Шекспира, очевидно из его каламбурного упоминания о «потрясателе сцены» («Shake-scene» – потрясатель сцены, «Shake-speare» – потрясающий копьем) и из пародийного намека на одну из ранних пьес Шекспира, в которой есть слова: «О, сердце тигра в этой женской шкуре!»

Некоторые исследователи полагают, что Грин, кроме всего прочего, обвиняет Шекспира в использовании чужих идей. Возможно, Грин имел в виду хорошо известное в те времена третье послание Горация, в котором поэт использует образ вороны, которая лишается своей украденной славы, заподозренная в плагиате. На этом толковании «На грош ума» была основана точка зрения, согласно которой Шекспир в начале своей литературной карьеры занимался перелицовкой чужих пьес (в том числе гриновских). Однако маловероятно, чтобы труппа поручила какому-то новичку дорабатывать произведения опытных профессиональных драматургов.

Статья Грина свидетельствует о том, что к 28 годам у Шекспира была определенная известность. Более того, уже сам гневный тон «На грош ума» содержит в себе непреднамеренную похвалу Шекспиру.

Итак, к 1592 году Шекспир заявил о себе как о драматурге. Ни одна из его пьес не была напечатана, но это нормально: как только автор выпускал из рук свои литературные творения, он терял всякую возможность уследить за их судьбой. Профессии литератора в современном смысле слова еще не существовало. Писатели не были защищены законом об авторских правах, а все правила на этот счет были на руку печатникам. По сравнению с другими авторами драматург в последнюю очередь мог решать вопрос о публикации своих произведений. Пьесы, проданные им театральной труппе, становились ее собственностью, и, пока они

удерживались на сцене, актеры оберегали их от печати, чтобы никто другой не мог их поставить.

Порой пьесы все же попадали в печать вследствие бедствий, постигших труппу, – чумы, финансовых затруднений, банкротства, роспуска актеров или же это были пиратские тексты (неизбежно неточные). Так что при жизни Шекспира вышло из печати около половины его пьес – но ни одна из них не подписана именем драматурга.

Самыми ранними пьесами Шекспира принято считать трилогию «Генрих VI», «Ричард III», «Бесплодные усилия любви», «Укрощение строптивой», «Комедию ошибок» и «Тита Андроника» (что касается последней пьесы, то часть шекспироведов считает, что эта пьеса была написана в соавторстве).

В 1593-м в Лондоне вспыхнула эпидемия чумы. Театры закрылись, актеры отправились в провинцию.

Чем занимался Шекспир в течение этого затянувшегося периода вынужденного бездействия? Согласно одной любопытной гипотезе, он скитался по континенту, посетил Италию. В XIX веке К. Эльце создал теорию о том, что Шекспир «бежал от опасной чумной атмосферы столицы», а по возвращении создал «Венецианского купца», «Отелло» и «Укрощение строптивой», «будучи преисполнен только что полученными впечатлениями, когда все очарование Италии с ее небесами непроизвольно водило его пером». Однако шекспировское знание итальянской топографии не надежно. Герои в окруженной сушей Вероне (в «Двух веронцах») садятся на корабль; Милан в «Буре» изображен как город, связанный с морем посредством водного пути, и т. п.

По-видимому, Шекспир не выезжал из Лондона, насыщая свое воображение книгами и рассказами вернувшихся путешественников или беседуя с итальянцами в Лондоне. А. Рауз полагает, что тогда же Шекспир познакомился со «смуглой дамой», воспетой в «Сонетах», – Эмилией Бассано. Он исходит из того, что мужа Эмилии звали Уилл; и это разъясняет смысл тех сонетов, которые построены на игре слов. {37}

Оставшись в Англии, Шекспир попробовал себя в сочинении недраматических произведений и нашел покровителя – Генри Ризли, графа Саутгемптон, который покровительствовал ученым и поэтам.

Благодаря Саутгемптону состоялась первая «официальная» публикация Шекспира – поэма «Венера и Адонис», а год спустя – «Лукреция». Обе поэмы посвящены графу Саутгемптону. В 1594-м были анонимно изданы и первые пьесы.

На титульном листе «Венеры и Адониса» не значилось имени автора, но посвящение «его милости Генри Ризли графу

Саутгемптону, барону Тичфилду» было подписано. Шекспир назвал «Венеру и Адониса» первенцем своей фантазии – и это породило шквал спекуляций на тему авторства пьес. Но все гораздо проще: во-первых, этой поэмой был отмечен дебют Шекспира в печати, а во-вторых – он, видимо, делал различие между серьезным литературным творчеством и «низким» драматическим жанром.

«Венера и Адонис» пользовалась огромным успехом – с 1593 до 1640 года она выдержала шестнадцать изданий. Читатели зачитывали поэму настолько, что страницы книги рассыпались; этим объясняется факт, что наиболее часто издававшееся произведение сохранилось в одном-единственном экземпляре.

Следующей весной вышла новая поэма Шекспира – «Обесчещенная Лукреция» – резко контрастирующая с ранней поэмой. А. Аникст пишет: «Если в "Венере и Адонисе" трактуется тема Эроса, отвергнутого при неудавшейся попытке соблазнить скромного юношу, то в "Обесчещенной Лукреции" трактуется тема Эроса, удовлетворенного насилием над рассудительной матроной». Во второй поэме вновь обнаруживается посвящение Саутгемптону – еще более сердечное, чем в первой. Успех «Обесчещенной Лукреции» был менее разительным, но все же до 1640 года она выдержала более восьми изданий.

О том, как отнесся граф Саутгемптон к двум шекспировским посвящениям, хроника того времени умалчивает. Однако предание – как всегда – восполняет пробел: лорд Саутгемптон будто бы дал Шекспиру тысячу фунтов стерлингов, которые тот использовал, чтобы приобрести пай в театральном товариществе. Достоверность этого предания трудно оценить. Известно, впрочем, что в 1590-х годах граф находился в столь стесненных обстоятельствах, что вынужден был сдавать внаем помещения своей лондонской резиденции.

Больше никогда Шекспир не посвящал ни одно свое произведение какому-либо знатному лорду, а имя Саутгемптона исчезло из биографических данных о Шекспире. Однако оно не исчезло из гипотез. Комментаторы полагают, что граф Саутгемптон является «светловолосым юношей», которому Шекспир в «Сонетах» настоятельно советует жениться, и которого поэт обессмертил, обращаясь к нему с необычными выражениями мужской дружбы, принятыми в эпоху Возрождения. В то же время неясно, в какой мере персонажи сонетов – «прекрасный юноша», «смуглая дама», «поэт-соперник» имеют реальные прототипы: они обусловлены жизненными обстоятельствами не больше, чем требованиями искусства.

Хотя Шекспир не стремился издавать свои пьесы, они так или

иначе появлялись в печати. В 1594 году вышел «Тит Андроник», за ним последовал неточный текст второй части «Генриха VI», составленный актерами по памяти. Была опубликована комедия «Укрощение одной строптивицы» (возможно, это пиратский вариант «Укрощения строптивой», которая в окончательном варианте вышла в свет лишь через семь лет после смерти драматурга). В течение следующих трех лет были изданы «Правдивая трагедия Ричарда, герцога Йоркского», «Ромео и Джульетта», «Ричард II» и «Ричард III», «Бесплодные усилия любви», первая часть «Генриха IV». К 1598 году восемь или девять шекспировских пьес появились на прилавках книготорговцев. Но к этому времени он написал уже гораздо больше.

Было создано несколько сонетов, «Комедия ошибок», «Два веронца», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Король Джон» и «Вознагражденные усилия любви». Последняя пьеса – это еще одна из шекспировских загадок.

Скорее всего, «Вознагражденные усилия любви» являются одним из названий другой известной пьесы («Укрощения строптивой», «Много шума из ничего» или «Конец – делу венец»), а возможно – это утраченная пьеса Шекспира.

Энергия и плодовитость драматурга поражают. Он обладал великолепной фантазией; отличался смелостью мысли и благородством ее выражения; поэтому писал с такой легкостью, что иногда следовало останавливать его. Он обладал острым умом, но не всегда умел держать себя в узде. В отличие от Бена Джонсона, тщательно отделывавшего свои пьесы, Шекспир был «быстрым пером». «Его мысль всегда поспевала за пером, и задуманное он выражал с такой легкостью, что в его бумагах мы не нашли почти никаких помарок», – писали друзья драматурга.

За пять лет (1592–1596) Шекспир создал 12 пьес и две поэмы, а к концу века наследие 36-летнего драматурга насчитывало 22 пьесы. За восемь лет – с 1601-го по 1608-й он создал еще 10 шедевров, в том числе «Гамлета», «Отелло», «Короля Лира», «Макбета», «Кориолана» и «Тимона Афинского». Впрочем, Шекспир не менее энергично занимался упрочением своего материального и социального статуса.

Так, в 1596 году он возобновил ходатайство отца о присвоении ему герба. Джон Шекспир был женат на дворянке, но звание жены не переходило ни к мужу, ни к сыну. Шоу писал, что, будучи выходцем из простонародья, драматург приписывал себе родовитость, которой не обладал, и представлял семьи Шекспиров и Арденов благородными, а себя джентльменом в стесненных обстоятельствах из-за отцовского невезения в делах. В конце концов, главе семьи и старшему сыну было присвоено

вожделенное звание.

В геральдической палате сохранились два черновика документа, датированного 20 октября 1596 года, в которых удовлетворялась просьба Джона Шекспира об учреждении семейного герба. Геральдмейстер установил и утвердил такой щит: «Золотое поле, черная полоса, копье с наконечником из первосортного серебра и в верхней части щита в качестве эмблемы – сокол с распростертыми серебряными крыльями, стоящий на венце, составленном из фамильных цветов, держащий золотое копье с нашлемником с различными лентами, какие приняты обычаем, более отчетливо изображенными здесь на полях.

Поверх щита с венчающей его эмблемой клерк написал «Non, sanz droict». Подтверждает ли эта фраза, что документ соответствует правилам геральдики? Вероятно, нет. Скорее всего, она является девизом, плодом «измышления или самонадеянности носителя герба», для которого не требовалось санкции со стороны чиновников геральдической палаты. В выражении «Non sanz droict» («Не без права») больше смысла, чем в словах «Non, Sanz Droict» («Нет, без права»).

В том же, 1596 году впервые после 11-летнего отсутствия разбогатевший Шекспир появился в родном городе, и в 1597 году купил для себя и своей семьи превосходный дом. Приобретенный им дом – Нью Плейс – был в Стратфорде вторым по величине.

Что думали соседи-горожане об известном поэте и драматурге из труппы лорд-камергера? Вероятно, их не очень интересовали его пьесы и стихи. Но они совершенно иначе относились к его деловым успехам, видя в Шекспире человека проницательного в практических вопросах, к которому можно обратиться при необходимости за солидной ссудой при достаточной гарантии возврата долга.

Сохранившиеся сведения мало что сообщают о том, как Шекспир проводил время за пределами Лондона – однако существуют документы, в которых зафиксированы незначительные споры из-за денег, разбиравшиеся в суде. А параллельно продолжалась театральная жизнь.

Первые пьесы Шекспира ставились в театре «Роза», однако затем он связал жизнь с «Театром» – труппой, пользующейся покровительством лорда-камергера, и стал ее главным пайщиком. В этой труппе, которая потом перешла под покровительство короля, он оставался до самого ухода со сцены.

Вообще о Шекспире-актере известно мало. Он не играл главные роли, а в 1604-м вообще перестал выходить на сцену. Один из первых биографов сообщал, что вершиной его актерской

карьеры стала роль призрака в «Гамлете». Известно также, что он играл старого слугу в «Как вам это понравится» и второстепенные роли в пьесах Бена Джонсона. Его драматургический талант был неизмеримо выше дара лицедея, а о режиссерском призвании Шекспира можно судить по советам, которые Гамлет давал актерам.

Роль драматурга в елизаветинском театре совмещалась с функцией наставника и режиссера. Шекспир не только распределял роли и дирижировал актерским ансамблем, но и писал под определенного актера – этим объясняются такие несуразности, как путаница имен действующих лиц с именами актеров. Но прежде всего он был постоянным драматургом («постоянным поэтом», как это называлось в елизаветинском театре) своей труппы и писал исключительно для нее. Благодаря тому, что Шекспир был одновременно актером, совладельцем театра и драматургом, он стал образцом театрального деятеля своего времени.

Будучи драматургом труппы лорд-камергера, Шекспир, разумеется, выполнял заказы высокого покровителя. Так, есть предположение, что лорд-камергер, который щедро оплачивал празднества ордена Подвязки, поручил постоянному драматургу своей труппы экспромтом сочинить пьесу для представления ее на этом празднике в честь новых кавалеров ордена. По другой версии поводом к созданию пьесы послужило пожелание королевы – так в 1597 году появились «Виндзорские насмешницы». Местом действия Шекспир выбрал Виндзор, где в часовне св. Георгия, покровителя ордена, ежегодно совершалась церемония посвящения в кавалеры ордена Подвязки.

До 1597 года «слуги лорда-камергера» арендовали здание для своего «Театра», а когда срок аренды истек, решили обзавестись собственным зданием. 28 декабря 1598 года здание «Театра» было разобрано, а бревна переправлены через реку в Банксайд. Там воздвигли новое театральное здание, самое великолепное из когда-либо существовавших в Лондоне. Новый театр получил название «The Globe» (общепринятый перевод названия «Глобус» неточен, более правильное – «Земной шар», подразумевавший, что в пьесах будет показана жизнь всего мира).

Внутри башни была открытая площадка для игры; зрители сидели в галереях и стояли на земле, окружив подмостки. Крыши не было, а помост прикрывал соломенный навес. Над театром развевался флаг с латинской надписью «Весь мир лицедействует». Первым спектаклем, поставленным в «Глобусе», стал «Юлий Цезарь».

Шекспир внес значительную сумму на приобретение земли и

строительство «The Globe», став пайщиком нового театра. Новому театру были необходимы новые пьесы, и они не заставили себя ждать. Именно на сцене «Глобуса» были впервые сыграны все лучшие шекспировские драмы. С 1603 года труппа лорда-камергера стала именоваться королевской.

Несмотря на высокий патронат, театр Шекспира был коммерческим предприятием и требовал неустанных забот о процветании. В отличие от других драматургов, Шекспир был еще и совладельцем театра. Его связывали с труппой «Глобуса» не только постановки собственных пьес, поиск репертуара, но и каждодневный двадцатилетний труд администратора. Источником его доходов были гонорары драматурга, заработок актера, актерский пай и дивиденды от ренты за театральное помещение. Ему приходилось думать о заработках и процветании театра, «ориентируя свои пьесы на медь, серебро и золото», а отношение Шекспира к актерской профессии, по-видимому, было двойственным.

Согласно позднему преданию, Шекспир предоставил Бену Джонсону, который стал его близким другом, возможность начать свою карьеру в труппе лорд-камергера. Роу писал: «Его знакомство с Беном Джонсоном началось с того, что он проявил замечательную человечность и доброту. Джонсон, который в ту пору был совершенно неизвестен, предложил одну из своих пьес актерам; лица, в чьи руки она попала, перелистав ее небрежно и поверхностно, были готовы вернуть ему пьесу, ответив, что их труппе она вовсе не нужна; но тут, к счастью, она попалась на глаза Шекспиру, и некоторые места в ней ему так понравились, что он прочел пьесу до конца, а затем рекомендовал Джонсона и его сочинения публике. После этого они стали друзьями».

Однако все эти легенды меркнут перед историей о встрече актера и королевы: «Королева Елизавета была большой поклонницей бессмертного Шекспира и часто появлялась (что было в обычае у высокопоставленных лиц в те дни) на сцене перед публикой или с удовольствием сидела за декорациями во время представления пьес нашего драматурга, – пересказывал Р. Райн в 1825 году. – Однажды вечером, когда Шекспир играл роль какого-то короля, зрители узнали, что Ее Величество находится в театре. В то время как он играл, она вышла на сцену и, встреченная обычными приветствиями публики, грациозно, стараясь не помешать, направилась к поэту, но тот не заметил ее! Уже находясь за сценой, она встретилась с ним взглядом и вновь направилась к нему, но он все еще был настолько погружен в свою роль, что не заметил ее; после этого Ее Величеству захотелось узнать, можно ли как-нибудь заставить его выйти из

роли, когда он находится на сцене. С этой целью в тот момент, когда он должен был уйти со сцены, она подошла к нему, уронила перчатку и вернулась за кулисы; заметив ее жест, Шекспир поднял перчатку и, продолжая речь своего героя, добавил к ней от себя слова, которые прозвучали так кстати, как будто входили в текст:

> Согнувшись до высот услуги сей,
> Мы снизойдем Сестры поднять перчатку.

Затем он удалился со сцены и вручил перчатку королеве, которая была весьма довольна его поступком и похвалила поэта за находчивость».

Этот фантастический рассказ настолько удачен, что, как пишет А. Аникст, «возникает соблазн пренебречь несколькими соображениями, опровергающими вероятность этого романтического эпизода». Во времена Елизаветы спектакли шли днем, а не вечером; на сцене не было никаких декораций; королева никогда не выражала своего восхищения Шекспиром; она не посещала театры и не имела склонности показываться толпе; к тому же она не снисходила до заигрываний с подданными, занимавшими низкое общественное положение.

Шекспир создавал по две вещи в год, разумеется в среднем. Хронология написания пьес недостаточно отчетлива, но между 1598 и 1601 годом Шекспир создал «Генриха V», «Много шума из ничего», «Юлия Цезаря», «Как вам это понравится», «Двенадцатую ночь» и «Гамлета». «Слуги лорд-камергера» дважды играли при дворе на Рождество 1598–1599 годов, дважды – в 1599–1600 годах и в 1600–1601 и три раза – в 1601–1602 годах.

1601 год стал роковым для Шекспира – в его жизни произошло какое-то страшное событие, и с этого времени он стал совсем иным человеком, что отразилось на его творчестве. Разные исследователи высказывают различные догадки. Одни полагают, что на него сильно повлияло осуждение высоких друзей и покровителей Эссекса и Саутгемптона; другие говорят о несчастной страсти к «черной даме», воспетой в сонетах; третьи приурочивают к этому времени смерть отца Шекспира и т. д.

В то же время существует и иная точка зрения. «Какие это, спрашивается, особенные несчастья могли так мрачно настроить Шекспира? – вопрошает С. Венгеров. – Смерть отца в 1601 г.? Но ведь смерть единственного сына не помешала ему создать через год самое жизнерадостное из своих произведений – эпопею Фальстафа. Могли, конечно, иметь место какие-нибудь такие интимные события душевной жизни Шекспира, которые не

оставили никакого следа в биографических известиях о нем, вроде, например, таинственной «черной дамы» сонетов. Но как же, однако, сочетать в одно представление мировую скорбь и разбитые иллюзии с тем, что одновременно с «Гамлетом» Шекспир с присущей ему осмотрительностью и тщательностью был занят приобретением новой земельной собственности? Как соединить в одно личное представление величественную безнадежность «Отелло», «Меры за меру», «Макбета», «Лира» с таким мелко-суетливым и не совсем чистоплотным занятием, как относящийся как раз к тем же годам откуп десятины? Очевидно, ни в каком случае не следует смешивать в одно представление Шекспира-человека, Шекспира-дельца с Шекспиром-художником». А что касается «черной дамы» сонетов, то тот же С. Венгеров пишет: «Сравнительное сопоставление сонетов Шекспира с сонетами других английских сонетистов… с полной очевидностью показало, что множество мотивов, поэтических мыслей и сравнений Шекспир заимствовал у своих предшественников с той же легкостью, с какой он заимствовал и сюжеты своих драм. <…> Во всяком случае об автобиографичности уже не может быть тут речи. Всего характернее, конечно, что вся знаменитая «черная дама» с ее «черной» изменой и проклятиями поэта по ее адресу целиком взята из сонетов известного Филиппа Сидни, который в свою очередь взял ее у сонетистов французских и итальянских. Но может быть сильнее всяких ученых доводов против любовной теории происхождения сонетов Шекспира говорит простое эстетическое чувство. Как восторженно ни относиться к их художественным совершенствам, нельзя, однако, отрицать, что эти произведения очень рассудочно отточенные и условные. И вот думается: Шекспир, бессмертный певец любви и страсти во всех ее видах, так потрясающий зрителя и читателя изображением чужой любовной горячки, неужели же он собственное глубокое горе выразил бы в таких холодных, придворно-галантных формах?»

Тем временем жизнь шла своим чередом. Умерла королева Елизавета, и ее преемником стал сын Марии Стюарт Яков I. После его восшествия на престол труппа Шекспира удостоилась высшей чести и стала труппой короля. Дела драматурга резко пошли в гору, и в 1605-м он стал крупным землевладельцем.

Теперь все его творчество было связано с Лондоном, а вся частная жизнь – со Стратфордом. Он все чаще приезжал домой, писал пьесы вдали от столичной суеты, а в последние годы жизни почти полностью переселился в стратфордский дом, откуда посылал в театр по две пьесы ежегодно. После 1608 года

творчество Барда пошло на убыль, он писал по одной пьесе, и все они изобиловали авторскими ремарками, с помощью которых находящийся далеко от труппы Шекспир раскрывал актерам свои замыслы.

В возрасте 48 лет Шекспир полностью ушел из театра и покинул Лондон. О твердости его намерений свидетельствует полный расчет: продажа пая, ликвидация всех имущественных и финансовых дел, завершение литературной деятельности.

Старые биографы объясняли это достижением акме – успеха, славы, богатства, но, по-видимому, дело в другом – Шекспир устал. Главной причиной переезда из Лондона в Стратфорд стало подорванное здоровье – легочное и сердечное заболевание. За два года до смерти поэт составил собственное завещание, которое незадолго до смерти исправил. Завещание подписано твердой рукой, но поправки к нему, сделанные незадолго до смерти, подписаны дрожащей рукой тяжелобольного.

После 1610 года из-под пера Шекспира вышло немного пьес и ни одной после 1613-го. 29 июня 1613 года в день св. Петра в летнем помещении театра «слуг Его Величества» ставилась пьеса о царствовании Генри VIII. В этот день загорелась соломенная крыша, внезапный ветер раздул пламя и вскоре весь огромный «Глобус» был уничтожен огнем. Но не прошло и года, как на том же месте поднялось новое здание «Глобуса», покрытое черепицей, но есть нечто символическое в том, что театр сгорел во время постановки последней пьесы Шекспира. Этим как бы завершилась история творческой деятельности главного драматурга этого театра.

В течение последних лет жизни ушедший на покой драматург жил вместе со своей семьей в Стратфорде. Насколько известно, жена Шекспира никогда не отлучалась из города, но в сведениях о ней существует пробел – между крещением ее детей и завещанием поэта.

Шекспир умер 23 апреля 1616 года. Двумя днями позже в стратфордской приходской книге зафиксировано погребение «Уилла Шекспира джент.».

Если, что вполне вероятно, доктор Холл посещал своего тестя во время его последней болезни, он мог делать записи о развитии и лечении недуга, хотя, судя по его медицинскому дневнику, Холл больше интересовался случаями, оканчивавшимися выздоровлением, а не смертью. Единственное свидетельство об обстоятельствах смерти поэта извлечено из дневника Джона Уорда. Он был стратфордским приходским священником и лекарем, который наказал себе «внимательно прочесть

шекспировские пьесы и быть сведущим в них», чтобы не оказаться «невежественным в этом вопросе». Уорд упоминает в своих заметках, что «Шекспир, Дрейтон и Бен Джонсон при весьма веселой встрече, кажется, выпили лишку, ибо Шекспир умер от лихорадки, которой он тогда же заболел».

Зимой 1616 года Шекспир вызвал своего поверенного, чтобы оформить завещание, а в марте он внес в него исправления. Необходимость исправлений была связана с браком дочери Джудит.

Первую страницу завещания пришлось переписать целиком, а на второй и третьей страницах были сделаны многочисленные поправки и добавления. Завещание Шекспира вызвало еще больше дискуссий и споров, чем история с женитьбой. Джозеф Грин, обнаруживший копию этого завещания в 1747 году, был весьма удручен своим открытием. «Завещательные отказы, содержащиеся в документе, – сообщает Грин своему другу, – несомненно, соответствуют его [Шекспира] намерениям; но манера, в которой они изложены, представляется мне столь непонятной и не соответствующей правилам, столь лишенной малейшего проблеска того духа, который осенял нашего великого поэта, что пришлось бы умалить его достоинства как писателя, предположив, что хотя бы одно предложение в этом завещании принадлежит ему».

Завещание Шекспира не является его последней поэтической волей, это скорее «характерное завещание состоятельного человека времени правления Якова I». Из числа своих наследников Шекспир первой называет Джудит, тщательно оговаривая условия получения денежной части завещания. Далее следуют менее крупные завещательные отказы. Шекспир оставляет 20 фунтов и свою одежду сестре Джоан Харт, которой разрешалось оставаться вместе с семьей в западном крыле дома на Хенли-стрит за номинальную годовую плату в 12 пенсов. Трем ее сыновьям завещано по 5 фунтов. Внучка – Элизабет Холл – получает всю посуду за исключением чаши из позолоченного серебра, доставшейся Джудит. Шекспир не забыл своего семилетнего крестника Уильяма Уокера, оставив ему 20 шиллингов золотом. Из тех, с кем он познакомился в Лондоне в течение тех лет, когда был в труппе лорд-камергера, а затем в труппе короля, он выделил троих, упомянув о них с любовью: «А также моим сотоварищам Джону Хемингу, Ричарду Бербеджу и Генри Конделу – по 26 шиллингов 8 пенсов на покупку колец». Поэт вспомнил и бедняков Стратфорда, пожертвовав им 10 фунтов стерлингов – достаточно щедрый дар для человека его достатка.

Единственный человек, о котором Шекспир, казалось бы, позабыл – это его жена, Энн. Впрочем, возможно, он не видел необходимости оговаривать для нее какое-либо особое обеспечение – английское общее право обеспечивает вдове пожизненную долю в третьей части имущества ее мужа. Однако в Стратфорде подобного обычая не было, и тот пункт завещания, который касается Энн, выглядит курьезно: «Сим завещаю своей жене вторую по качеству кровать со всеми принадлежностями (то есть драпировками, пологом, постельным бельем etc.)».

Этот пункт вызвал множество споров. «Он вовсе не забыл о своей жене, – писал Мэлон в XVIII веке, – сначала он забыл о ней, потом он вспомнил о ней, но так вспомнил, что только сильнее подчеркнул, как мало она для него значила. Он, таким образом (грубо говоря), обделил ее, только оставив ей не шиллинг, а какую-то старую кровать». Однако ученые, придерживающиеся иного мнения, также давно возникшего, утверждают, будто Шекспиры приберегали свою лучшую кровать для заночевавших гостей Нью-Плейс, и что менее ценная кровать была якобы и супружеским ложем. И так далее, и тому подобное. Проблема, возникающая в связи с этим пунктом шекспировского завещания, состоит в том, что такое невнимание к жене было необычным.

Некоторое недоумение вызывало то, что в завещании не упомянуты никакие книги или литературные рукописи. Однако это не так уж странно, как может показаться. Шекспир не располагал рукописями своих пьес – они принадлежали «труппе слуг Его Величества». Кроме того, в 1729 году Джон Робертс, называвший себя «бродячим актером», сокрушался о том, что «два больших сундука, полные неразобранных бумаг и рукописей Шекспира, находившиеся в руках одного невежественного булочника из Уорика, были разбиты, а их содержимое небрежно разбросано и раскидано, как чердачный хлам и мусор, о чем подробно известно сэру Уильяму Бишопу, и все это погибло во время пожара и разрушения города».

Что касается книг, то они могли быть отдельно перечислены в посмертной описи, но таковой не сохранилось. Во всяком случае, они, должно быть, составляли часть имущества, унаследованного Холлами и, возможно, таким образом нашли свое место на полках доктора рядом с его медицинскими трактатами. Если это так, особый интерес вызывает «кабинет с книгами», о котором Холл упоминал в своем устном завещании 1635 года, в котором он предоставлял своему зятю «располагать книгами как угодно».

23 апреля 1616 года Уильям Шекспир умер. Он был погребен в алтаре церкви Св. Троицы у северной стены. На плите, из

простого дикого камня, покрывающей могилу поэта, – можно разобрать следующие слова:

Друг, ради Господа,
не рой останков, взятых сей землей;
нетронувший блажен в веках,
и проклят – тронувший мой прах.

Несколько свидетелей конца XVII века утверждают, что Шекспир сам придумал эту эпитафию и распорядился высечь ее на своей могильной плите.

Проклятие тому, кто потревожит прах, выраженное в общепринятой форме, было обращено не к случайному прохожему – он едва ли мог прийти в церковь с заступом в руках, а к церковному сторожу, которому из-за недостатка места для захоронений в церкви порой приходилось разрывать могилы и переносить кости в примыкавший к церкви склеп.

Написал ли это проклятие Шекспир или кто-то другой, оно с успехом выполнило свое назначение, поскольку ни один церковный сторож, причетник или маньяк не тронул костей, погребенных в этой могиле. Однако в середине XVIII века сама могильная плита (писал Холиуэл-Филиппс) ушла в землю, оказавшись ниже уровня пола и так обветшала, что приходские попечители храма заменили ее.

Было высказано предположение, что останки Шекспира захоронены в храме, а не на церковном кладбище не потому, что он был знаменитым лондонским поэтом-драматургом, а потому, что покупка части десятинных земель Стратфорда делала его как бы мирским священнослужителем. Как бы то ни было, еще до окончания XVII столетия люди нашли дорогу к церкви Св. Троицы, куда они приезжали «навестить прах великого Шекспира, который погребен в этой церкви». Они так же, как все бесчисленные паломники той поры, задерживались перед бюстом, установленным на высоте примерно полутора метров над могилой, в северной стене алтаря.

Вдова Шекспира дожила до того дня, когда смогла увидеть памятник покойному супругу, установленный в стратфордской церкви. Семейство сделало все, чтобы поддержать репутацию своего блудного сына: Шекспир изображен именно так, как им виделся добропорядочный горожанин.

Скульптурный портрет отражает представления шекспировского семейства о престижном надгробии и имеет мало отношения к самому покойному, а потому совершенно естественной выглядит смена атрибутов в надгробии при его

позднейшей реставрации: ведь переделки совершали уже после того, как в свет вышла первая книга с пьесами Шекспира, и его произведения стали расходиться большими тиражами. {38}

Быть может, посмертная слава и коммерческий успех примирили родню с мыслью, что быть известным писателем не менее престижно, чем простым бюргером, и они позволили заменить мешок с шерстью на лист бумаги и перо?

Пушкин Александр Сергеевич [17]

Нет ничего скучнее, чем описывать большое поэтическое наследие, если оно не поддается описанию.

В. Набоков. «Пушкин, или Правда и правдоподобие»

…Пушкина всегда любили. Он ведь чернявый, бойкий и стихи писал. И теперь Пушкина любят. Даже на спичках его портреты помещают.

Роман Лейбов

Что может быть проще, чем вкратце пересказать биографию Пушкина – «солнца русской поэзии», о которой исследователями написаны десятки, если не сотни томов? Она в общих чертах известна любому человеку, учившемуся в школе, и, по выражению В. Набокова, составляет такую же часть нашей интеллектуальной жизни, как таблица умножения. В. Набоков даже приводит образец типичной «романтической» биографии Пушкина: «…Одно другим сменяются видения[18]: вот он на набережной Невы, мечтатель, облокотившийся о гранитный парапет, искрящийся при луне и инее; в театре, с моноклем, в розоватом свете, под звуки скрипок расталкивающий с модной заносчивостью соседа, чтобы занять свое место; потом в деревенской усадьбе, сосланный

из столицы за несколько вольнолюбивых строк, в ночной рубашке, взъерошенный, марающий стихи на серой бумаге (в которую оборачивали свечи), жующий яблоко; я вижу его идущим по проселочной дороге, листающим книги в лавке, целующим стройную ножку возлюбленной, или в серебристый крымский полдень перед скромным маленьким фонтаном, струящимся во дворе старинного татарского дворца, с летающими ласточками под его сводами. <…> Вот он: рука заложена за полу редингота, рядом со своей женой, красивой женщиной выше его ростом, в черной бархатной шляпе с белым пером. И наконец, сидящий на снегу, с простреленным животом, он долго целится в Дантеса, так долго, что тот больше не может терпеть, и медленно прикрывается пистолетом».

Эти строки написаны в 1937 году, через сто лет после гибели поэта, но с тех пор мало что изменилось, разве что представления о жизни Пушкина стали еще более схематичными. Для множества людей Пушкин окончательно превратился в свой собственный бронзовый памятник, который когда-то был поэтом и гражданином, но никогда – живым человеком.

Р. Вейдеманн пишет, что жизнь Пушкина и его нынешнее периодическое чествование ассоциируются с биографией Иисуса, которая давно превратилась в миф. Это высказывание перекликается со словами Ф. М. Достоевского (1880): «…ко всемирному, всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю в рабском виде исходил, благословляя, Христос. <…> По крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и Бесчеловечность его гения».

Мысль о том, что Пушкин – это «колосс, который держит на своих плечах» (В. Набоков) всю русскую поэзию давно стала настолько привычной, что мы даже не задумываемся над ней. И все же вопрос о том, в чем именно состоит гений Пушкина, почему именно его называют величайшим русским поэтом для многих остается не проясненным. И впрямь – почему? Ведь и до Пушкина были поэты – Ломоносов, Державин, Жуковский, и в его время (Дельвиг, например, который в 1810-е годы считался более одаренным, чем Пушкин), и – уж конечно – после него. Почему же лавровый венец первого русского поэта безоговорочно принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину?

Наверное, потому, что «…самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю

затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. <…> Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное <…>, ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии…»[19]

И еще потому, что «характерологическая черта гения Пушкина – разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной общественной жизни, которые бы прошли мимо него не вызвав дивных и неподражаемых звуков его музы…»[20]

И еще потому, что «Пушкин вошел в русскую культуру не только как Поэт, но и как гениальный мастер жизни, человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах»[21] (Ю. Лотман).

И еще потому, что «Пушкин <…> расширил источники поэзии, обратил ее к национальным элементам жизни, показал бесчисленные новые формы, сдружил ее впервые с русской жизнью. Из русского языка Пушкин сделал чудо» (В. Белинский). А. С. Пушкин «завершил великий труд, начатый Ломоносовым и продолженный Карамзиным – создание русского литературного языка» (А. Кирпичников), и потому при упоминании его имени «…тотчас осеняет мысль о великом национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство» (Н. В. Гоголь).

Собственно, объяснять, почему Пушкин – великий русский поэт можно до бесконечности, пользуясь при этом исключительно цитатами, поскольку чуть ли не у каждого русского писателя, начиная с середины XIX века, найдутся хвалебные строки о поэте. И все же интереснее всего проследить, каким образом мальчик, детство которого прошло во франкоговорящей среде, стал народным поэтом, возродившим русский язык и прославившим русскую словесность.

«Самый русский из русских поэтов» (по выражению К. Бальмонта) по отцовской линии принадлежал к одному из древнейших российских родов, чем немало гордился (не упуская случая выказать презрение «новой знати»: «Я, братцы, мелкий мещанин»[22]). «Мы ведем свой род от прусского выходца Радши или Рачи (мужа честна, говорит летописец, т. е. знатного, благородного), въехавшего в Россию во время княжения св. Александра Ярославича Невского <…> – писал А. С. Пушкин в

„Начале автобиографии“ в 1830 году. – Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории. В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Иоанна Васильевича Грозного, историограф именует и Пушкиных. Григорий Гаврилович Пушкин принадлежал к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Другой Пушкин, во время междуцарствия начальствуя отдельным войском, один с Измайловым, по словам Карамзина, сделал честно свое дело. Четверо Пушкиных подписались под грамотою об избрании на царство Романовых, а один из них, окольничий Матвей Степанович – под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру). При Петре Первом сын его, стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре против государя и казнен. <…> Прадед мой Александр Петрович был женат на меньшой дочери графа Головина, первого андреевского кавалера. Он умер весьма молод, в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах.

<…> Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его <…> умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его довольно от него натерпелась. <…> Отец мой никогда не говорил о странностях деда, а старые слуги давно перемерли».

По материнской линии родословная поэта еще интереснее: «Дед ее [матери поэта. – *Прим. ред.*] был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля[23], где содержался он аманатом[24], и отослал его Петру Первому вместе с другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима <…>, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая ему выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. <…>

После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния на Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену. Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми он был связан. Судьба Долгоруких известна. Миних {39} спас Ганнибала, отправя его тайно в ревельскую[25] деревню, где и жил он около десяти лет в

поминутном беспокойстве. <…> Когда императрица Елисавета взошла на престол, тогда <…> тотчас призвала его ко двору, произвела его в бригадиры, и вскоре потом снова в генерал-майоры и генерал-аншефы, пожаловала ему несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской. <…> При Петре III вышел в отставку и умер философом в 1781 году, на 93 году своей жизни. Он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами».

Сыновья Абрама Ганнибала унаследовали его вспыльчивость. Один из них, дед поэта, Осип Абрамович[26] «…женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой. Бабушка вынуждена была подать прошение на имя императрицы. <…> Новый брак был объявлен незаконным, бабушке моей возвращена ее трехлетняя дочь, а дедушка послан на службу в Черноморский флот. Тридцать лет они жили розно. Дед мой умер в 1807 г., в своей псковской деревне от следствий невоздержанной жизни».

К моменту рождения Александра шестисотлетний род Пушкиных обеднел. Бесхозяйственные и недомовитые родители поэта всю жизнь находились на грани разорения, в дальнейшем неизменно урезали материальную помощь сыну, а в последние годы его жизни обременяли и своими долгами.

Характер отца поэта, Сергея Львовича (1771–1848), не имел ничего общего с нравом его деда. Получив блестящее образование, он на всю жизнь сохранил страсть к легким умственным занятиям, будучи при этом неспособным ни к какому делу. Еще в детстве С. Л. Пушкин был записан в Измайловский полк, потом переведен в гвардейский егерский полк, и очень тяготился несложными обязанностями поручика. Женившись в 1796 году, он сразу подал в отставку. Семья Пушкиных жила сначала в Петербурге, а с 1799 года в Москве и в Захарове – подмосковном имении бабушки поэта, Марьи Алексеевны Ганнибал (в девичестве Пушкиной; отец и мать поэта были троюродными братом и сестрой).

Сергей Львович терпеть не мог деревню, но любил светские развлечения, и, будучи вспыльчивым и раздражительным с близкими, при гостях делался оживленным, веселым и внимательным. Приятели любили его, а взрослеющим детям он казался жалким, особенно когда требовал постоянной опеки. Расточительный и небрежный в денежных делах, он был мелочен, а барская безалаберность сочеталась у него с болезненной скупостью: «Сын его Лев за обедом у него разбил рюмку. Отец

вспылил и целый обед проворчал. «Можно ли, – сказал Лев, – так долго сетовать о рюмке, которая стоит 20 копеек?» – «Извините, сударь – с чувством возразил отец, – не двадцать, а тридцать пять копеек!» (П. А. Вяземский).

Надежда Осиповна Ганнибал (1775–1836) была на 4 года моложе мужа. Мать изрядно избаловала ее, что «сообщило нраву молодой красивой креолки тот оттенок вспыльчивости, упорства и капризного властолюбия, который замечали в ней позднее и принимали за твердость характера» (П. Анненков). Действительно, Надежда Осиповна могла быть чрезмерно суровой и обладала способностью месяцами «дуться» на тех, кто возбудил ее неудовольствие (с сыном Александром она как-то не разговаривала почти год). Хозяйством она занималась так же мало, как и муж, и подобно ему страстно любила свет и развлечения.

По позднейшему свидетельству М. Корфа {40}, «семейство Пушкиных представляло что-то эксцентрическое. Отец, доживший до глубокой старости, всегда был <…> довольно приятным болтуном, немножко на манер старинной французской школы, с анекдотами и каламбурами, но в существе – человеком самым пустым, бесполезным, праздным и притом в безмолвном рабстве у своей жены. Последняя, урожденная Ганнибал, женщина не глупая и не дурная, имела, однако же, множество странностей, между которыми вспыльчивость, вечная рассеянность и, особенно, дурное хозяйничанье стояли на первом плане. <…> Все это перешло и на детей».

Петербургский дом Пушкиных (квартира из семи комнат на набережной Фонтанки, 185) по словам того же М. Корфа: «был всегда наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой – пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, с баснословною неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана».

Приблизительно такова же была жизнь Пушкиных и в Москве, куда они переехали после рождения старшей дочери Ольги[27], но там это не так бросалось в глаза: многие состоятельные дворянские семьи жили подобным образом. Пушкины отличались от других только большей литературностью – в их доме даже камердинер сочинял стихи; тон задавал Сергей Львович, который был в дружбе со многими литераторами (в том числе благодаря славе своего старшего брата, Василия Львовича Пушкина – известного и модного поэта). Вместе с Пушкиными в Москву приехала кормилица Ольги Сергеевны – воспетая своим воспитанником Арина Родионовна Яковлева, бывшая «настоящею

представительницею русских нянь» (О. С. Пушкина).

Александр Сергеевич Пушкин появился на свет 26 мая (6 июня) 1799 года, в четверг, в день Вознесения Господня, в Москве, на Немецкой улице.

В раннем детстве Александр не только не представлял собой ничего выдающегося, но своей неповоротливостью и молчаливостью приводил в отчаяние родителей, особенно мать, которая любила его меньше остальных детей. Мальчик же, когда принимались слишком энергично исправлять его характер и манеры, убегал к бабушке Марье Алексеевне (которая после замужества дочери поселилась с Пушкиными) и прятался у нее.

Из общения с бабушкой Пушкин почерпнул первые познания в русском языке, считавшемся тогда языком черни (в дворянской среде общались только по-французски; на этом же языке говорили с детьми родители и гувернеры); от нее же он узнал и свою родословную. Вторым человеком, проявлявшим искреннюю заботу о мальчике, была Арина Родионовна, знавшая бесчисленное множество песен и сказок.

В целом, воспитание детей, которому родители не придавали большого значения, было беспорядочным. Из домашнего обучения Пушкин вынес лишь прекрасное знание французского языка, а в богатой отцовской библиотеке пристрастился к чтению (тоже на французском языке). Начав с Плутарха и Гомера, он проштудировал всю домашнюю библиотеку, состоявшую из классиков XVII века, поэтов и мыслителей эпохи Просвещения. Литературные нравы дома и особая любовь, которую Сергей Львович питал к Мольеру – он читал его детям вслух для поучения – возбудили в мальчике интерес к творчеству, и он начал сочинять (разумеется, на французском). Первыми пробами пера стали комедия «L'Escamoteur» (подражание Мольеру) и шуточная поэма «La Tolyade» (война между карликами и карлицами), начатая как пародия на «высокий штиль» героических драм. Существует также недостоверное указание на целую тетрадь стихотворений, среди которых были и русские.

Раннее развитие еще больше отдалило Александра от родителей, из всех домашних он был привязан только к сестре Ольге и младшему брату Левушке. Когда Александру исполнилось 11 лет, его решили отдать в Иезуитскую коллегию в Петербурге, где воспитывались дети лучших дворянских фамилий, но 11 января 1811 года было объявлено о предстоящем открытии Царскосельского лицея и, благодаря хлопотам А. И. Тургенева и С. Л. Пушкина, Александр попал в список абитуриентов. Пушкина привезли в Царское Село, и он прожил здесь июнь и июль еще до поступления в Лицей. Готовясь к

экзаменам, мальчик остановился у дяди, Василия Львовича, где впервые встретился с представителями петербургского света и литераторами (в том числе с Карамзиным). 12 августа 1811 года Пушкин выдержал вступительный экзамен, и 19 октября присутствовал на торжественном открытии Лицея.

В словах о том, что Лицей стал для Пушкина настоящим домом, нет ни малейшего преувеличения. Ю. Лотман пишет: «Наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то, как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем. Пушкин легко покинул стены родного дома и ни разу в стихах не упомянул ни матери, ни отца. <…> Тем более бросается в глаза, что, когда в дальнейшем Пушкин хотел оглянуться на начало своей жизни, он неизменно вспоминал только Лицей. <…> Представление о Лицее как о родном доме оформилось в сознании поэта в середине 1820-х годов, когда реальные лицейские воспоминания уже слились в картину сравнительно далекого прошлого, а гонения, ссылки, клевета, преследовавшие поэта, заставили его искать опору в идиллических воспоминаниях». Но сложившийся, благодаря стихам Пушкина, идеализированный образ Лицея во многом отличается от реальности.

Царскосельский лицей, который повторил судьбу многих реформ «дней александровых прекрасного начала»[28], помещался в летней императорской резиденции, во флигеле Екатерининского дворца. По первоначальному плану в Лицее вместе с отпрысками первейших российских семейств, которых готовили к высокой государственной карьере, должны были воспитываться младшие братья Александра I – великие князья Николай и Михаил (если бы этот план осуществился, Пушкин и Николай I оказались бы школьными товарищами). Но эти прекраснодушные замыслы вызвали противодействие императрицы, и от них отказались. Более того, первый директор Лицея пытался оградить учебное заведение от влияния двора: воспитанников выпускали за его пределы крайне неохотно, лишь в особых случаях, посещения родственников ограничивались.

Лицейский уклад отличался противоречивостью. Размещению и распорядку нового учебного заведения уделялось много внимания, форму лицеистов утверждал император. В то же время, «план преподавания был не продуман, состав профессоров – случаен, большинство из них не отвечало по своей подготовке и педагогическому опыту даже требованиям хорошей гимназии. А Лицей давал выпускникам права окончивших высшее учебное заведение» (Ю. Лотман).

Лицейский курс был рассчитан на шесть лет. Первые три года

посвящались изучению языков (русского, латыни, французского, немецкого), математики в объеме гимназии, словесности и риторики, истории, географии, танцам, фехтованию, верховой езде и плаванию. На старших курсах занятия велись по разделам нравственных, физических, математических, исторических наук, словесности и по языкам, но строгой программы не было.

Ю. Лотман пишет: «Обширный план при неопределенности программ и требований, неопытности педагогов приводил к поверхностным знаниям учащихся. Пушкин имел основания жаловаться в письме брату в ноябре 1824 года на «недостатки проклятого своего воспитания». Однако в лицейских занятиях была и бесспорная положительная сторона: это был тот «лицейский дух», который на всю жизнь запомнился лицеистам первого – «пушкинского» – выпуска и который очень скоро сделался темой многочисленных доносов».

В Лицее, где телесные наказания находились под запретом, а у каждого воспитанника была своя комната, культивировался дух чести, товарищества, независимости и уважения к собственному достоинству. Кроме того, некоторые профессора придерживались либеральных идей, и лицеисты усваивали отвращение к холопству и чинопочитанию, независимость суждений и поступков.

Впрочем, несмотря на культ дружбы, лицеисты распадались на группы, иногда враждующие. Пушкин примыкал сразу к нескольким, но не был безоговорочно принят ни в одну из них. Наиболее тесными и продолжительными были дружеские связи Пушкина с Дельвигом, Пущиным, Малиновским и Кюхельбекером. Но и здесь не все было просто: в свое время Пущин, Дельвиг и Кюхельбекер вошли в «Священную артель» А. Муравьева и И. Бурцева. Пушкин не получил приглашения стать членом тайного общества, более того – друзья скрыли от него свою принадлежность к «Священной артели».

Вообще, у Пушкина, получившего прозвище Француз за прекрасное знание французского языка, дружба с лицеистами, завязывалась трудно. Те, с кем он близко сошелся, искренне любили его; большинство же, замечавшее только болезненное самолюбие, вспыльчивость и насмешливость поэта, считало его тщеславным эгоистом. Ближайший друг поэта И. Пущин вспоминал: «Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то, чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями; как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил

себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам. <…> Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Главное, ему недоставало того, что называется тактом».

Нелюбимый ребенок в родной семье, Пушкин, видимо, был глубоко неуверен в себе. Это вызывало браваду, молодечество, стремление первенствовать. Тот же Пущин вспоминал: «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил» и тут же: «все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что он мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие – бывали столкновения очень неловкие. <…> Случалось, точно, удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли».

В Лицее, прекрасная библиотека которого выписывала всю периодическую печать, ощущалась сильная тяга к литературным занятиям, выходили рукописные журналы. Первым стихотворцем Лицея, по крайней мере, вначале, считался Илличевский. Можно предположить, что Пушкин ревниво боролся за признание своего поэтического лидерства в школьном кругу. Однако однокурсники его превосходство не признавали, и единомыслия между молодым Пушкиным и «литературным мнением» Лицея не было. В лицейский период в жизни Александра произошло важнейшее событие, поскольку именно тогда он почувствовал себя поэтом:

В те дни – во мгле дубровных сводов
Близ вод, текущих в тишине,
В углах Лицейских переходов,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась – Муза в ней
Открыла пир своих затей;
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт…[29]

Пушкин написал в Лицее 130 стихотворений. «И кто знает, – пишет И. Анненский в статье, приуроченной к столетнему

юбилею поэта. – Если бы еще в Лицее Пушкин не прошел практического курса поэзии и не пережил периода подражаний (Державину, Жуковскому, Батюшкову и ранним французским парнасцам), если бы вместо досуга для творческих снов и вдохновения и для отделки стихов он выучил вчетверо больше уроков и прослушал гораздо больше ученых лекций, если бы, наконец, у него не было литературных общений, подстрекающего соперничества метроманов-друзей, – удалось ли бы ему войти в жизнь уже сложившимся писателем, успел ли бы он в короткий срок, отмежеванный ему судьбою, создать все то великое и вечное, что он нам оставил?»

В 1814 году Пушкин впервые выступил в печати со стихотворением «Другу-стихотворцу» («Вестник Европы», № 13), подписанным: Александр Н. К. ш. п. Тот факт, что стихи 15-летнего поэта попали в печать, никак не повлиял на его статус в лицейском кругу: редакторы того времени любили поощрять юные таланты, и первое стихотворение Дельвига было напечатано еще раньше.

Первые поэтические опыты Пушкина были подражанием любовной и вакхической лирике и отчасти сатире продолжателей Горация (хотя в русской литературе 1812–1814 годов наблюдался подъем патриотических настроений). Из французских поэтов Александр Пушкин подражал Парни, из русских – Батюшкову, Жуковскому, а также своему дяде, Василию Пушкину. Но даже в этих «полудетских песнях на чужой голос местами слышится будущий Пушкин, то в искренности чувства, то в оригинальности мыслей и ощущений, то в силе и смелости отдельных картин и стихов. В пробах пера нельзя не заметить и уменья усваивать от каждого образца лучшее и быстро отделываться от его недостатков» (А. Кирпичников). Исследователи отмечают, к примеру, что псевдоклассический арсенал собственных имен, очень богатый в наиболее ранних стихотворениях Пушкина:

> …Смехи, вольность – все под лавку,
> Из Катонов я в отставку,
> И теперь я – Селадон!
> Миловидной жрицы Тальи
> Видел прелести Натальи,
> И уж в сердце – Купидон.[30] —

скоро уступает место умеренному употреблению утвердившихся формул; славянские выражения, вроде *девственна лилея, полуотверсты очи, пренесенный, взмущенны волны, стены возвышенны,* быстро исчезают из стихов и используются крайне

редко.

И вот что поразительно – одно из произведений 15-летнего лицеиста, который еще три года назад думал по-французски, стало чуть ли не народной песней и даже печаталось на лубочных листах. Сам Пушкин, правда, открещивался от авторства, по-видимому, стесняясь своего опуса: стихотворение было вполне душещипательным и, говорят, что именно оно положило начало жанру жестокого романса:

Под вечер осенью ненастной
В далеких дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
…
Склонилась, тихо положила
Младенца на порог чужой,
Со страхом очи отвратила
И скрылась в темноте ночной.[31]

8 января 1815 года наступил знаменитый теперь день экзамена, на который приехал Державин.[32] Пушкину велели прочесть его собственное стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», написанное в державинском и даже отчасти ломоносовском стиле. Позднее исследователи писали: «Встреча Пушкина и Державина не имела в реальности того условно-символического характера, который невольно ей приписываем мы, глядя назад и зная, что в лицейской зале в этот день встретились величайший русский поэт XVIII века, которому осталось лишь полтора года жизни, и самый великий из русских поэтов вообще. Державин несколько раз до этого уже „передавал“ свою лиру молодым поэтам». Для самого же Пушкина встреча с Державиным была одним из важнейших событий жизни: «Наконец вызвали меня. Я прочел мои „Воспоминания в Ц. С“, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом… Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять меня… Меня искали, но не нашли…»

Стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» было напечатано в «Российском Музеуме», который поместил еще несколько произведений поэта, и с этого времени Пушкин приобрел известность за стенами лицея. Лицейские профессора стали смотреть на него как на знаменитость, а потому многое

прощать – Пущин вспоминал высказывание учителя математики, когда Пушкин так и не справился с заданным ему примером: «У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи». Александр наконец-то получил венец первого лицейского поэта, который он так долго оспаривал то у Илличевского, то у Дельвига. В поэтическом языке Пушкина начинают встречаться смелые для того времени простонародные выражения (частехонько, невзвидел и пр.), до тех пор используемые только Крыловым.

В 1816 году известность Пушкина стала настолько велика, что придворный поэт Нелединский-Мелецкий, которому было поручено написать стихи на обручение великой княжны Анны Павловны с принцем Оранским, обратился к нему за помощью. Модные светские поэты князь П. Вяземский, А. Шишков слали ему свои стихи и комплименты, и он отвечал им на равных. Дмитриев и Карамзин высоко отзывались о его даровании (последний летом того года жил в Царском Селе, и Пушкин был у него в доме своим человеком). К нему в лицей заезжали Жуковский и Батюшков, ободряли его и давали советы (особенно сильно и благотворно было влияние Жуковского, который занял особое место среди дружеских привязанностей Пушкина). Благодаря лицейской свободе, Пушкин и его товарищи проводили время в обществе офицеров лейб-гусарского полка, стоявшего в Царском Селе, и именно там молодой поэт сдружился с одним из самых просвещенных людей эпохи – с П. Я. Чаадаевым.

Дружеские отношения с лейб-гусарами и свежая память о сражениях 1812–1815 годов заставили Пушкина перед окончанием Лицея мечтать о мундире; но отец, ссылаясь на недостаток средств, отказал, да и дядя убеждал предпочесть гражданскую службу. Пушкин без особой борьбы отказался от этой мечты и вскоре стал в своих стихах подсмеиваться над необходимостью «красиво мерзнуть на параде».

9 июня 1817 года в Лицей явился государь, сказал молодым людям речь и наградил их всех жалованьем. Через 4 дня Пушкин высочайшим указом был определен в коллегию иностранных дел и приведен к присяге вместе с Кюхельбекером и Грибоедовым. Впрочем, Пушкина гораздо более прельщала надежда «погребать покойную академию и Беседу губителей российского слова {41} (письмо кн. Вяземскому от 27.03.1816 г.).

В начале июля Александр уехал в Псковскую губернию, в село Михайловское, где его родные проводили лето. Позднее Пушкин вспоминал, как он «обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и пр.; но – продолжает он – все это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу». За две недели

до конца отпуска Пушкин был в Петербурге и писал кн. Вяземскому, что «скучал в псковском уединении».

В Петербурге Пушкин жил до 6 мая 1820 года, когда был выслан на Юг. Жизнь, которую вел Пушкин в Петербурге, была очень пестрой, даже пустой, хотя и насыщенной разнообразными впечатлениями.

Он скорее числился на службе, чем служил; жил с родителями на Фонтанке, в небольшой комнате, убранство которой соединяло «признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого». Дома он много читал и работал над поэмой «Руслан и Людмила», задуманной еще в Лицее, а вне дома проводил вечера и целые ночи с самыми неистовыми представителями «золотой молодежи», посещал балет, участвовал в шутовском обществе «Зеленой лампы» {42}, изобретал замысловатые шалости и всегда готов был рисковать жизнью из-за ничтожных причин.

Окончание войн с Наполеоном разбудило в обществе патриотическое самосознание; молодые люди полны были жажды общественной деятельности и веры в ее возможность в России. Стремление к содружеству, сообществу, братскому единению характеризует поведение Пушкина в эти годы. Энергия, с которой он связывает себя с различными кружками, способна вызвать удивление – ведь принадлежность к одному обществу, как правило, исключала возможность участия в другом. Пушкин же, стремясь к разносторонности, входя в тот или иной круг, с легкостью усваивал господствующий стиль и «условия игры» кружка. Стремление поэта искать общения с совершенно разными людьми не всегда встречало одобрение в кругу его друзей.

Осенью 1817 года Пушкин стал действительным членом «Арзамаса» {43}, с которым долгое время состоял в переписке, не видя никакого противоречия между преклонением перед Державиным и ироническим отношением «арзамасцев» к державинскому «штилю». Однако к приходу Пушкина литературное направление «Арзамаса» стало уже анахронизмом, а в общество вступили Н. Тургенев, М. Орлов, Н. Муравьев, которые были активными членами конспиративных политических групп и смотрели на литературу как на средство политической пропаганды. Активизировались и политические интересы П. Вяземского и Д. Давыдова, но «Арзамас» не был готов к политической деятельности и распался. И все же именно здесь Пушкин сблизился с активистами тайного «Союза Благоденствия» Н. Тургеневым, М. Орловым, Н. Муравьевым, дружба с которыми оттеснила старые литературные привязанности. Карамзин, Жуковский, Батюшков померкли перед проповедниками свободы

и гражданских добродетелей.

Н. Тургенев смотрел на поэзию свысока, делая исключение лишь для агитационно-полезной политической лирики. Эти воззрения он старался внушить и Пушкину. Влияние Н. И. Тургенева отчетливо сказалось в стихотворении «Деревня» и оде «Вольность», которая выражала политические концепции «Союза Благоденствия». Резкие выходки Пушкина, насмешничество, эпиграммы, легкомысленное отношение к службе раздражали Н. Тургенева и заставляли его «ругать и усовещать» поэта. Н. Тургенев ежедневно бранил Пушкина за «леность и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному, волокитству, и вольнодумство, – также площадное, XVIII столетия».

Пушкин уставал от нравоучений, и порой назло аффектировал мальчишество своего поведения, на любой пустяк готов был ответить вызовом на дуэль. По ничтожным поводам он вызвал: Н. Тургенева (правда, тут же с извинением взял вызов обратно), своего дядю С. И. Ганнибала, М. Корфа и многих других. Он стрелялся даже с Кюхельбекером (оба выстрелили в воздух, и дело кончилось примирением).

Осенью 1817 года Пушкин познакомился с Ф. Глинкой – известным литератором и активным деятелем тайных декабристских организаций на раннем этапе их существования. Совмещая роль одного из руководителей «Союза Благоденствия» и адъютанта Петербургского военного генерал-губернатора Милорадовича, Глинка оказал важные услуги тайным обществам, а также очень способствовал смягчению участи Пушкина в 1820 году. В 1819-м Глинка был избран председателем Вольного общества любителей российской словесности в Петербурге.

С Н. Муравьевым Пушкин познакомился еще в Лицее, и через него был привлечен к участию в заседаниях «Союза Благоденствия», не имевших конспиративного характера. Их целью было распространение влияния «Союза» – ничего более серьезного Пушкину не доверяли, поскольку бытовало мнение, что «он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании тайного общества». Много лет спустя, работая над десятой главой «Евгения Онегина», Пушкин описал такое заседание:

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
Друг Марса, Вакха и Венеры,

Им резко Лунин предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал сво<и> Ноэли Пу<шкин>,
Мела<нхолический> Якушкин {44}),
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

В 1818 году Пушкин явился к П. Катенину {45}, взгляды которого расходились с принципами «Арзамаса», со словами «побей, но выучи». Катенин, как признавал Пушкин впоследствии, очень благотворно повлиял на него, отучив «от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли».

В этот период Пушкин еще больше сблизился с П. Я. Чаадаевым, с которым познакомился когда еще был лицеистом. Чаадаев был охвачен жаждой славы; мысль об избранничестве не покидала его всю жизнь. Беседы с ним научили Пушкина видеть и свою жизнь «облагороженной высокою целью». Только этим, по мнению Ю. Лотмана, можно объяснить появление стихов:

И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Почему на обломках русского самодержавия должны написать имена Чаадаева, «двадцатилетнего с небольшим молодого человека, который ничего не написал; ни на каком поприще ничем себя не отличил», как ядовито писал о нем один из мемуаристов, и Пушкина, ничем еще о себе не заявившего в политической жизни? Нескромность этих стихов сегодня скрадывается тем, что Пушкина воспринимается в лучах его последующей славы, но в те годы они выглядели более чем странно.

В 1818–1819 годах Пушкин работал над «Русланом и Людмилой», читая отрывки из поэмы на субботах у Жуковского. Работу над произведением он завершил весной 1820 года. Происхождение поэмы чрезвычайно сложно: в ней прослеживаются мотивы сказок о Еруслане Лазаревиче и Кирше Данилове, «Слова о полку Игореве». В качестве источников сам Пушкин указывает «Двенадцать спящих дев» Жуковского, волшебные сказки Антуана Гамильтона, рыцарские романы, «Душеньку» Богдановича, поэмы Ариосто, поэму «Pucelle» Вольтера, откуда были взяты иронический тон, отступления, длинные лирические введения и манера переносить читателя с

места на место, оставляя героя или героиню в критическом положении. Еще важнее непосредственные заимствования из «Богатырских повестей» Н. А. Радищева и «Русских сказок» М. Чулкова.

Историко-литературное значение первой поэмы Пушкина состоит в идее придать художественную форму «преданьям старины глубокой» и в прелести самой формы. Сам Пушкин считал впоследствии свою первую поэму холодной – и в ней, как пишет А. Кирпичников, действительно, мало чувства по сравнению с «Кавказским пленником», «Бахчисарайским фонтаном» и пр. «Однако она несравненно выше всего, что было написано до ее в подобном роде, – продолжает А. Кирпичников. – Национальный элемент в ней крайне слаб, и весь состоит из имен, полушутливых восхвалений русской силы, да из полудюжины простонародных образов и выражений; но в 1820 году {46} и это было неслыханной новостью. Добродушный, но умный юмор поэмы, смелое соединение фантастики с реализмом <…> показали, что с этого момента русская поэзия освобождается от формализма, шаблонности и напускного пафоса и становится искренним выражением души человеческой. Оттого эта легонькая сказка и произвела такое сильное впечатление; оттого Пушкин для своих современников оставался прежде всего певцом Руслана».

Пушкин жег «свечу жизни» с обоих концов, и «если Любовь была как бы знаком этого горения, то Шалость и Лень становились условными обозначениями неподчинения дисциплине государственного бюрократизма, – пишет Ю. Лотман. – Чинному порядку делового Петербурга они противостояли как протест против условных норм приличия и как отказ принимать всерьез весь мир государственных ценностей. Поэтическая шалость и бытовое «бунтарство» стали чертой его жизненного поведения». Разумеется, в Петербурге 1819–1820 годов нашлось немало людей, доносивших правительству о стихах и выходках Пушкина. Особенно усердствовал В. Н. Каразин – беспокойный и завистливый человек, одержимый честолюбием (славу ему, впрочем, принесло доброе дело – открытие Харьковского университета). Его доносы, доведенные до сведения Александра I, были тем более ядовиты, что Пушкин представал в них оскорбителем царя, а мнительный и злопамятный Александр мог простить самые смелые мысли, но никогда не прощал личных обид.

В результате граф Милорадович с разрешения императора призвал Пушкина к себе и велел произвести обыск на его квартире. По столице поползли слухи о том, что Милорадович

якобы высек поэта. Пушкин был совершенно потрясен и считал себя бесповоротно опозоренным. Не зная, на что решиться – покончить ли с собой или убить императора как косвенного виновника сплетни, – он бросился к Чаадаеву, который успокоил Пушкина: человек, которому предстоит великое поприще, должен презирать клевету и быть выше своих гонителей.

Обыск не дал ничего. Тем не менее, государю об этом доложили таким образом, что поэт должен был бы подвергнуться суровой каре; уверяют, будто ему грозила Сибирь или Соловки. К счастью, у Пушкина нашлось много заступников: Энгельгардт (по его словам) упрашивал государя пощадить поэта; Чаадаев проник к Карамзину, и тот начал хлопотать за Пушкина перед императрицей и графом Каподистрия[33]; немало сил приложил и Жуковский, о Пушкине ходатайствовали Ф. Глинка, А. Н. Оленин – президент Академии художеств, князь Васильчиков. В конце концов ссылка была заменена переводом в распоряжение генерал-лейтенанта Инзова, попечителя колонистов Южного края.

6 мая 1820 года Пушкин выехал из Петербурга. Он отправился по Белорусскому тракту в Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Маршрут поэта пролегал через Лугу, Великие Луки, Витебск, Могилев, Чернигов и Киев. До Царского Села его проводили друзья – Дельвиг и Яковлев, а дальше он ехал один, в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козлова. Начался период скитаний, который продлился до 9 августа 1824 года, когда поэт ступил на порог родительского дома в Михайловском.

Многие приятели Пушкина, а позднее его биографы считали этот перевод на Юг великим благодеянием судьбы. Вот что писал Карамзин князю П. А. Вяземскому: «Пушкин был несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на 5. <…> Если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад».

17 мая 1820 года Пушкин прибыл в Екатеринослав, на место своей новой службы – в резиденцию начальника иностранных колонистов на Юге России генерала Инзова. Формально Пушкин не был сослан, отъезду был придан характер служебного перевода, но либеральный министр граф Каподистрия по требованию императора изложил Инзову в письме все «вины» молодого поэта. Мера эта не возымела желаемого действия: Инзов втайне сочувствовал настроениям молодежи и сразу же взял Пушкина под свою опеку.

Первые месяцы изгнания Пушкин провел в неожиданно приятной обстановке; вот что пишет он своему младшему брату Льву: «приехав в Екатеринослав, я соскучился, поехал кататься по

Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою обледенелого лимонада. Сын его (младший, Николай)… предложил мне путешествие к кавказским водам; лекарь, который с ними ехал, обещал меня в дороге не уморить. Инзов благословил меня на счастливый путь, я лег в коляску больной; через неделю вылечился. Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень полезны и чрезвычайно помогли… С полуострова Тамани, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь… Из Керчи приехали мы в Кефу [Феодосию]… Отсюда морем отправились мы, мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф [Гурзуф], где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию [«Погасло дневное светило» – исследователи считают, что эта элегия ознаменовала начало нового периода в поэзии Пушкина. – *Прим. авт.*], которую тебе присылаю: отошли ее Гречу без подписи. <…> Корабль остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска; я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою, снисходительного попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценит его высокие качества. Старший сын его [Александр, имевший сильное влияние на поэта. – *Прим. авт.*] будет более, нежели известен. Все его дочери – прелесть; старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив; свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю, и которой я никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край…»

В Гурзуфе Пушкин пробыл до начала сентября, писал не дошедшее до нас сочинение «Замечания о донских и черноморских казаках» и начал работу над «Кавказским пленником». Здесь он открыл для себя двух новых поэтов – Шенье и Байрона, начал систематически изучать английский язык. В начале сентября Пушкин в обществе Раевских покинул Гурзуф. Они проехали через Алупку, Симеиз, Севастополь и Бахчисарай, затем направились в Симферополь.

Пребывание в Крыму, несмотря на краткость (всего несколько недель), сыграло огромную роль в жизни и поэзии Пушкина. Образ Крыма вошел в пушкинское представление о счастье.

Петербург с его обидами и страстями оказался на время просто вычеркнутым – не случайно за все это время Пушкин не написал ни одного письма, в отличие от дошедших в большом числе писем из Кишинева и Одессы. Малый мир сузился до семьи Раевских, большой – расширился до панорамы Кавказа и Крыма.

В середине сентября Пушкин оставил Крым и направился в Кишинев, куда в это время перенес свою резиденцию Инзов. По дороге он навестил Каменку – имение матери Раевского в Киевской губернии и центр Южного общества. В Кишиневе Пушкин поселился в стоящем на отшибе доме генерала, в комнате на первом этаже, и остался в ней даже после землетрясения, когда здание было полуразрушено, и сам Инзов его покинул.

Пушкину попросту нравилось жить в развалинах. Это место с пустырем и виноградниками, окружавшими дом, гармонировало с романтическим представлением о себе как о «беглеце», живущем в «пустыне», как он называл шумный, перенаселенный Кишинев. Вообще, в сознании поэта ссылка неожиданно представилась как добровольное бегство из неволи, «каменного мешка» Санкт-Петербурга на волю. Пушкин предстал в образе добровольного изгнанника, и ссыльный в жизни, в стихах он:

> Искатель новых впечатлений,
> Я вас бежал, отечески края…

Пушкин пробыл в Кишиневе с 21 сентября 1820 года по 2 июля 1823-го. Поэт пользовался почти полной свободой, посещал самое разнообразное общество, охотно и много танцевал, ухаживал за дамами, участвовал в пирушках, играл в карты. Из-за карт и женщин у него было несколько «историй» и дуэлей; «в последних он держал себя с замечательным самообладанием, но в первых слишком резко и иногда буйно выказывал свое неуважение к кишиневскому обществу» (А. Кирпичников).

Несмотря на вольную жизнь, Пушкину не сиделось в Кишиневе, и генерал Инзов охотно отпускал его в отлучки. В конце 1822 года во избежание неприятных последствий очередной карточной истории Инзов услал поэта в командировку в Измаил. В степи Пушкин встретился с цыганским табором и бродил с ним некоторое время, позабыв о цели своей поездки (это «путешествие» нашло отражение в поэме «Цыганы»). Пушкин часто бывал также в имении Каменка вблизи Киева, в Тульчине, проезжал через Васильков[34].

Сторонний наблюдатель мог бы сказать, что Пушкин вел праздное существование, не обремененное умственными

усилиями, но на деле его внутренняя, духовная жизнь была невероятно интенсивной. Занятия поэта были настолько напряженнее и плодотворнее петербургских, что ему казалось, будто он впервые познал «и тихий труд и жажду размышлений» («Чаадаеву»). Он много читал, «чтоб в просвещении стать с веком наравне» и много работал: в первые полтора года кишиневской ссылки Пушкин написал более 40 стихотворений, поэму «Кавказский пленник» (окончена 20 февраля 1822 года в Каменке), подготовил «Бахчисарайский фонтан». В 1821 году Пушкин набросал поэму из русской жизни «Братья-разбойники», однако остался недоволен и сжег, напечатав, впрочем, отрывок, основанный на реальном происшествии, случившемся в Екатеринославе, – бегстве двух закованных арестантов вплавь (другими материалами поэмы он воспользовался позднее, создавая балладу «Жених»).

Пушкин работал над пьесой, обличающей крепостное право (барин проигрывает в карты своего старого дядьку-воспитателя), над трагедией, героем которой должен был быть защитник новгородской свободы Вадим, обдумывал поэму на тот же сюжет; собирал материал для поэмы «Владимир», построенной на былинах, «Слове о полку Игореве» и даже опусах М. Хераскова {47}. Под впечатлением аракчеевского режима Пушкин написал ряд стихотворений (в том числе поэму «Гавриилиада») не для печати. Кроме того, поэт вел дневник греческого восстания, писал «Исторические замечания» и производил целый ряд исторических, историко-литературных и психологических изысканий.

Пушкин способствовал созданию вокруг своей лирики и личности ореола таинственности и намеков на затаенную страсть. В частности, он сознательно вызывал слухи о автобиографическом характере поэмы «Бахчисарайский фонтан», что, разумеется, подогревало интерес современников. Однако отношение поэта к литературе имело и другую сторону, резко контрастирующую с «байроническим» стилем жизни – Пушкин остро нуждался в деньгах: жалованье его было ничтожно, отец фактически отказал в материальной помощи. Бытовое положение поэта было трудным и уязвимым: репутация ссыльного, постоянные финансовые затруднения в среде людей обеспеченных и широко тративших деньги, незначительный чин коллежского секретаря и двусмысленность самого положения поэта в обществе, где все определялось чинами. Обстоятельства жизни заставляли Пушкина чувствовать себя профессиональным литератором, что противоречило обычным в то время представлениям о поэте как «ленивце праздном», для которого стихи – не более чем развлечение, и уж, во всяком случае, никак

не источник дохода. А между тем, как пишет Ю. Лотман, популярность поэзии Пушкина и быстрый рост читательского спроса на нее, могли приносить хорошие гонорары.

На этом пути было много препятствий: отсутствие в России законов, регулирующих авторское право, удаленность Пушкина от издательств. «Однако основным препятствием было другое, – пишет Ю. Лотман. – В русской литературе господствовало представление о том, что поэзия – подарок богов, а не труд, и получать за нее денежное вознаграждение унизительно для поэта. Тем более несовместимыми казались денежные заботы с позицией романтического изгнанника, которому, согласно поэтическим штампам, приличествовала гордая бедность». Борьба за права литератора была длительной, но Пушкин ее выиграл, заложив основы профессиональной литературы и авторского права в России.

Во время пребывания в Кишиневе Пушкин поддерживал тесные отношения с декабристами. Вообще, обстановка, в которую он попал, была насыщена революционными флюидами. Город находился на перекрестке военных и политических конфликтов, потрясавших в то время Южную Европу (когда в 1821 году вспыхнуло восстание в турецкой Молдавии, Пушкин оказался в самом центре событий). Эти настроения отразились в творчестве поэта. Постоянное общение с В. Ф. Раевским, Орловым (членом декабристского Ордена Русских Рыцарей, ориентированного на тактику решительных действий) сделало Пушкина выразителем наиболее радикальных политических идей декабристского движения 1821–1822 годов. Он объявил себя сторонником идеи тираноубийства, настойчиво обсуждавшейся в конспиративных кругах.

Сведения об обстановке в Кишиневе стали доходить до правительства, а в 1821 году член Коренной управы Союза Благоденствия М. К. Грибовский представил подробный донос с разъяснением характера и задач «Союза Благоденствия». Над Орловым и его окружением стали собираться тучи, началась усиленная слежка; в ответ Орлов предложил план немедленных революционных действий, который был отклонен.

О том насколько Пушкин был вовлечен в поток революционных событий, свидетельствует услуга, которую он оказал декабристскому движению, предупредив В. Ф. Раевского о грозящем ему аресте. Пушкин, как сообщает сам Раевский в мемуарах, услышал, что генерал Сабанеев требовал от Инзова арестовать Раевского, и предупредил декабриста об опасности. Раевский успел сжечь «все, что нашел лишним», хотя к предупреждению отнесся небрежно. После его ареста в руки

правительства попал ряд важных бумаг, и можно предположить, что если бы Пушкин не предупредил Раевского, то последствия обыска были бы для декабристов катастрофическими.

Почему же декабристы не предложили Пушкину вступить в тайное общество? Видимо, сыграли свою роль два фактора: с одной стороны, нежелание подвергать талант поэта опасности, с другой – понимание того, что Пушкин, находящийся в поле усиленного наблюдения правительства, может привлечь к обществу нежелательное внимание властей. Кроме того, политические наставники поэта не видели в нем безоговорочного гражданского героизма.

В феврале 1822 года состоялся разгром кишиневского кружка, началось следствие. Атмосфера слежки, доносов, разрушение круга друзей и единомышленников сделали дальнейшее пребывание Пушкина в Кишиневе исключительно тяжелым, и он обрадовался возможности служебного перевода в Одессу, в канцелярию графа Воронцова. Вот как Пушкин в письме к брату от 25 августа 1823 года описывает свое переселение: «Здоровье мое давно требовало морских ванн; я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу (в первых числах июня); рестораций и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе».

Пушкин находился в Одессе до 1 августа 1824 года. Этот короткий период был одним из наиболее противоречивых в его жизни. Вначале поэт чувствовал только отрадные стороны одесской жизни и был захвачен удовольствиями жизни в большом городе с ресторанами, театром, итальянской оперой, блестящим и разнообразным обществом. Эта жизнь увлекла Пушкина, который произвел на одесскую молодежь двоякое впечатление: для одних он был образцом байронической смелости и душевной силы; другие видели в нем «какое-то бретерство, suffisance и желание осмеять, уколоть других» («Записки» Н. В. Басаргина).

Однако «медовый месяц» жизни Пушкина в Одессе был непродолжителен: уже в ноябре 1823 года он называл ее прозаической, жаловался на отсутствие русских книг, а в январе 1824 года мечтал убежать не только из Одессы, но и из России. Весной у него начались настолько крупные неприятности с начальством, что он оказался в худшем положении, чем когда-либо прежде. Граф Воронцов и его чиновники смотрели на Пушкина с точки зрения его пригодности к службе, не принимая претензий на «высшее значение». Поэт озлоблялся и мстил

эпиграммами, едкость которых чувствовал и сам граф, имевший полную возможность уничтожить коллежского секретаря Пушкина.

Кроме того, поэта мучило безденежье, которое ощущалось в Одессе значительно острее, чем в патриархальном Кишиневе. В Кишиневе бедность напоминала о поэзии, в Одессе – о неоплаченных счетах. Пушкин писал брату: «Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался, в учителя не могу идти; хоть я знаю Закон Божий и 4 правила – но служу и не по своей воле – и в отставку идти невозможно. Все и все меня обманывают – на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных. На хлебах у Воронцова я не стану жить – не хочу и полно – крайность может довести до крайности».

Отпечаток на одесскую жизнь Пушкина наложила и дружба с А. Н. Раевским, определившая его отношения с широким кругом одесского общества. Александр Раевский, вероятно, ревновал Пушкина к его ранней славе и находил утешение в том, чтобы внушать дамам ужас перед своими мефистофельскими выходками. В Одессе он наслаждался скандальной славой нарушителя общественных условностей, а с Пушкиным его связала своеобразная «игра в дружбу» и столь же характерная «игра в литературу», перенесенную в жизнь и быт. Участники этой игры в обществе вели себя дерзко, «выворачивая» наизнанку все понятия: любовь следовало отвергать, но ненависть была неотразима, дружба подразумевала предательство.

Пушкину эта игра в литературные страсти позволяла на время забыть о реальных изменах, которые преследовали его в последние месяцы жизни в Кишиневе и не оставляли и в Одессе. Измена и предательство стали постоянным предметом размышлений поэта, который в 1835 году писал об этом времени:

> Я зрел врага в бесстрастном судии,
> Изменника – в товарище пожавшем
> Мне руку на пиру, – всяк предо мной
> Казался мне изменник или враг.[35]

В контексте таких настроений делается объяснимой и беспримерная мрачность некоторых стихов Пушкина одесского периода («Свободы сеятель пустынный…», «Демон», «Недвижный страж дремал на царственном пороге…», «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» и др.).

Жизнь в Одессе ознаменовалась для Пушкина несколькими страстными влюбленностями (и многими мелкими интрижками).

По свидетельству М. Н. Волконской, «как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. <…> В сущности, он обожал только свою музу, но поэтизировал все, что видел». Тем резче бросается в глаза подлинная страстность трех его глубоких увлечений в Одессе.

Первой в этом ряду стоит Амалия Ризнич – жена местного негоцианта, с которой Пушкин познакомился в июле 1823 года. Именно о ней идет речь в «Отрывках из путешествия Онегина»:

А ложа, где красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам…
А муж – в углу за нею дремлет.

Другая – Каролина-Розалия-Текла Адамовна Собаньская, красавица полька, сестра жены Бальзака, воспетая безумно влюбленным в нее Мицкевичем и Пушкиным, который был ей обязан «опьянением любви, самой конвульсивной и самой мучительной». Она была любовницей и агентом начальника Южных военных поселений генерала Витта. Собаньская собирала для него данные о Мицкевиче и Пушкине, а позже оказывала шпионские услуги Бенкендорфу. Высланная после польского восстания 1830 года из России, она жаловалась на неблагодарность русского правительства.

Однако весной 1824 года обе эти любови были вытеснены чувством к Елизавете Воронцовой, жене графа Воронцова, под началом которого поэт состоял на службе. Ко времени описываемых событий граф Воронцов – когда-то либерал – успел прославиться своим честолюбием, беспринципностью и выходящей за рамки приличий угодливостью к императору и вышестоящему начальству. Воронцов был высокомерен по отношению к подчиненным и всем, кто был ниже него по положению. Когда Пушкин поступил в его распоряжение, граф принял в отношениях с ним свой обычный тон, подчеркивавший любезность начальника и непреодолимость дистанции между ним и подчиненными.

Поэзия была для Воронцова вздором. Ф. Вигель {48} привел в своих «Записках» разговор с ним: «Раз сказал он мне: «Вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить его заняться

чем-нибудь путным под вашим руководством?» – «Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами», – отвечал я. «Так на что же они годятся?» – сказал он». Воронцов упорно отказывался видеть в Пушкине кого-либо, кроме мелкого канцелярского чиновника и считал своим долгом следить за опальным поэтом и доносить о его поступках вышестоящему начальству.

Пушкин в ответ писал злые эпиграммы на Воронцова, оскорблял его в письмах к друзьям (в июле 1824 года Пушкин писал: «Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое»). Сложные отношения вылились в конфликт, подогреваемый влюбленностью Пушкина и ревностью Воронцова. Формальным поводом стало неисполнение Пушкиным предписаний начальства.

Неурожай, засуха и саранча, поразившие Новороссийский край в 1823–1824 годах, заставили графа Воронцова возглавить борьбу с бедствием, и в числе чиновников, командированных «на саранчу», оказался Пушкин. Возможно, граф имел самые добрые намерения (генерал И. П. Липранди писал, что командировка якобы нужна была, чтобы «…иметь повод сделать о нем [Пушкине] представление к какой-либо награде»), но поэт, смотревший на свою службу как на простую формальность, на жалованье – как на «паек ссыльного», увидел в распоряжении графа желание его унизить. Он говорил друзьям о «кознях графа Воронцова из ревности; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые разговоры о религии» (И. Пущин). Или: «В этом предложении он [Пушкин] увидел злейшую иронию, принижение честолюбивого дворянства и вероятно паче всего одурачение Ловеласа, подготовившего свое торжество» (П. Вяземский).

Предписание, полученное Пушкиным от Воронцова, было таково:

№ 7976
22 мая 1824 г.
Одесса
Отделение 1-е

Состоящему в штате моем ведомства
Коллегии Иностранных дел Господину Коллежскому
Секретарю Пушкину

Желая удостовериться о количестве появившейся в Херсонской губернии саранчи равно и том, с каким успехом исполняются меры, преподанные мною к истреблению оной, я поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский. По прибытии в города Херсон, Елисаветград и Александрию явитесь в тамошние общие уездные Присутствия и потребуйте от них сведения: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения, учиненные Уездными Присутствиями.

Обо всем что по сему вами найдено будет рекомендую донести мне.

Нов<ороссийский> Г<енерал->Г<убернатор> и П<олномочный> Н<аместник> Б<ессарабской> Области

<*Подпись*>

Пушкин выехал из Одессы 23 мая. 25 и 26 мая (день своего рождения) он провел в Сасовке Елизаветградского уезда у тамошнего предводителя дворянства и вернулся в Одессу 28 мая, пробыв в командировке 5 дней, хотя для выполнения поручения нужно было не менее месяца. Пушкин, по-видимому, даже не собирался следовать полученному предписанию. По возвращении он якобы представил Воронцову знаменитый стихотворный рапорт о саранче («Саранча летела, летела / И села. / Сидела, сидела, все съела /. И вновь улетела»). Реальность этого рапорта ничем не подтверждена, и, скорее всего, он является не более чем анекдотом. По словам очевидцев, поэт «явился к графу Воронцову в его кабинет. Разговор был самый лаконический; Пушкин отвечал на вопросы графа повторением последних слов его; например: „Ты сам саранчу видел?“ – „Видел“. – „Что ее много?“ – „Много“ и т. д.».

Последствиями командировки стал окончательный разрыв Пушкина с Воронцовым, прошение поэта об отставке (что в его положении опального чиновника могло быть истолковано как мятеж) и высылка его в село Михайловское Псковской губернии.

Еще в марте граф Воронцов писал графу Нессельроде[36], что

Пушкина следовало бы перевести куда-нибудь в глубь России, где вдалеке от вредных влияний и лести могли бы развиться его счастливые способности и талант. В Одессе же много людей, которые кружат ему голову своим поклонением, а ведь он «слабый подражатель далеко не почтенного образца» (Байрона). Это послание не имело бы печальных последствий для Пушкина, если бы почти в то же время не вскрыли на почте письмо поэта в Москву, в котором он писал, что берет «уроки чистого атеизма… система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная».

8 июля 1824 года Пушкин был высочайшим повелением уволен со службы, а 12 июля граф Нессельроде известил генерал-губернатора Эстляндского и Лифляндского, бывшего одновременно губернатором Псковской губернии, что местом ссылки Пушкина назначена Псковщина. 1 августа 1824 года поэт выехал из Одессы в сопровождении Никиты Козлова.

Одесский год был одним из тяжелейших для поэта, хотя в это время имя Пушкина стало известно всей читающей России. Кроме того, южная ссылка оказалась полезной и для его духовного развития: поэт выучил английский и итальянский, занимался испанским, положил начало своей, впоследствии огромной, библиотеке. Он не только читал все новости иностранной литературы, но стал первым знатоком русской словесности и задумал ряд статей о Ломоносове, Карамзине, Дмитриеве и Жуковском.

Под влиянием коммерческого духа Одессы и того обстоятельства, что публикация «Бахчисарайского фонтана» дала возможность выбраться из долгов, Пушкин пришел к убеждению, что литература может дать ему материальную независимость. Сначала он называл такой взгляд циничным, но позднее изменил свое мнение: «Я пишу под влиянием вдохновения, но раз стихи написаны, они для меня только товар».

Число лирических произведений, написанных Пушкиным в Одессе, невелико: он был поглощен работой над «Онегиным» и «Цыганами» (причем самые идиллические строфы создавались в наиболее драматичные моменты одесской жизни). «Онегина» автор называл романом в стихах «вроде Дон Жуана»; в нем он «забалтывается донельзя», «захлебывается желчью» и не надеется, что цензура пропустит роман, отчего и пишет «спустя рукава»; но постепенно увлекается работой и, окончив вторую главу, приходит к убеждению, что это будет лучшее его произведение. Уезжая из Одессы, он увозит с собою третью главу романа и неоконченных «Цыган».

Вообще, «месяцы пребывания в Одессе напоминали

авантюрный роман: общение с политическими заговорщиками и раскинутая вокруг него шпионская сеть, любовь и ревность, сиятельный преследователь и помощь влюбленных женщин, планы бегства за границу, а на заднем плане – лица всех социальных состояний и национальностей, включая «корсара в отставке», мавра Али в красных шароварах и с пистолетами за поясом, в обществе которого Пушкин любил бывать, – пишет Ю. Лотман. – Теперь декорации менялись: перед Пушкиным снова лежала дорога».

9 августа Пушкин явился в Михайловское-Зуево, где жила его семья. Его приняли сердечно, но вскоре родной дом обернулся тюрьмой – отец поэта взял на себя обязанности по надзору за сыном. Надежда Осиповна и Сергей Львович стали страшиться влияния опального поэта на сестру и брата. Между отцом и сыном то и дело вспыхивали ссоры, и наконец произошла тяжелая сцена (много позднее Пушкин описал ее в «Скупом рыцаре»): «отец мой, воспользовавшись отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, потом – что хотел бить. Перед тобой, – пишет поэт Жуковскому, – я не оправдываюсь, но чего же он хочет для меня с уголовным обвинением? Рудников сибирских и вечного моего бесчестия?»

В конце концов, родные Пушкина уехали в Петербург, а Сергей Львович отказался наблюдать за сыном, который остался в ведении местного предводителя дворянства и настоятеля Святогорского монастыря. Пушкин, который так любил веселье, толпу, разговоры и пирушки, остался в Михайловском один, в обществе няни Арины Родионовны.

Его единственным развлечением стали визиты в соседнее Тригорское к Прасковье Осиповой и ее многочисленному семейству. Эта умная, прекрасно образованная сорокалетняя женщина владела несколькими иностранными языками, следила за литературой, и в библиотеку Тригорского попадали не только русские, но и европейские книжные новинки.

С Осиповыми у Пушкина завязались тесные отношения, а с Прасковьей Александровной его на всю жизнь связала теплая дружба. В Тригорское приезжала и племянница Осиповой, Анна Керн, которую в шестнадцать лет выдали замуж за пожилого генерала. К моменту приезда в Тригорское она разошлась с мужем и пережила несколько сердечных увлечений, здесь же ее ждал бурный роман с Пушкиным, для которого Керн одновременно и «гений чистой красоты», и «одна прелесть», и «милая, божественная», и «мерзкая», и «вавилонская блудница».

Жизнь в Михайловском резко контрастировала с тем образом жизни, который до сих пор Пушкин вел. Быт поэта не имел ничего

общего с обычными «помещичьими» заботами, и даже такие занятия дворянина в деревне, как охота, были исключены из его существования. Это была ссылка, хоть и «домашняя», и порой она делалась настолько невыносимой, что Пушкин начинал обдумывать планы бегства за границу через Дерпт, строя невероятные проекты операции мнимого «аневризма в ноге» и т. п. Вынужденное одиночество, материальные затруднения, отсутствие развлечений, однообразие дневного распорядка превращали его жизнь в пытку. П. Вяземский писал: чтобы вынести ее, надо быть «богатырем духовным», и серьезно опасался, что Пушкин сойдет с ума или сопьется.

Тем более волнующими событиями были посещения Михайловского лицейскими друзьями поэта. Первым к Пушкину приехал И. Пущин (11 января 1825 года). Визит к опальному поэту требовал мужества, но Пущин был не из пугливых: 14 декабря он показал себя на Сенатской площади как хладнокровный и деятельный руководитель восстания (высочайшим указом Николая I его приговорили к двадцати годам каторги). Пущин заметил в поэте перемену к лучшему: Пушкин стал «серьезнее, проще, рассудительнее». В апреле Пушкина посетил А. Дельвиг, и также отметил, что поэт очень изменился.

Пребывание в Михайловском оказалось не только плодотворным для Пушкина-поэта, но и спасительным для него как человека. Основной сферой деятельности в это время стало творчество. И как ни интенсивно Пушкин работал в Кишиневе и Одессе, в Михайловском, в особенности в зимнее время, он читал и писал по крайней мере вдвое больше прежнего. С раннего утра до позднего обеда он сидел с пером в руках в единственной отапливаемой комнатке Михайловского дома, читал, делал заметки, а по вечерам слушал и записывал сказки своей няни и домоправительницы Арины Родионовны. И. Пущин вспоминал: «Комната Александра была возле крыльца. В этой небольшой комнате помещались кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери – дверь в комнату няни».

Под влиянием обстановки Пушкин начал больше, чем прежде интересоваться русской историей, памятниками письменности и народной поэзией. Он собирал песни (для чего иногда переодевался мещанином и ездил по губернии), сортировал их по сюжетам и изучал народную речь, заполняя пробелы своего

«проклятого воспитания». Столь же активно он изучал всемирную литературу, в том числе Коран, вчитывался в Шекспира, по сравнению с которым Байрон теперь казался ему слабым и однообразным. Почти отшельническая жизнь, которую вел поэт, Восток, Шекспир и изучение исторических источников заставляли все серьезнее задумываться над жизнью, философски относиться к прошлому и настоящему.

В переписке Пушкин не уставал подчеркивать, что ленится, о работе писал скупо, но постоянно просил все новых и новых книг. На самом деле два Михайловских года стали одними из самых плодотворных для поэта: были закончены «Цыганы», завершена третья и написаны четвертая – шестая главы «Евгения Онегина», «Граф Нулин», несколько десятков стихотворений, баллада «Жених». Самое же крупное произведение Михайловского периода – «Борис Годунов» («Комедия о настоящей беде московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве», начатая в конце 1824 года и оконченная к сентябрю 1825-го).

«Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль оживить в драматической форме одну из самых драматических эпох нашей истории, – писал поэт. – Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров; Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий; в летописях старался угадать язык тогдашнего времени; источники богатые: успел ли я ими воспользоваться, не знаю». По окончании труда Пушкин был чрезвычайно доволен им: «Я перечел его вслух один, бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Поэт не спешил печатать «Бориса», предвидя неуспех (его опасения оправдались – вышедший в 1831 году «Борис Годунов» подвергся уничтожающей критике: большинство признавало пьесу «выродком, который не годится ни для сцены, ни для чтения»; П. Катенин назвал драму «ученическим опытом», «куском истории», упрекая Пушкина за рабское следование Карамзину).

Пушкин работал над несколькими статьями, посвященными вопросам народности литературного языка – это были его первые прозаические произведения. Много сил он приложил и к собственным мемуарам, которые ему пришлось уничтожить после 14 декабря 1825 года (позднее, в 1831 году Пушкин вернулся к автобиографической прозе, но далее нескольких страниц, посвященных истории своего рода, дело не пошло). К этому следует прибавить почти научный интерес к фольклору и массу прочтенных в это время книг: из Лицея Пушкин вынес поверхностное образование, а в 1830-е годы поражал современников глубокими познаниями в мировой литературе,

истории, политической жизни, публицистике.

Переворот, который произошел в творчестве поэта в Михайловский период, выразился в переходе от идеалов романтизма к созданию реалистических произведений. Центральным убеждением для Пушкина стала вера в то, что поэт – это «просто человек». Поэзия отождествлялась теперь с обычным, каждодневным, а «исключительное» стало казаться натянутым и театральным. «Пушкин учится смотреть на мир глазами другого человека, менять точку зрения на окружающее и самому, меняясь, включаться в разнообразные жизненные ситуации, – пишет Ю. Лотман. – Все это и образует самоощущение, аналогичное художественному миру реализма. Такой взгляд на жизнь позволял находить поэзию и источники красоты, истину и мудрость там, где романтик увидал бы лишь рутину, заурядность, прозу и пошлость».

Пушкин энергично занимался издательскими делами. Давно задуманный сборник «Стихотворения Александра Пушкина» потребовал немалых хлопот, и все же 8 октября 1825 года было дано цензурное разрешение на книгу, а 30 декабря книга вышла в свет.

На обложке красовался эпиграф из римского поэта Пропорция («Юность поет о любви – муж воспевает тревоги»), который после восстания декабристов получил опасное звучание – латинское слово tumultus означает не только «шум», «тревогу», но и «мятеж», «бунт», «восстание». Сборник получил неслыханный в истории русской литературы успех: 27 февраля 1826 года Плетнев писал Пушкину: «Стихотворений Александра Пушкина у меня нет ни единого экз., с чем его и поздравляю». А. С. Пушкин получил лавры первого русского поэта. Пушкин-лицейский, Пушкин-племянник, Пушкин-младший (эпитеты, которые использовались, чтобы отличить его от Василия Львовича Пушкина) он стал просто Пушкиным, и теперь уже к имени В. Л. Пушкина прибавляли поясняющее «дядя».

Пока же, за два дня, 13–14 декабря 1825 года Пушкин написал поэму «Граф Нулин», а через три дня в Тригорское пришли известия о Сенатской площади. Для поэта наступили дни полные тревоги и неизвестности: письма почти перестали приходить, газеты сообщали об арестах, и в списках арестованных он видел имена друзей. Положение Пушкина было весьма сомнительным: он не знал, что известно правительству, и жил в ожидании. Через Жуковского он передал друзьям в Петербург: «Решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня».

И в это же время он закончил четвертую главу «Евгения Онегина» шутливыми стихами, затем очень быстро написал пятую

и шестую главы романа, строфы об Одессе, которые в дальнейшем вошли в «Путешествие Онегина», сделал набросок перевода из Ариосто о ревности, начал пьесы «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери».

Такой всплеск творческой активности не позволял даже предположить, что господствующим настроением поэта в те месяцы было ощущение нависшей угрозы. Несколько месяцев назад окончилось царствование Александра I (он умер 19 ноября 1925 года), и каким будет правление Николая I, не знал никто. Общество жило верой в милость к восставшим декабристам и надеждой на сравнительно легкие приговоры. Сама многочисленность обвиняемых, их принадлежность к лучшим семьям России, сочувствие высоких сановников – все это заставляло ожидать, что будет объявлена амнистия и смягчение наказаний. Даже Пестель, делавший на следствии весьма откровенные признания, рассчитывал, что крайней мерой наказания будет разжалование в солдаты. Никто не знал ни мелкой мстительности Николая I, ни того, что 14 декабря заставило его пережить унизительные минуты страха, которые он не мог простить декабристам. Приговоры были чудовищными.

24 июля 1826 года Пушкин узнал о казни Рылеева, Пестеля, С. Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского и каторжных приговорах для многих его друзей. Об участи самого поэта так и не было ничего известно, и он послал через губернатора письмо государю с выражением раскаяния и твердого намерения не противоречить общепринятому порядку.

В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года в Михайловское прибыл фельдъегерь с приказанием Пушкину немедленно явиться в Москву, где в это время проходила коронация Николая I. Поэта приказано было везти в сопровождении конвойного офицера, но «в своем экипаже свободно, не в виде арестанта». Михайловская ссылка кончилась.

Поэт прибыл в Москву 8 сентября и сразу же был доставлен в кабинет Николая. Разговор был продолжительным, и начиная с этой встречи с царем Пушкин выступил как заступник декабристов, считая это одним из важнейших дел жизни («…И милость к падшим призывал»). Поэт не только не отрекся от дружеских связей с декабристами, но решительно заявил, что 14 декабря был бы на Сенатской площади, если бы ему представилась такая возможность. Николай простил Пушкина, обещая ему свободу от обычной цензуры и предлагая себя в качестве личного цензора. Поэт получил право выбирать место своего пребывания (кроме Санкт-Петербурга, куда въезд ему был открыт в 1827 году).

Окрыленный свободой Пушкин не мог предполагать, как унизительно сложатся в дальнейшем его отношения с властью. Цена монарших милостей выяснилась позднее – обращаться к царю по поводу каждого стихотворения было, конечно же, невозможно, и лицом, от которого теперь зависела судьба пушкинской лирики, стал граф А. Х. Бенкендорф.

Граф Бенкендорф вел следствие по делам декабристов, был назначен шефом корпуса жандармов и начальником учрежденного Николаем Третьего отделения канцелярии Его Императорского Величества, целью которого было охватить Россию сетью тайного надзора. Бенкендорф был честен – он не фабриковал ложных обвинений, не преследовал личных врагов, презирал тех, кто сочинял ложные доносы. Однако он искренне считал литературу вредоносным занятием, а всякое проявление свободной мысли – опасным мятежом. Пушкин раздражал Бенкендорфа.

Но стычки с Бенкендорфом не сразу начались, и зиму 1826/27 года Пушкин провел в Москве, которая приняла его с распростертыми объятиями как величайшего поэта; либеральная молодежь видела в нем чудом спасенного друга декабристов, а защитники существующего порядка радовались его примирению с правительством. Пушкин находился на вершине славы; он наверстывал годы ссылки, посещая и литературные салоны, и балы, и холостые пирушки. Светская жизнь не мешала ему работать, и главной заботой поэта стала консолидация литературных сил. Недовольный существующими изданиями, он еще в Михайловском мечтал об основании серьезного журнала, который бы объединял все талантливое; теперь осуществление этих замыслов стало реальностью.

Однако изданию журнала препятствовал целый ряд трудностей. Главная из них состояла в том, что русская (петербургская, в первую очередь) словесность понесла большие потери после правительственных репрессий, ряды писателей пушкинского поколения поредели – нужно было налаживать связи с молодежью, причем делать это именно в Москве, которая стала литературным центром России. Молодая литература второй половины 1820-х годов группировалась вокруг журнала «Московский телеграф» Н. А. Полевого и П. А. Вяземского и вокруг кружка «любомудров» (Д. Веневитинов, С. Шевырев, М. Погодин, В. Одоевский, П. Киреевский и др.), в идеях которых вызревали как будущие мнения группы Белинского-Станкевича, так и основы славянофильства. Умеренные в политике, преданные кабинетным занятиям и систематическому умозрению, серьезные и молчаливые, любомудры заслужили в Москве кличку

«архивных юношей» (поскольку служили в Архиве Министерства иностранных дел).

Встреча Пушкина и «архивных юношей» произошла 12 октября 1826 года у Веневитинова. Поэт читал неопубликованного «Бориса Годунова», песни о Степане Разине, недавно написанное добавление к «Руслану и Людмиле» («У лукоморья дуб зеленый…»). Узнав о планах московской молодежи издавать журнал, Пушкин поделился своими намерениями, и было решено объединить усилия. С 1827 года начал выходить «Московский вестник», и на протяжении трех лет Пушкин добросовестно служил ему (поддерживая в то же время альманах А. Дельвига «Северные цветы»). Опыт сотрудничества в «Московском вестнике» оказался неудачным: журнал ориентировался на элиту, число читателей быстро падало.

Как и раньше, Пушкину не сиделось на месте: в 1826 году, после разговора с царем и краткого пребывания в Москве, он отправился в Михайловское, но в декабре возвратился. В мае 1827 года поэту разрешено было посетить Петербург, и он поспешил воспользоваться этим, но в июне, «почуя рифмы», снова уехал в Михайловское, где начал исторический роман, который позднее печатался под не принадлежащим Пушкину названием «Арап Петра Великого». В октябре поэт возвратился в Петербург, где на протяжении 1828 года предпринял ряд неудачных попыток отправиться в длительное путешествие: просьбы разрешить поездку в действующую армию на Турецкий фронт или за границу встретили отказы. В октябре 1828 года Пушкин уехал под Тверь, в поместье Малинники, и начал там «Полтаву», которая была окончена в течение месяца (поэма вышла в 1829 году и не имела успеха). В декабре 1828 года Пушкин приехал в Москву, в январе 1829-го – снова в Малинники, потом – в Петербург. Весной 1829 года он возвратился в Москву, посватался к Наталье Гончаровой, получил отказ, после чего, так и не дождавшись официального разрешения, уехал на Кавказ (Орел – Кубань – Тифлис – Каре – Арзрум).

26 мая 1829 года Пушкин приехал в Тифлис, куда уже прибыло распоряжение о секретном надзоре за ним. Он провел в Тифлисе около 2-х недель и потом отправился в действующую армию, с которой вошел в Арзрум. Пушкина видели в передовой цепи атакующих казаков – солдаты с недоумением смотрели на штатскую фигуру в цилиндре и, считая его священником, звали «батюшкой». Однако «во время пребывания в отряде Пушкин держал себя серьезно, избегал новых встреч и сходился только с прежними своими знакомыми, при посторонних же всегда был молчалив и казался задумчивым». Результатом путешествия стал

ряд кавказских стихотворений и «Путешествие в Арзрум».

В начале июня он виделся на Кавказе с лицеистом Вальховским, Н. Раевским-сыном, с братом Пущина Михаилом, со ссыльными декабристами. На одном из горных перевалов Пушкин встретил гроб с телом убитого в Персии Грибоедова.

Неприятности, связанные с тем, что командующий армией генерал Паскевич слишком ревностно выполнял поручение о надзоре за поэтом, вынудили Пушкина покинуть Кавказ. В Петербурге его ждали тягостные объяснения с Бенкендорфом по поводу самовольной поездки. Кроме того, Бенкендорф устроил ему разнос по совсем уж неслыханному поводу: поэту было запрещено не только публиковать, но и показывать друзьям произведения, не прошедшие цензуры.

Выбранив Пушкина за чтение «Бориса Годунова», Бенкендорф напомнил требование представлять все новые произведения государю, стремясь установить с Пушкиным отношения надзирателя и непослушного юнца. Поэт противился этому, он поддерживал стиль светского равенства, а потому обращался к своему цензору только по-французски, устраняя необходимость прибегать к унизительно-бюрократическому тону. {49} В ответ поэт получал строгие выговоры по всякому поводу, вынужден был оправдываться и благодарить за отеческие наставления. Следует вспомнить, как не терпел Пушкин «покровительства позор» даже со стороны друзей, чтобы представить себе, каково было ему терпеть все это от Бенкендорфа.

Венцом всему стало учреждение секретного надзора над Пушкиным, который был официально отменен много лет спустя после гибели поэта. Обстоятельства складывались совсем не так, как представлялось Пушкину, когда он покидал кабинет царя в Кремле.

Положение Пушкина к концу 1820-х годов стало очень тяжелым. В литературных кругах создалась далеко не лучшая ситуация: начал складываться союз продажных литераторов и тайной полиции, вперед выдвинулась фигура писателя и тайного осведомителя Фаддея Булгарина, в руках которого к концу 1820-х годов оказалась самая популярная в России газета «Северная пчела», журналы «Сын отечества» и «Северный архив». Литераторам пушкинского круга после закрытия декабристских изданий печататься было негде.

И в этих условиях очевидной травли Пушкин задумал жениться. В 1826 году он сватался к С. Ф. Пушкиной, в 1828-м – к А. Олениной, не сомневаясь в положительном ответе, но отец невесты отказал «неблагонадежному» Пушкину. 1 мая 1829 года поэт просил руки Натальи Гончаровой и получил

неопределенный ответ, более похожий на отказ, а в марте 1830-го П. Вяземский сообщал, что Пушкин чуть ли не помолвлен с Екатериной Ушаковой. В марте же 1830 года, в самый разгар журнальной войны с Булгариным, поэт отправился в Москву. Здесь он снова встретил Наталью Гончарову, 5 апреля обратился к ее матери с решительным письмом, а на следующий день сделал вторичное предложение, которое на этот раз было принято.

Сразу же обнаружились трудности. Родители невесты опасались политической репутации жениха, и Пушкин, памятуя об истории с Олениной, обратился к Бенкендорфу с сообщением о намерении жениться и просьбой удостоверить его благонадежность. Шеф жандармов известил Пушкина, что государь принял известие о готовящейся женитьбе Пушкина с «благосклонным удовлетворением» и, кроме прочего, писал: «Полиции не давалось распоряжения иметь за Вами надзор. Советы, которые я, как друг, изредка давал Вам, могли пойти Вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени Вы в этом будете все более и более убеждаться. Какая же тень падает на Вас в этом отношении? Я уполномачиваю Вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным».

Были трудности и другого рода – денежные. Семейство Гончаровых стояло на более высокой ступени общественной лестницы, чем Пушкины, но было еще беднее. Приняв предложение Пушкина (помолвка состоялась 6 мая 1830 года), Гончаровы со свадьбой не спешили, требуя, чтобы жених обеспечил приданое. С большим трудом Пушкин выпросил у отца деревеньку Кистеневку, расположенную в Нижегородской губернии, вблизи от имения Болдино.

В денежных хлопотах прошло лето. Настроение было тяжелое: Пушкин в очередной раз поссорился с будущей тещей и в раздражении написал невесте письмо, в котором возвращал ей слово. 31 августа поэт покинул Москву. Приближалась осень – «пора стихов». 3 сентября Пушкин приехал в Болдино, рассчитывая за месяц управиться с делами, заложить деревню и вернуться в Москву справлять свадьбу. Ему было досадно, что за всеми делами пропадет лучшее рабочее время. Кроме того, осенний «урожай» стихов был основным источником существования в течение всего года, а деньги были нужны. С ними была связана независимость – возможность жить без службы, и счастье – возможность семейной жизни.

Пушкин ехал в Болдино в подавленном настроении. Работать было необходимо и очень хотелось, но обстоятельства складывались так, что, по всей видимости, ничего не должно

было удаться. Не случайно первыми стихотворениями этой осени стали мрачные «Бесы» и отдающая глубокой усталостью «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…») Однако тоскливое настроение скоро изменилось: пришло «прелестное» письмо от невесты, которое «вполне успокоило» поэта. Кроме того, покинуть Болдино оказалось невозможным – свирепствовала холера, и вокруг были карантины – а это сулило длительное пребывание в деревне. 9 сентября он осторожно пишет Наталье, что задержится дней на двадцать, и в тот же день Плетневу, – что приедет в Москву «не прежде месяца». И с каждым днем, поскольку эпидемия усиливалась, срок отъезда все более отодвигался и увеличивалось время для поэтического труда. Пушкин оставался в Болдине до декабря в полном уединении, но с таким приливом вдохновения, какого у него давно не бывало.

По возвращении из деревни поэт написал своему другу и издателю Плетневу: «Вот что я привез сюда: две последние главы «Онегина», восьмую и девятую, совсем готовые в печать; повесть, писанную октавами (стихов 400) [«Домик в Коломне»], которую выдам anonyme; несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан». Сверх того написал около тридцати мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное, для тебя единого): написал я прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется, и которые напечатаем также anonyme. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает».

Главное – в Болдине был закончен роман «Евгений Онегин», над которым Пушкин работал 7 лет 4 месяца и 17 дней. Когда «Евгений Онегин» вышел из печати, то был моментально раскуплен и вызвал оживленные толки. Полевой считал это произведение воплощением романтизма, а романтик Бестужев возмущался ничтожностью сюжета. Читатели были в восторге от изящества формы и жизненности содержания (публика сразу же стала искать ту, с которой была «списана» Татьяна, а Пушкина считали прототипом Онегина). Большинство же критиков, признавая «редкое дарование» и называя автора «любимым поэтом», не нашли в поэме ни плана, ни связи, ни характеров; только много позднее появились похвальные критические заметки, в которых «Евгений Онегин» был представлен как «полное и верное воспроизведение жизни русского дворянства того времени, во всех ее разнообразных областях и оттенках» (А. Кирпичников).

Что касается остальных произведений, написанных в Болдине, то «Домик в Коломне» – это «игрушка, сделанная рукой

великого мастера» (Белинский). Маленькую трагедию «Скупой рыцарь» Пушкин приписал несуществующему английскому поэту Ченстону из-за того, что в пьесе использованы семейные воспоминания. Пьеса «Моцарт и Сальери (в рукописи озаглавлена «Зависть») отражает размышления поэта о развитии низкой страсти в сильной душе, о различии между гением и талантом. «Пир во время чумы» – ряд сцен, переведенных с английского (Джон Вильсон «The City of the Plaque»), но песня Мери и песня президента сочинены Пушкиным. Четыре сцены «Каменного гостя» образуют драму, создавая которую Пушкин взял от предшественников только типаж Лепорелло и развязку: все остальное – плод его собственного воображения.

«Повести Белкина» (вместе с «Летописью села Горюхина») – важный шаг в литературной карьере Пушкина. Они стали первыми законченными произведениями Пушкина-прозаика. Вообще, «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина» знаменовали собой начало нового этапа не только в творчестве Пушкина, но и в русской словесности. Благодаря принципиальному отказу от односторонней точки зрения на описываемые события, Пушкин преодолел традиционное разделение героев на «положительных» и «отрицательных» и проложил дорогу «психологическому роману», которым славилась русская литература второй половины XIX–XX века. Критика встретила «Повести Белкина» крайне враждебно, но они раскупались и читались с удовольствием, и Пушкин, больше доверявший публике, чем критике, счел опыт удавшимся.

5 декабря Пушкин вернулся в Москву к невесте, а 19 января пришло известие о смерти Дельвига (с этого момента вдова и братья покойного товарища стали предметом его заботы). 18 февраля 1831 года в Москве в церкви Большого Вознесения Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой, которой шел девятнадцатый год. «Я женат – и счастлив, – писал он Плетневу. – Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется я переродился».

Наталья Николаевна Гончарова была моложе мужа на тринадцать лет, отличалась нежной, акварельной красотой, прекрасной фигурой и величественным ростом (выше Пушкина). Она выделялась тактом и аристократической простотой манер, держалась ласково и одновременно с холодноватым достоинством. Она вышла за Пушкина без страстного увлечения. Он не был красив, не был богат и во всех отношениях не мог считаться блестящей партией, но брак открывал ей дорогу в самое блестящее общество Петербурга. Решающую роль в

решении о замужестве сыграло, видимо, желание избавиться от тяжелого деспотизма матери.

В мае 1831 года Пушкины выехали из Москвы и, не задерживаясь в Петербурге, отправились в Царское Село. Там поэт оставался безвыездно до конца октября, отделенный от Петербурга холерой, и почти ежедневно видясь с живущим в Селе Жуковским (третьим в их беседе часто бывал юный Гоголь), Пушкин вступил с ним в своеобразное соперничество на поприще обработки сказок, написав «Сказку о царе Салтане» и «Сказку о попе и работнике его Балде».

Тогда же в июле Пушкин через графа Бенкендорфа попросил позволения работать в архивах, чтобы «исполнить давнишнее желание написать историю Петра Великого и его наследников до Петра III», и получил официальное извещение о том, что ему разрешается пользоваться государственными архивами. Пушкину даже было положено жалованье как государственному служащему. Несколько позже поэт уведомил военного министра о своем намерении работать над биографией Суворова и под этим предлогом получил доступ к материалам, касающимся восстания Пугачева.

Переехав в Петербург, Пушкин принялся за работу в архивах, не оставляя и литературные труды. Летом 1832 года он услышал рассказ о некоем Островском, который, вследствие притеснений богатого соседа, лишился имения и сделался врагом общества – так родилась идея повести «Дубровский». Она была написана довольно быстро, но, приближаясь к развязке (и продолжая в то же время собирать в архивах материалы для истории Пугачевского бунта), Пушкин стал обдумывать другой роман – из эпохи Пугачевщины, а «Дубровского», наскоро набросав две эффектные сцены, оставил в рукописи (он был напечатан только в 1841 году). Одновременно с «Дубровским», Пушкин работал над «Песнями западных славян».

В 1832 году Наталья Николаевна родила первого ребенка – дочь Машу, в 1833-м – сына Сашу, в 1835-м – сына Гришу, в 1836 году – дочь Наташу. В III главе «Евгения Онегина» Онегин иронически характеризует семейство Лариных словами: «простая русская семья». Сейчас поэт сходными словами мог бы охарактеризовать свой идеал семейной жизни, который противостоял представлениям о модном браке и светском открытом доме. Пушкин в письмах к жене простонародно грубоват. Все письма написаны по-русски, хотя дома он обычно разговаривал с женой по-французски. Детей он называет не Marie и Alexandre, а Машка, Сашка или «рыжий Сашка», позже в его письмах появился Гришка.

Вообще же, поэт был не в восторге от жизни в Петербурге. Краеугольным камнем пушкинской программы была личная независимость, но именно она в николаевском «свинском Петербурге» оказалась наименее достижимой. Пушкин по-прежнему очень любил жену, но был не доволен положением своих дел. 23 февраля 1883 года он писал: «Жизнь моя в Петербурге ни то ни се. Заботы мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете; жена моя в большой моде; все это требует денег, деньги достаются мне через мои труды, а труды требуют уединения».

Летом 1833 года Пушкин жил на даче на Черной речке, откуда ежедневно ходил в архивы работать над эпохой пугачевщины, имея в виду одновременно и исторический очерк, и роман (будущую «Капитанскую дочку»). В августе он испросил себе двухмесячный отпуск и побывал в пугачевских местах – Казани, Симбирске, Оренбурге, Уральске. Потом около года провел в Болдине, где привел в порядок «Записки о Пугачеве», перевел две баллады Мицкевича, закончил «Сказку о рыбаке и рыбке» и написал поэму «Медный всадник», которая не была пропущена цензурой. К 1833 году относятся сказки: «О мертвой царевне и семи богатырях» и «Золотой петушок», а также поэма «Анджело».

1 января 1834 года Пушкин записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры – что довольно неприлично моим летам». Пушкин вышел в отставку в 1824 году в чине коллежского секретаря, и Николай I, по совету Бенкендорфа принимая его на службу, дал поэту следующий придворный чин – камер-юнкера. Формально это было правильно, но по существу Пушкин чувствовал себя оскорбленным.

Во-первых, он оказался прикован к Петербургу и двору и был обязан являться на все официальные церемонии в мундире, выслушивая поучения и замечания не только Бенкендорфа, но и обер-камергера двора. Во-вторых, камер-юнкерское звание было незначительным и его, как правило, получали молодые люди, ничем себя не зарекомендовавшие. Появление тридцатипятилетнего поэта, отца семейства в этой толпе давало поводы для насмешек и одновременно демонстрировало, что быть поэтом, с точки зрения Николая I, означало не быть никем.

Пушкин не мог не принять должность, но открыто демонстрировал свое недовольство: отказался шить мундир, пропускал придворные церемонии, вызывая недовольство царя. Наталья Гончарова отнеслась к камер-юнкерству мужа иначе. Ей едва исполнилось двадцать два года, ей хотелось блистать в

свете, а как жена придворного она становилась участницей не только торжественных балов и приемов в Зимнем дворце, но и пользовавшихся гораздо большим престижем раутов в Аничковом дворце, куда допускались лишь избранные. Наталье льстило, что ее красота произвела впечатление на самого царя, который за ней ухаживал.

В петербургском свете Пушкин и его жена были «в моде», но их не любили и охотно распространяли о них самые ядовитые сплетни. Наталья Николаевна возбуждала зависть и клевету, но еще сильнее ненавидели самого Пушкина, прошлое которого одни находили сомнительным, другие – просто ужасным, и характер которого, и прежде не отличавшийся сдержанностью, теперь бывал резок до крайности. Его агрессивное самолюбие, злые характеристики, эпиграммы и высказывания возбуждали к нему злобу очень влиятельных людей.

В конце апреля 1834 года Пушкин написал письмо жене, в котором как бы по секрету сообщал, что, сказавшись больным, не пошел поздравлять наследника престола с совершеннолетием. В нем содержалась ироническая оценка придворных обязанностей, навязанных Николаем I. Письмо было вскрыто на почте и попало к царю. Пушкин был крайне возмущен: «Какая глубокая безнравственность в привычках нашего Правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться!» Поэт подал в отставку, но она не была принята, и ему пришлось униженно просить о прощении.

Пушкин, конечно же, еще во время южной ссылки знал, что его письма подвергаются перлюстрации, но он и представить не мог, что будет прочитана его интимная переписка. С этих пор он начал отправлять жене письма, рассчитанные на посторонний глаз, содержащие прямые оскорбления. Так Пушкин не без оснований подозревал почт-директора А. Я. Булгакова, который распечатывал чужие письма, разнося потом по знакомым пикантные новости, а копии с прочтенных депеш направлял Бенкендорфу. Пушкин предупреждал жену быть осторожнее в письмах, так как в Москве «состоит почт-директором негодяй Булгаков, который не считает грехом ни распечатывать чужих писем, ни торговать собственными дочерьми». Упоминание о «торговле собственными дочерьми» было обдуманным ударом: ходили скандальные слухи о близости младшей дочери А. Я. Булгакова Ольги с Николаем I. Упоминая этот слух, Пушкин лишил почт-директора возможности передать копию письма начальству и приобрел злейшего врага.

Другим недругом поэта был министр народного просвещения

С. Уваров – видный государственный деятель николаевской эпохи, автор формулы «самодержавие, православие, народность». Яркую характеристику графу Уварову дал историк С. Соловьев: «Уваров был человек, бесспорно, с блестящими дарованиями <… >, но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Не было ни одной низости, которой он не был в состоянии сделать».

Уваров усиленно напрашивался на роль покровителя Пушкина, но когда тот оттолкнул все попытки сближения, Уваров начал кампанию светской клеветы против него. Одновременно он стал утеснять поэта по служебной линии, добившись того, чтобы журнал Пушкина «Современник» проходил кроме цензуры Бенкендорфа еще и обычную, и приставил к делу наиболее глупых и трусливых цензоров. В отместку Пушкин опубликовал в журнале «Московский наблюдатель» злую сатиру на Уварова, недоумевая впоследствии, как тот мог принять на свой счет портрет «низкого скупца, негодяя, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож».

Ко всем перечисленным неприятностям прибавлялась нехватка денег. Содержание семьи, светская жизнь, помощь родителям, сестре и брату требовали огромных расходов. Пушкин рассчитывал поправить свои денежные дела изданием «Истории Пугачева» и занял у правительства 10 тысяч, но издание не оправдало его финансовых расчетов, а долг остался, и ему пришлось снова просить у Николая I ссуду в счет будущего жалованья. Пушкин пишет жене: «Я не должен был вступать на службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами… Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно».

Без новых литературных трудов не было надежды разрешить денежные затруднения, а петербургская суета не давала возможности сосредоточиться. Осенью 1835 года поэту удалось вырваться в Михайловское, где он долго ожидал вдохновения. Для поправки своих дел Пушкин вместе с Плетневым при участии Гоголя задумал издать альманах, а позже – журнал «Современник», выходящий четыре раза в год. Возможность осуществить свое давнишнее желание ободрила Пушкина. По возвращении в Петербург, куда он был вызван в связи с опасной болезнью матери, поэт начал работать с небывалой энергией. Тем не менее, к 1836 году долг поэта правительству составлял 45 тысяч рублей, и это привязывало Пушкина ко двору, службе и

Петербургу.

Зная условия, в которых находился поэт в последние годы, легко представить себе его замученным и павшим духом. Усталость действительно сквозит в его письмах этого периода, но творческая жизнь Пушкина в эти годы не несла никаких следов спада. А. И. Тургенев писал 21 декабря 1836 года в одном из писем: «Он полон идей».

В трудные для Пушкина 1833–1836 годы он работал очень интенсивно. Создал поэмы «Анджело», «Медный всадник» (1833), лучшие прозаические произведения: «Дубровский» (1832–1833); «Пиковая дама» (1833), «Египетские ночи» (1835), «Капитанская дочка» (1833–1836), самые значительные лирические стихотворения: «Осень» (1833), «Пора, мой друг, пора!..» (1834), «Песни западных славян» (1834), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836) и др.

В 1836 году стал выходить журнал «Современник». Пушкин взял на себя не только общее руководство, но и всю организационно-техническую и финансовую сторону «Современника», фактически был единоличным хозяином и организатором этого издания. Он смотрел на себя как на главу русской литературы, чувствовал личную ответственность за ее будущее и рассчитывал с помощью журнала повлиять на развитие словесности в России.

Журнал Пушкина отличался независимостью мнений, художественной зрелостью публикуемых произведений: там были напечатаны «Капитанская дочка», «Путешествие в Арзрум», «Пир Петра Великого», «Скупой рыцарь», «Родословная моего героя», «Полководец» самого Пушкина; «Нос», «Коляска», «Утро делового человека» Гоголя, стихотворения Тютчева, Жуковского, Баратынского, Вяземского, Кольцова. В последние месяцы жизни Пушкин начал (тайком от старых литературных друзей) переговоры о привлечении к работе в журнале Белинского – тогда еще молодого и малоизвестного критика, к тому же весьма холодно отзывавшегося о «Современнике» в печати. Издавая журнал, поэт столкнулся с суровыми ограничениями, крайне трудными были и цензурные условия: журналу был дан один из самых тупых и трусливых цензоров, а вскоре Пушкина обязали получать также визы военной и духовной цензуры.

Вся эта литературная и окололитературная активность происходила на фоне разгорающегося скандала – осенью 1836 года Пушкин получил анонимное послание, заносившее его в орден рогоносцев и намекавшее на связь его жены с кавалергардским поручиком бароном Дантесом.

Жорж Дантес, сын небогатого эльзасского дворянина,

вынужден был покинуть Францию. В Германии судьба свела его с голландским послом в Петербурге, бароном Геккереном, вместе с которым он приехал в Петербург 8 октября 1833 года. Благодаря связям посла, Дантеса зачислили корнетом в Кавалергардский полк – один из самых привилегированных в России.

Геккерен усыновил молодого человека (при живых родителях), и тот из бездомного бродяги сделался богатым наследником, модным героем, допущенным в самое аристократическое общество. Для укрепления своего положения в Петербурге Дантес обольщал дам, но странность его отношений с Геккереном грозила испортить успешно начатую карьеру. Выход был найден: шумный роман с известной дамой света устранил бы порочащие его слухи и одновременно придал бы ему «блеск» в глазах общества.

Дантес был заинтересован именно в скандале и предметом своих домогательств избрал жену Пушкина, которая была в зените светских успехов. Он начал грубо и настойчиво преследовать ее изъявлениями страсти. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, тот принял вызов, но через барона Геккерена испросил отсрочку на 15 дней, заявив, что его ухаживания имели предметом не жену Пушкина, а ее сестру Екатерину. Дантес сделал Екатерине предложение, получил согласие, и Пушкин взял вызов обратно.

Свадьба произошла 10 января 1837 года. Дантес с нелюбимой и некрасивой женой на руках оказался в смешном положении, поскольку Пушкин решительно отверг всякие возможности семейных контактов между своим домом и новоявленным родственником. Друзья усматривали в поведении Пушкина неоправданную ревность, даже невоспитанность, и винили африканскую кровь, которая текла в его жилах.

Пушкин, тем не менее, резко выражал свое презрение Дантесу, продолжавшему встречаться с Натальей Николаевной, и Геккерену, усиленно интриговавшему против поэта. Сплетни не прекращались, и против Пушкина возник настоящий светский заговор, в котором приняли участие С. Уваров, министр иностранных дел Нессельроде с женой и, конечно, барон Геккерен. Друзья с ужасом, враги со злорадством наблюдали, как Пушкин все сильнее оказывался запутанным в сети интриг и сплетен, а грязь пересудов заливала его дом.

Выведенный из терпения, Пушкин послал Геккерену крайне оскорбительное письмо, на которое тот ответил вызовом от имени Дантеса. Сделав решительный шаг, Пушкин, по свидетельствам современников, сразу же успокоился и стал весел. Ю. Лотман писал: «Пушкин знал, что он не камер-юнкер и не

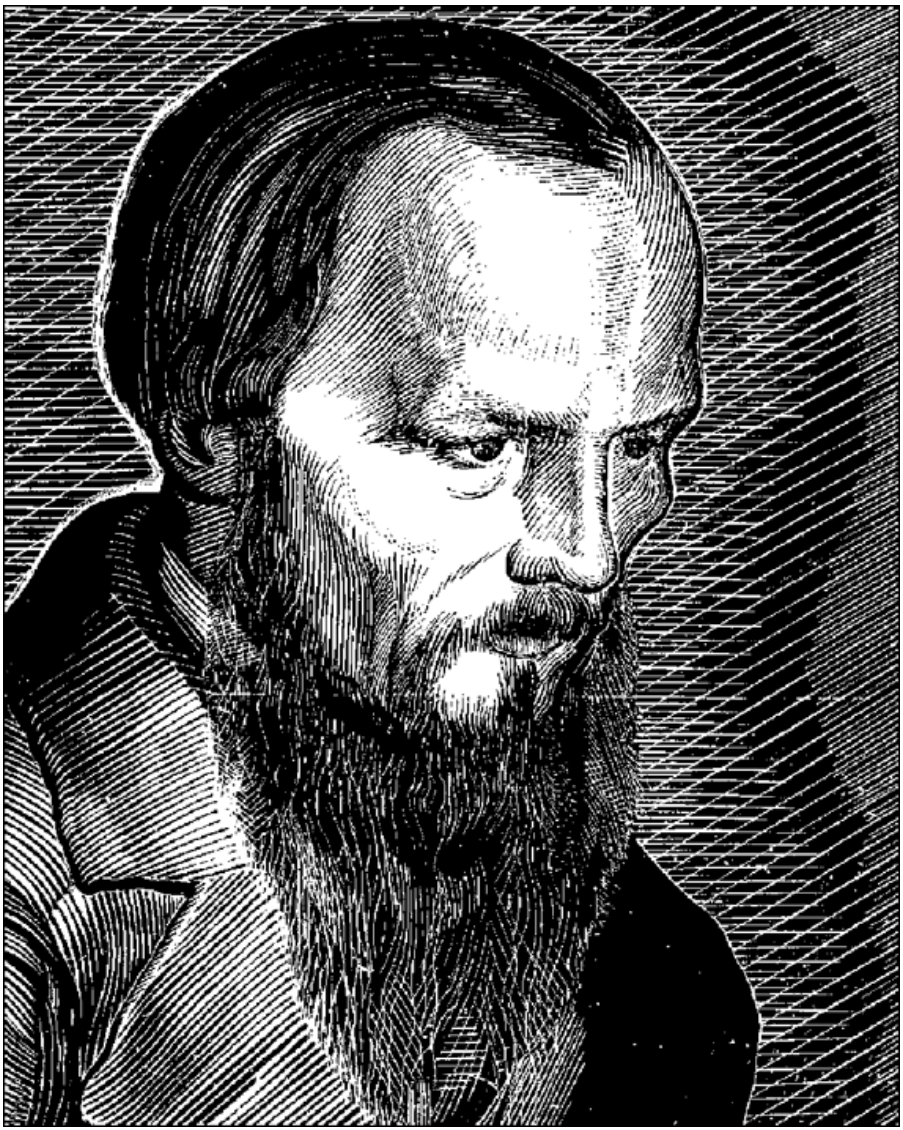
некрасивый муж известной красавицы, – он первый Поэт России и имя его принадлежит истории. Бросив на стол карту жизни и смерти, он этой страшной ценою вызвал духа Истории, который явился и все расставил по своим местам». Пушкин, будучи прекрасным стрелком, не собирался умирать. Он был полон планов и, отправляясь на дуэль, поэт заказывал детской писательнице А. О. Ишимовой переводы для «Современника» – это были последние строки, написанные его рукой.

27 января (10 февраля) 1837 года около 4 часов дня Пушкин со своим секундантом, лицейским другом Данзасом, отправился из кондитерской на углу Невского и Мойки на место дуэли. Дуэль произошла в 5-м часу вечера, на Черной речке, при секундантах: секретаре французского посольства д'Аршиаке (со стороны Дантеса) и лицейском товарище Пушкина, Данзасе. Дантес выстрелил первым и смертельно ранил Пушкина в правую сторону живота; Пушкин упал, но потом приподнялся на руку, подозвал Дантеса к барьеру, прицелился, выстрелил и закричал: «Браво!», когда увидал, что противник его упал.

Смертельно раненного поэта привезли домой. Он постарался узнать правду от докторов, послал к государю просить прощения для своего секунданта, исповедался, благословил детей, просил не мстить за него, простился с друзьями и книгами, и утешал, сколько мог, жену. 29 января 1837 года в 2 часа 45 минут Пушкин скончался. Он «…не испустил последнего вздоха, а уже сделалось ясно, что он родился для новой, легендарной жизни. Рана – а потом и смерть – Пушкина вызвала в Петербурге волнение, которого еще не знала столица. <…> Пушкин в какое-то мгновение, преображенный смертью, превратился в бронзовый памятник славы России» (Ю. Лотман).

У гроба Пушкина побывало неслыханное число людей. Жуковский осторожно назвал Бенкендорфу цифру 10 000 человек, но другие источники называют 20 000 и даже 50 000. Его отпевали в придворной конюшенной церкви, после чего тело поэта по личному приказу царя тайком было перевезено в Святогорский монастырь близ Михайловского и предано земле безо всяких почестей. Но Пушкину это было уже все равно: для него началась новая бессмертная жизнь в русской культуре. Прижизненная биография Пушкина закончилась, началась вторая, посмертная.

Достоевский Федор Михайлович



Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября 1821 года в Москве в патриархальной мещанской семье. Его отец – Михаил Андреевич – сын священника, вопреки воле отца ставший врачом, был хирургом в госпитале для бедных. Мать – Мария Федоровна, урожденная Нечаева – происходила из московского купечества. Кроме Федора, в семье было еще шестеро детей; больше всего он любил старшего брата Михаила, с которым они были погодки. Их дружба длилась многие десятилетия, до самой смерти Михаила. Достоевские жили при Мариинской больнице

для бедных в Марьиной роще, на московской окраине. Больница была построена в начале XIX века на месте «Убогого дома» – кладбища, где хоронили нищих, бродяг, преступников, самоубийц. Служители кладбища, под чьим призрением находились также дети-подкидыши, получили в народе имя «божедомов», от которого произошло название нескольких улиц. Больница была бесплатной, и в любое время суток там оказывали помощь неимущим.

Многие биографы подчеркивают очень скудные доходы семьи, деспотический и жестокий нрав отца, экзальтированность матери, вольно или невольно рисуя картину безрадостного и беспросветного детства будущего писателя. Однако не все так однозначно.

Михаил Андреевич Достоевский действительно был человеком сложным. Он все время твердил окружающим, что беден, что дети его, особенно мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими. Однако надо сказать, что Михаил Андреевич сильно преувеличивал – в 1831 году он приобрел село Даровое Каширского уезда Тульской губернии, в 1828 году получил потомственное дворянство, а в 1833 купил деревню Чермошню. Так что Достоевские, хотя и были небогаты и не могли позволить себе никаких излишеств, но всегда имели самое необходимое. Рассуждения о бедности были, скорее, вызваны не реальным положением вещей, а являлись частью программы семейного воспитания и следствием личностных особенностей Михаила Андреевича.

Строгий и требовательный к себе, Михаил Андреевич был еще строже и требовательнее к другим, доходя почти до деспотизма (в припадке гнева он жестоко избивал крепостных в своем имении); угрюмый, скупой, нервный, подозрительный и мнительный, он часто заставлял страдать свою семью. Михаил Андреевич безумно любил свою жену и был патологически ревнив, что доставило ей немало тягостных минут. На окружающих же он иногда производил впечатление помешанного.

Но в то же самое время Михаил Андреевич был прекрасным семьянином и в высшей степени просвещенным человеком (хотя нисколько не сочувствовал литературным устремлениям Федора и Михаила). Странный человек с маниакальными наклонностями, он был так «жесток» со своими детьми, что в век, когда главным средством воспитания были розги, не только никогда не применял к сыновьям и дочерям телесных наказаний, но даже не отдавал их в гимназию, поскольку там учеников пороли. В то же время, будучи необщительным и недоверчивым человеком, он,

боясь вольнодумства, стремился оградить семью от общения с внешним миром – семеро детей воспитывались в повиновении к старшим по заветам старины и редко выходили за стены больничного здания. Лето, правда, они проводили в Даровом, с матерью, где в отсутствие отца пользовались почти полной свободой.

Усадьба Даровое в Тульской губернии состояла из 260 десятин земли, куда входили сенные покосы, пахотная земля, лес, липовая роща, сад и сельцо из 20 дворов, 11 из которых принадлежало Достоевским. «Местность в нашей деревне была очень приятная и живописная. Маленький плетневый, связанный глиною на манер южных построек, флигелек для нашего приезда состоял из трех небольших комнаток и был расположен в липовой роще, довольно большой и тенистой. Роща эта через небольшое поле примыкала к березовому леску, очень густому и с довольно мрачною и дикою местностью, изрытою оврагами. Лесок этот назывался Брыково. <…> Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он назывался Фединою рощею…» – рассказывал один из братьев будущего писателя, Андрей.

В общем, вопрос о том, насколько беспросветной и мрачной была жизнь Федора, остается открытым. М. Гофман писал: «Биографы Достоевского всегда сгущали краски, когда говорили о детстве писателя, и особенно о его отце. Новейшие исследования о Достоевском стараются внушить мысль, что детство будущего писателя было исключительно тяжелое и несчастное из-за его отца, прототипа Федора Павловича Карамазова, и что Достоевский всю жизнь вспоминал с отвращением и свое детство, и виновника этого несчастного детства – своего отца». Эти сведения неверны.

Вдова Достоевского, Анна Григорьевна, говорила, что ее муж любил вспоминать о своем «счастливом и безмятежном детстве». Возможно, такой взгляд на детские годы несколько приукрашен писателем, но гораздо важнее не то, в какой атмосфере вырос Достоевский, а как он воспринимал ее. По этому поводу сам писатель говорил следующее: «Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным».

Да и в рассказе старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» о

своем детстве звучит отголосок ранних воспоминаний Достоевского: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценней воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе только чуть-чуть любовь и мир. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга, священная история с картинками, под названием: «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю». Это автобиографическая деталь: Достоевский действительно учился читать по «Ста четырем историям», и когда в 1870 году нашел у букиниста точно такую же книгу, очень обрадовался ей, купил и хранил как реликвию.

Для формирования юного Федора огромное значение имело то, что семья строго блюла каноны православия: религиозность Достоевских не испытала никаких сторонних и чуждых влияний, не поддалась модным в ту пору идеям французского Просвещения, сеявшим атеистические настроения. В то же время, в семье много читали и светской литературы: Карамзина, Жуковского, Пушкина, который на всю жизнь остался кумиром Достоевского. В. Розанов писал: «В течение всей жизни, с ранних лет, Достоевский хранил в себе какой-то особенный культ Пушкина; нет сомнения, что в натуре своей, тревожной, мятущейся, тоскливой, он не только не имел ничего родственного с спокойным и ясным Пушкиным, но и был как бы противоположением ему… Пушкин был для него успокоением; он любил его, как хранителя своего, как лучшего сберегателя от смущающих идей, позывов – всего, что он хотел бы согнать в темь небытия и никогда не мог».

Родители рано занялись обучением Федора. Сначала с ним занимались мать и дьякон одной из церквей. Затем он с братом Михаилом стал приходящим учеником в полупансионе Дракусова в Москве. В 1834 году мальчиков отдали в пансион Чермака, и они проводили дома лишь субботу и воскресенье.

В пансионе Федор не сближался с товарищами и дружил только со своим братом, много читал. Последний год учебы оказался трудным для Достоевского: 27 февраля умерла от чахотки его мать, к тому же он узнал о смерти Пушкина. Обе утраты были для него одинаково тяжелы. Он даже говорил брату,

что если бы уже не носил траура по матери, то просил бы у отца разрешения носить траур по Пушкину, настолько трепетным было его отношение к поэту.

В том же году для шестнадцатилетнего Федора Достоевского началась новая жизнь – ему пришлось переехать в Санкт-Петербург. В середине мая Михаил Андреевич привез в столицу двух своих старших сыновей; остальные дети – Варвара, Андрей, Вера, Николай и Александра – остались в Москве. Двух младших детей взяли на воспитание богатые родственники, а Михаила и Федора было решено определить на военную службу и отдать в Главное Инженерное училище. В этом учебном заведении, в котором насчитывалось 120 воспитанников, готовили военных инженеров для постройки крепостей на западной границе России. Выбор был не случаен – М. А. Достоевский хотел, чтобы его сыновья приобрели солидное положение и высокие чины, а из Инженерного училища вышли многие сановники и выдающиеся военные деятели. Именно надежда на блестящую карьеру детей побудила Михаила Андреевича поместить их именно в это учебное заведение. Однако писатель иначе смотрел на годы, проведенные в училище, считая свое определение туда ошибкой родителей, испортившей будущее его и Михаила.

По дороге из Москвы в Петербург произошло знаковое для Федора событие. На одной из дорожных станций: «…выскочил фельдъегерь, сбежал со ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, без всяких каких-нибудь слов, больно опустил кулак в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всех сил отхлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова…» «Мое первое личное оскорбление – лошадь, фельдъегерь», – так коротко написал об этом в черновиках к роману «Преступление и наказание», созданному несколько десятков лет спустя.

Прибыв в столицу, М. А. Достоевский поместил детей в приготовительный пансион К. Ф. Костомарова, выпускники которого славились хорошей выучкой. Братья писали отцу: «… воспитатель надеется на нас более, чем на всех восьмерых, которые у него приготовляются».

Несмотря на прекрасную подготовку, в училище попал только один из братьев. Главный доктор Инженерного училища признал крепыша Михаила чахоточным, а болезненного Федора – здоровым. Михаил Достоевский в июне 1838 года отправился

учиться в Ревель (нынешний Таллинн), и братьям, которые очень любили друг друга, пришлось надолго разлучиться.

Федор Достоевский был зачислен в училище 16 января 1838 года. Однокурсник Достоевского вспоминал позднее: «… кондукторская[37] рота Инженерного училища, где находился Ф. М. Достоевский, представляла собою, по своему внутреннему устройству совершенно отдельный мир… – это была особая корпорация молодых людей от 14 до 18 и более лет, у которых были свои предания, правила и обычаи. <…> Молодые люди щеголяли честностью, беспристрастием, уважением к личности и другими качествами человека, понимающего свои нравственные права и обязанности. Но при кажущемся равенстве… были юноши между ними, которые не имели в роте ни собственного голоса, ни каких-либо прав, принадлежавшим другим, старшим их товарищам… Был разряд кондукторов, которые не пользовались ни вниманием, ни расположением общества, – это те, которые случайно или с намерением нарушали традиционные обычаи роты. Все остальные составляли между собою дружную корпорацию…»

Федор Достоевский не следовал традициям роты, но тем не менее пользовался авторитетом. А. И. Савельев вспоминал: «Он настолько был непохожим на других его товарищей во всех поступках, наклонностях и привычках и таким оригинальным и своеобычным, что сначала все это казалось странным, ненатуральным и загадочным, что возбуждало любопытство и недоумение, но потом, когда это никому не вредило, то начальство и товарищи перестали обращать внимание на эти странности. Федор Михайлович вел себя скромно, строевые обязанности и учебные занятия исполнял безукоризненно, но был очень религиозен, исполняя усердно обязанности православного христианина. <…> Его прозвали монахом Фотием. Невозмутимый и спокойный по природе, Федор Михайлович казался равнодушным к удовольствиям и развлечениям его товарищей; его нельзя было видеть ни в танцах, которые бывали в училище каждую неделю, ни в играх в «загонки, бары, городки», ни в хоре певчих. Впрочем, он принимал живое участие во многом, что интересовало остальных кондукторов, его товарищей. Его скоро полюбили и часто следовали его совету или мнению».

Под предлогом нездоровья Достоевский часто оставался в спальне, занимаясь чтением, или гулял по комнате, всегда с опущенной головой и сложенными за спиной руками. Он часто читал и делал записи по ночам, что вызывало замечания дежурных офицеров; они отправляли его в постель, но через

некоторое время кондуктор Достоевский снова сидел у своего столика за книгой. Так он прочел всего Гофмана, почти всего Бальзака, Гете, Гюго, Гомера, Шекспира. Некоторые соученики называли Достоевского чудаком, мистиком и идеалистом, но, в общем, уважали за образованность, твердый характер и чувство собственного достоинства.

В то же время Федор начал сочинять: он работал над историческими драмами «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». Многие курсанты училища запомнили «вдохновенные рассказы» Достоевского. Он всегда говорил тихо и медленно, голос его звучал глухо из-за перенесенной в детстве болезни горла, но у него был врожденный дар декламации: «Уже далеко за полночь, все мы сильно уставшие, а Достоевский стоит, схватившись за половинку двери, и говорит с каким-то нервным воодушевлением; глухой, совершенно грудной звук его голоса наэлектризован, и мы прикованы к рассказчику», – так описывал те вечера Д. В. Григорович {50} – один из немногих друзей Достоевского (впоследствии Тургенев назвал Григоровича «бессердечным мелким сплетником», такого же мнения придерживался и Некрасов).

Особое место среди знакомцев будущего писателя занимал И. Н. Шидловский, с которым он познакомился в Петербурге весной 1837 года. Шидловский был старше Достоевского на пять лет, окончил университет, служил, сочинял стихи, увлекался разными литературными течениями. В нем, по словам Достоевского, мирилась бездна противоречий, он имел громадный ум и талант, который так и не смог реализовать (остальные знакомые Шидловского придерживались иного мнения, считая его единственным интеллектуальным достоинством хорошую память). Их дружба прервалась, когда Шидловский, став сановником, неожиданно оставил службу и уехал в свое имение в Харьковскую губернию. Там он окунулся в историческую науку и принялся писать какой-то труд, который, впрочем, быстро забросил. В пятидесятые годы он ушел в монастырь, но вскоре покинул его и по совету какого-то старца уехал в деревню, чтобы «жить в миру». Не снимая монашеской рясы, он до самой смерти жил в деревне, то являясь перед народом с горячими призывами искать спасение в вере, то страшно напивался и принимался богохульствовать. Достоевский рассказывал, что Шидловский был даже в Сибири на каторге, после чего сделал себе кольцо из железа своих кандалов и носил его, не снимая.

С этим-то человеком Достоевский сошелся довольно близко и часто бродил с ним по улицам Петербурга, уже тогда мечтая написать роман о городе и его жителях.

Поглощенный своей внутренней жизнью и литературными замыслами, Достоевский в то же время был старательным учеником и пунктуально следовал училищному режиму. Однако осенью 1838 года, несмотря на успешную сдачу экзаменов (в том числе и по математике), Федор был оставлен на второй год из-за мстительности преподавателя алгебры. Юноша нагрубил преподавателю во время одного из занятий, и «математик» оставил его на второй год, не постеснявшись объявить истинную причину своего решения.

Вообще училище утомляло Достоевского. Его подавляла муштра, участие в бесконечных смотрах, парадах. «Во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке как Ф. М. Достоевский, – писал позднее художник Трутовский. – Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье – все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили».

Особенно мучительно было Федору осознавать свою бедность – он жил в среде хорошо обеспеченных воспитанников, и когда случалось, что у него не было денег отправить письмо или купить чая и сахару, его самолюбие очень страдало. Сын лекаря и внук деревенского священника, новоиспеченный дворянин – он боялся не столько нужды, сколько мнения окружающих. Правда, М. А. Достоевский получил в 1827 году чин коллежского асессора, дававший право владения землей и крепостными, был записан в дворянскую книгу Московской губернии, но в среде богатой и родовитой молодежи его сын чувствовал себя неуютно. Это чувство усугубилось после смерти отца, когда Федор остался круглым сиротой.

8 июня 1839 года, по дороге из своего имения в Москву, М. А. Достоевский был задушен в собственной карете крепостными, которые больше не могли выносить его жестокости и издевательств. Смерть отца стала большим горем для детей, и именно тогда, по семейному преданию, у Федора случился первый приступ эпилепсии.

В августе 1841 года Достоевский перешел в «офицерский класс» и был произведен в чин инженер-прапорщика. Он должен был еще два года посещать Инженерное училище, но уже как приходящий слушатель. 30 июня 1843 года «полный курс наук в верхнем офицерском классе» был завершен. Достоевский окончил училище третьим.

12 августа того же года его зачислили на очень скромный пост в инженерный корпус при Санкт-Петербургской инженерной команде «с употреблением при чертежной Инженерного

департамента». Достоевскому поручили работу по полевой картографии, и вскоре ему предстояла продолжительная командировка в одну из дальних крепостей. Однако отъезд из Петербурга казался молодому человеку крушением надежд на писательскую деятельность, да и «служба надоела как картофель». Он начал хлопотать об отставке, и 19 августа 1844 года его уволили со службы «по домашним обстоятельствам». Достоевский остался в Петербурге и полностью погрузился в литературную работу.

Начинающий писатель сменил в Петербурге множество квартир, и почти все они были в угловых домах. В такие же дома он поселял и героев своих произведений. Никакого объяснения этому предпочтению писатель не оставил, но хранил ему верность до конца жизни. Дома, в которых жил Достоевский, почти всегда находились невдалеке от какой-нибудь церкви, что имело для него большое значение. Почти четыре года (с 1842 по 1845) писатель жил в квартире на углу Владимирского проспекта и Графской улицы (ныне ул. Марии Ульяновой). Меблирована была только одна комната из трех: в ней стояли несколько стульев и потертый диван. Повсюду лежали книги и исписанные листы бумаги. Другие комнаты были пусты, но писатель все же снял квартиру, слишком дорогую и большую для себя, так она ему понравилась. Кроме того, хозяин дома не беспокоил своего квартиранта постоянными напоминаниями об оплате.

Бюджет Достоевского в то время состоял из жалованья и денег, получаемых от опекуна (после смерти отца Федор отказался от земли в Даровом и получал свою часть наследства деньгами) – всего около пяти тысяч рублей ассигнациями в год. По тем временам это была немалая сумма, но нерасчетливый и увлекающийся Достоевский не умел распределять эти деньги: он мог потратить в одночасье сумму, достаточную для того, чтобы прожить несколько месяцев, став завсегдатаем театров, кофеен, офицерских пирушек. Кроме того, его постоянно обсчитывали и обкрадывали и булочник, приносивший ему хлеб, и прачка, и сапожник, и денщик. На замечания знакомых Достоевский обыкновенно отвечал: «Пусть обкрадывают, не разорюсь», а сам занимал деньги у ростовщиков под огромные проценты, сидел на хлебе и молоке, которые отпускались ему в долг.

Когда ситуация стала совсем невыносимой, Михаил Достоевский попросил своего приятеля – молодого врача А. Ризенкампфа – поселиться вместе с ним, чтобы контролировать его расходы. Однако это не только не помогло, но и усугубило финансовое положение писателя. Ризенкампф открыл практику на квартире, но клиентура начинающего врача состояла, в

основном, из бедняков. Каждого приходящего Достоевский встречал как дорогого гостя, поил чаем, приглашал к столу, оплачивая все расходы из собственного кармана. В конце концов, некоторые из пациентов стали приходить к нему столоваться. Достоевский подолгу беседовал с посетителями, кое-что записывал – эти разговоры легли в основу первых произведений – «Бедные люди», «Неточка Незванова», «Двойник».

После отъезда Ризенкампфа с Достоевским поселился его друг Дмитрий Григорович, который, не закончив Инженерное училище, поступил в Академию художеств, но оставил и ее и посвятил себя литературе. Более двух лет, с 1844 по 1846 год они прожили вместе. В ту пору Григорович уже был известен как писатель, его работы публиковались.

В 1845 году Достоевский переводил роман Бальзака «Евгения Гранде». Бальзак был любимым писателем друзей, а его главная тема – губительная власть денег – впоследствии стала одной из ведущих и в творчестве Достоевского. Закончив свой труд, молодой человек с наивной гордостью писал брату: «Чудо! Чудо! Перевод бесподобный!» Знаменитый роман увидел свет в июне-июле 1844 года в журнале «Репертуар и Пантеон». Это была первая публикация Достоевского.

Более десяти месяцев работал он и над романом «Бедные люди», пять раз переделывая его. «Целые дни и часть ночи, – рассказывал Д. Григорович, – Достоевский просиживал за письменным столом. Он ни слова не говорил о том, что пишет. <…> Усиленная работа и упорное сидение крайне вредно действовали на его здоровье». Никогда потом Ф. М. Достоевский так тщательно не отделывал свои произведения. Ему часто приходилось работать «на заказ», с большой поспешностью «из куска хлеба» (однажды он за одну ночь написал рассказ «Роман в девяти письмах»).

И вот «Бедные люди» были окончены. Летним утром 1845 года Достоевский позвал соседа к себе в комнату. «Садись-ка, Григорович, вчера только переписал, хочу прочесть тебе, садись и не перебивай». Григорович был потрясен услышанным и стал уговаривать друга немедленно показать «Бедных людей» Н. А. Некрасову, издававшему в то время альманах «Физиология Петербурга». Он чуть ли не силой отнял у Достоевского рукопись и отправился с ней к поэту. Войдя в квартиру Некрасова, Григорович объявил, что принес новое замечательное произведение. Некрасов, опытный издатель, встретил это сообщение скептически. Григорович усадил его в кресло и попросил выслушать хотя бы десять страниц – а там видно будет. Так и просидели до утра, читая по очереди вслух, после чего

Григорович стал уговаривать поэта немедленно идти к Достоевскому, поздравить с успехом и договориться о включении «Бедных людей» в готовящийся альманах «Петербургский сборник»[38].

Около четырех часов утра в квартире в Графском переулке раздался звонок. Достоевский открыл двери, и… «Григорович и Некрасов, – вспоминал позднее писатель, – бросаются обнимать меня в совершенном восторге, и оба сами чуть не плачут». Григорович же отправился разносить счастливую новость по Петербургу, рассказывая всем и каждому о том, какой удивительный талант он открыл.

В тот же день Некрасов сам отнес рукопись Белинскому. «Новый Гоголь явился!» – провозгласил он с порога. «У вас Гоголи-то как грибы растут» – съязвил критик, но оставил рукопись у себя. Вечером Некрасов зашел узнать о впечатлении, которое произвели «Бедные люди». Белинский был в волнении и требовал немедленно познакомить его с автором: «Давайте мне Достоевского! Приведите, приведите его скорее».

«Это – роман начинающего таланта, каков этот господин с виду и каков объем его мысли – еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него не снились никому», – говорил он П. Анненкову.

И вот свершилось – Достоевского привели к Белинскому. Так началась их дружба, а Достоевский попал в литературные круги Петербурга. После знакомства с писателем восторг критика только возрос, ему все нравилось в Достоевском – и странная внешность, и маленький рост, и неловкое поведение. «Он видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих», – объяснял пылкость Белинского писатель. И действительно, Белинский увидел в «Бедных людях» то, что сам хотел – первый социальный роман, вскрывающий язвы общества.

Достоевский прославился в одночасье, все восторгались им. «И неужели вправду я так велик? – стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге», – вспоминал перед смертью свой первый триумф Федор Михайлович. Все стремились заполучить Достоевского к себе в салоны, на литературные вечера, поговорить с ним, высказать свое восхищение – немудрено, что неуравновешенный, болезненный, с зачатками падучей писатель не справился со своей славой.

Он, по мнению окружающих, безмерно возгордился, стал неудержимым бахвалом. На самом же деле развилось то болезненное тщеславие, которое всегда жило в нем. «Эх, самолюбие мое расхлесталось!» – жаловался он брату Мише. Но совладать с этим пороком (так Достоевский сам называл свое

честолюбие) он не мог. Все видели, что писатель «зазнался», но никто не был свидетелем тех минут мучительного недоверия к себе, которые следовали сразу же за приступами самовосхваления.

С мая 1845 года Достоевский стал бывать на квартире у Белинского, вошел в круг его общения. Они много спорили, особенно на религиозные темы: критик был последовательным атеистом, а Достоевский не мог принять это, в особенности в период, когда его провозгласили чуть ли не мессией.

Благодаря Белинскому Федор Михайлович познакомился с Панаевыми – это произошло 15 ноября 1845 года. «Вчера я первый раз был у Панаева, – писал Достоевский. – И кажется, влюбился в его жену». Увлечение Авдотьей Панаевой было недолгим, но глубоким; позднее Достоевский наделил ее чертами сестру Раскольникова из романа «Преступление и наказание» (тоже Авдотью), а отдельные черты ее характера и внешности отразились в образе Настасьи Филипповны в романе «Идиот».

Еще до выхода в свет «Бедных людей» Достоевский начал работу над повестью «Двойник» и закончил ее очень быстро, за полгода. Повесть была опубликована 1 февраля 1846 года в журнале «Отечественные записки». Закончив работу над «Двойником», Достоевский решил, что повесть «удалась ему донельзя», но вскоре разочаровался в своем произведении и до конца жизни продолжал считать, что это «вещь совсем неудавшаяся».

В начале 1846 года писатель сменил квартиру, переехал в меблированные комнаты невдалеке от Владимирской площади, чтобы жить «простейшим образом», и оставался там до весны (спустя много лет писатель вновь поселился в этом доме). Весной он работал над повестью «Господин Прохарчин», повторившей судьбу «Двойника». Это еще одна история из жизни мелкого чиновника, которая перед выходом в печать была сильно искажена цензурой (в частности, запрещено было употреблять слово «чиновник»). Свою лепту в то, что повесть была холодно встречена публикой, внесла и спешка, в которой работал писатель.

Летом 1846 года Достоевский написал повесть «Хозяйка», оценив ее как несомненную удачу, но читатели повесть не приняли. Белинский также крайне резко критиковал ее. Он отстаивал необходимость социальной направленности искусства, в то время как Достоевский считал «служебные» функции творчества обременительными и всячески уходил от идеологических оценок, столь популярных в литературе того времени.

Писателя активно критиковали сторонники Белинского, Некрасов сделал его основной мишенью своих язвительных шуток, и это донельзя раздражало Достоевского. Он болезненно реагировал на нападки, что сделало его постоянным объектом для насмешек, а это, разумеется, еще больше усиливало раздражение писателя. Кроме того, Достоевский совершал действительно странные поступки, вызывавшие язвительные усмешки его знакомых: так, он требовал у издателей, чтобы его произведения выделялись особо, обводились золотой рамочкой и т. п.

В общем, кружок Белинского (который состоял не только из выдающихся умов своего времени, но и из вполне заурядных людей) избрал Достоевского мишенью своих насмешек. Над ним потешались, сочиняли пасквили, эпиграммы, анекдоты, рисовали карикатуры; особенно забавной казалась болезненная нервность писателя, припадки эпилепсии, которые могли случиться с ним во время бала или литературного вечера.

Достоевский стремительно «выходил из моды», переставал быть звездой салонов, дорогим гостем. Панаев в одном из своих пасквилей писал: «Кумирчик наш стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт… Бедный! Мы погубили его, мы сделали его смешным!» Забавно читать эти слова сегодня, через сто пятьдесят лет после описываемых событий, когда Достоевский стал одним из столпов мировой литературы, а имя Панаева известно только потому, что писатель был влюблен в его жену.

Достоевский тяжело переживал разногласия с Белинским и его кружком: писатель ссорился с его гостями, порвал с Некрасовым, но не желал разрушать отношения с самим критиком. Тем не менее, открытый конфликт стал неизбежен. Между писателем и критиком произошла размолвка по поводу «идей о литературе и о направлении в литературе», а кроме того, Достоевский не мог больше переносить воинствующий атеизм Белинского. Казалось, между писателем и критиком не осталось никаких теплых чувств, но когда 28 мая 1848 года Виссарион Белинский скончался и Достоевский узнал об этом, с ним приключился тяжелейший припадок эпилепсии.

До конца 1846 года писатель сменил еще несколько жилищ и, наконец, осел на Васильевском острове в квартире с братьями Бекетовыми. Молодые люди организовали своеобразную коммуну. Они сообща снимали жилье, вели общее хозяйство, обедали вскладчину, внося в общую кассу по 35 рублей серебром в месяц. Все это они называли «Ассоциацией» в духе идей утопического социализма {51}.

Кроме Достоевского в ассоциацию входили соученик писателя по Инженерному училищу Алексей Бекетов, его младший брат Николай {52} – студент Петербургского университета, впоследствии выдающийся физик и химик. На собраниях «коммуны» бывал и средний из братьев Бекетовых – Андрей {53}, сначала поступивший на военную службу, а затем, в 1849 году, окончивший Казанский университет и ставший впоследствии крупным русским ботаником, ректором Петербургского университета. Участниками кружка были также литераторы А. Н. Плещеев {54}, Д. В. Григорович, Аполлон Майков {55}, врач С. Д. Яновский и некоторые другие.

К С. Д. Яновскому Достоевский стал часто обращаться за консультацией, а потом сдружился с ним. Яновский оставил воспоминания о Достоевском, более похожие, впрочем, на историю болезни, которые явились важным источником сведений о состоянии здоровья писателя и помогли многим исследователям лучше понять особенности его творчества.

Сближение с братьями Бекетовыми оказалось благотворным для Ф. М. Достоевского. Дружеская атмосфера «общежития» помогла молодому писателю пережить литературные неудачи, травлю писательского «бомонда», тяжесть разрыва с кругом журнала «Современник», с Белинским. После отъезда братьев Бекетовых в Казань в 1847 году «Ассоциация» распалась, а отдельные ее члены – в том числе и Федор Михайлович – сблизились с кружком петрашевцев.

С титулярным советником М. В. Буташевичем-Петрашевским Достоевский познакомился случайно. Они впервые встретились весной 1846 года в одной из столичных кондитерских, куда писатель зашел с Плещеевым посмотреть свежие газеты. Петрашевский оказался знаком с Плещеевым, они некоторое время поговорили, а потом Михаил Васильевич поинтересовался у Достоевского сюжетом его новой повести. «Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство, – писал об этой встрече Достоевский. – Мне показался он очень оригинальным человеком… Я заметил его начитанность, знания. Пошел я к нему в первый раз около поста 1847 года».

Петрашевский жил на тихой окраине Петербурга, в Коломне, куда по Гоголю «переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомства с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару, и наконец весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный; людей,

которые своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость».

Домик титулярного советника М. В. Буташевича-Петрашевского, где проходили собрания кружка, «был деревянным, маленьким, типичным домиком старой Коломны; наверху крыши шел резной конек, резьба была и под окнами; на улицу выходило крылечко с покосившимися от времени ступеньками, лестница в два марша вела во второй этаж; ступеньки дрожали и скрипели и вызывали невольную боязнь – да выдержит ли лестница тяжесть поднимающегося по ней? Только в особенных случаях, по вечерам, лестница освещалась вонючим ночником, в котором коптело и чадило конопляное масло».

По происхождению Петрашевский был дворянином и помещиком, однако еще подростком, когда учился в Александровском лицее, был замечен в вольнодумстве. По окончании лицея он посещал лекции юридического факультета Петербургского университета, увлекся идеями утопического социализма. Вслед за Фурье {56} и Сен-Симоном {57} он отвергал идею революционных действий, а своей цели хотел достигнуть главным образом методом убеждения «сильных мира сего». Ему казалось, что наилучшим устройством общества будет его разбиение на «фаланги» – идеальные ячейки, каждая из которых должна размещаться в особом здании (фаланстере) с жилыми помещениями, столовыми, библиотеками, мастерскими. Он даже попытался устроить такой фаланстер для крестьян своего имения. Фаланстер был возведен зимой 1847/48 года, а накануне заселения сожжен крестьянами со всей утварью и надворными постройками.

В 1840 году девятнадцатилетний Петрашевский начал работу над рукописью «Мои афоризмы или обрывочные понятия обо всем, мною самим порожденные», в которой размышлял о политике, демократии, свободе печати, веротерпимости и т. д. С этого же года он служил переводчиком в департаменте внутренних сношений министерства иностранных дел. Как переводчик он участвовал в судебных процессах над иностранцами, описывал выморочное имущество, прежде всего библиотеки. Пользуясь этим, он выбирал оттуда все запрещенные иностранные издания, заменяя их другими и пополняя свои запасы книг. Книги он давал знакомым, не исключая членов купеческой и мещанской управ, а также городской думы, в которой состоял гласным.

По словам П. Семенова-Тян-Шанского, Петрашевский

представлял собой «прирожденного агитатора… Стремился он для целей пропаганды сделаться учителем в военно-учебных заведениях». Как-то, пытаясь устроиться учителем, он представил список из одиннадцати предметов, которые мог бы преподавать. «Когда же его допустили к испытанию в одном из них, он начал свою лекцию словами: "На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения", и действительно изложил все двадцать, но в учителя принят не был».

Петрашевский отличался склонностью к эпатажу: «…не говоря уже о строго преследовавшихся в то время длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами, стараясь обратить на себя внимание публики, которую он привлекал всячески, например, пусканием фейерверков, раздачею книжек. Один раз он пришел в Казанский собор переодетый в женское платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся, но его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на него внимание соседей, и когда наконец подошел к нему квартальный надзиратель со словами: "Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина", он ответил ему: "Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина". Квартальный смутился, а Петрашевский воспользовался этим, чтобы исчезнуть в толпе, и уехал домой».

Таков был человек, у которого зимой 1845 года, по пятницам стали собираться сторонники учения французских социалистов-утопистов, уничтожения крепостного права и установления республиканского строя в России. Кружок посещали многие, и среди них Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Плещеев, В. Н. Майков. На собраниях обсуждались проекты освобождения крестьян, введения открытого судопроизводства, проблема свободы печати. Так возник кружок петрашевцев, который через несколько лет стал объектом жестокой расправы государства.

Одной из самых ярких страниц деятельности кружка Петрашевского было издание «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». В слове от издателя пояснялось: "Словарь" – это «не что иное, как краткая энциклопедия искусств и наук, или, вернее сказать, краткая энциклопедия понятий, внесенных к нам европейской образованностью». Всего словарь толковал 4000 слов, среди них «материализм», «мораль», «натуральное право», «национальность» и т. д.

А. И. Герцен считал, что «словарем петрашевцы удивили всю

Россию». Руководитель сыска И. П. Липранди, тринадцать месяцев следивший за кружком Петрашевского, писал о «Словаре»: «В нем… с неслыханной на русском языке дерзостью, обнаруживающей предположенную и обдуманную цель – разрушение существующего порядка, велась пропаганда идей коммунизма, социализма, фурьеризма и всевозможно вредных других учений».

В апреле 1846 года двухтысячным тиражом вышел в свет второй выпуск «Словаря» с посвящением брату царя великому князю Михаилу Павловичу. Однако эта уловка не спасла издание: через несколько дней все экземпляры (кроме 345, уже проданных) были конфискованы и, спустя несколько лет, сожжены.

Войдя в кружок петрашевцев, Ф. М. Достоевский стал много размышлять о «мечтателях», считая бездеятельность главным пороком передовых людей сороковых годов, в том числе и большинства петрашевцев. Но «это был только спор, – как говорил Достоевский, – который начался один раз, чтобы никогда не кончиться». Он написал повесть «Белые ночи», где выведен тип «мечтателя» – человека, которому здания интереснее и понятнее, чем живые люди, который, по сути, неспособен к общению с живыми людьми, а тем более к активным действиям. Тема мечтательности стала ключевой и в романе «Неточка Незванова», который Достоевский в силу внешних обстоятельств не закончил. Обстоятельства были следующие: арест и смертный приговор.

В 1848–1849 годах квартира Петрашевского превратилась в политический клуб, в котором обсуждались идеи социалистов-утопистов. Не все участники кружка верили в возможность их реализации. Достоевский, к примеру, считал, что все эти теории не смогут повлиять на дальнейшее развитие России и что нужно обращаться не к западным учениям, а к вековому укладу жизни русского народа.

Одним из активных петрашевцев был Н. Спешнев – богатый помещик, выходец из Курской губернии. Он несколько лет прожил за границей, а летом 1846 года, «проникнутый коммунистическими идеями», возвратился в Россию. Крестьянская революция, по его мнению, была единственным средством «низвержения» самодержавия, и он решил создать тайное общество для подготовки восстания и объявить себя главой партии коммунистов.

В начале 1849 года Спешнев возглавил леворадикальную группировку петрашевцев, склонную к самым решительным действиям и ставящую себе целью осуществить государственный переворот. В эту группу, отделившуюся от остального кружка, входил и Ф. М. Достоевский.

В это время начались обыски – Николай I был обеспокоен революционными настроениями молодежи, и петрашевцы попали под наблюдение. Правительство решило на одном, но показательном примере раз и навсегда продемонстрировать, что новый революционный подъем в России невозможен. Для «показательной порки» были избраны петрашевцы.

В кружок был заслан провокатор, П. Д. Антонелли. Он был определен в департамент внутренних сношений министерства иностранных дел, где служил Петрашевский, сумел войти к нему в доверие, стал бывать на собраниях. Петрашевский даже привлек его к изданию «Карманного словаря». Антонелли, разумеется, доносил обо всем виденном и слышанном, рассказывал об участниках кружка. Слежка продолжалась тринадцать месяцев, и 21 апреля 1849 года шеф жандармов граф Орлов представил царю полный доклад о деятельности кружка. Резолюция Николая I гласила: «Я все прочел; дело важное… оно в высшей степени преступно и нестерпимо… Приступить к арестованию… С Богом! да будет воля Его».

В ночь с 23-го на 24 апреля начались повальные аресты. В списке лиц, которых должны были арестовать, выделялась фамилия Достоевского, около нее стояла пометка, подчеркнутая красным карандашом: «Один из важнейших». 22 апреля, в третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии за № 675 с грифом «Секретно» было оформлено предписание о его аресте:

> «Г. майору С.-Петербургского жандармского дивизиона Чудинову.
>
> По высочайшему повелению предписываю вашему благородию завтра, в четыре часа пополуночи, арестовать отставного инженер-поручика и литератора Федора Михайловича Достоевского, живущего на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта, в доме Шиля, в третьем этаже, в квартире Бремера; опечатать все его бумаги и книги, оные вместе с Достоевским доставить в третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
>
> При сем случае вы должны строго наблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было скрыто. Случиться может, что вы найдете у Достоевского большое количество бумаг и книг, так что будет невозможно сейчас их доставить в третье отделение, в таком случае

вы обязаны то и другое сложить в одной из двух комнат, смотря как укажет необходимость, и комнаты те запечатать, а самого Достоевского немедленно представить в третье отделение.

Ежели при опечатании бумаг и книг Достоевского он будет указывать, что некоторые из оных принадлежат другому какому-либо лицу, то не обращать на таковое указание внимания, и оные также опечатать.

Употребить наистрожайшую бдительность под личною вашею ответственностью.

Г. Начальник штаба корпуса жандармов генерал-лейтенант Дубельт сделает распоряжение, чтобы при вас находились: офицер С.-Петербургской полиции и необходимое число жандармов.

Генерал-адъютант граф Орлов».

В 1860 году, вернувшись после каторги в Петербург, Достоевский так описал свой арест: «…я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатический голос: «Вставайте!» Смотрю – квартальный или частный пристав с красивыми бакенбардами. Но говорил не он, говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

– Что случилось? – спросил я, привставая с кровати.

– «По повелению…»

Смотрю, действительно: «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля…

– Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с, – прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; не много нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности: он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, встал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом, со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было. На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и, наконец, кивнул подполковнику.

– Уж не фальшивый ли? – спросил я.

– Гм… Это, однако же, надо исследовать… – бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу.

Мы вышли, нас провожала испуганная хозяйка и человек ее, Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какой-то тупой торжественностью, приличною событию, впрочем торжественностью не праздничною. <…> «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – сказал мне кто-то на ухо. 23 апреля действительно был Юрьев день…»

Всего в ночь на 23 апреля арестовали тридцать четыре человека, по делу которых была назначена «Секретная следственная комиссия». Сначала арестованные находились в тюрьме Третьего жандармского отделения, а через два дня их перевели в Петропавловскую крепость. Ф. М. Достоевского и еще пятнадцать человек поместили в одиночные камеры тюрьмы «Секретного дома» Алексеевского равелина – одного из самых мрачных застенков крепости. Заключенным не давали мыться, практически не кормили, лишали сна.

Достоевский провел в камерах «Секретного дома» (сначала он был помещен в камеру № 9, а после переведен в камеру № 7) восемь месяцев. В первые два месяца ему не разрешали заниматься ничем, а потом было позволено писать и читать. На прогулку выпускали на четверть часа, одного, без товарищей, он гулял «в саду, в котором почти семнадцать деревьев. И это для меня целое счастье» (из письма к брату Михаилу).

Когда Достоевский сидел в крепости, в «Отечественных записках» было напечатано продолжение «Неточки Незвановой», «рассмотренное и дозволенное» цензурой. По ходатайству издателя, повесть было разрешено оставить в журнале с тем, однако, чтобы подпись автора была снята. Достоевский так и не завершил «Неточку Незванову».

К следствию по делу петрашевцев было привлечено около 280 человек. Император настаивал: «Пусть посадят половину жителей столицы, но пусть отыщут нити заговора». Члены комиссии называли Достоевского «умным, независимым, хитрым, сильным, упрямым». Один из членов следственной комиссии говорил ему: «Я не могу поверить, чтобы человек, написавший "Бедных людей", был заодно с этими порочными людьми. Это невозможно! Вы мало замешаны, и я уполномочен от имени государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать все дело». Достоевский молчал.

Он вспоминал много лет спустя: «Когда я отправился в Сибирь, у меня, по крайней мере, оставалось одно утешение, что я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других

и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других…»

Следствие продолжалось до 17 сентября 1849 года, когда следователи подписали доклад царю, и дело перешло в руки военно-судной комиссии. Суд над петрашевцами начался 30 сентября и закончился 16 ноября. 21 человек из 23 подсудимых был приговорен к «смертной казни расстрелянием».

Приговор Достоевскому гласил: «Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Момбелли. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». А потому Военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева – лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Даже по законам того времени состав преступления никак не соответствовал наказанию. Петрашевцы стали объектом показательной расправы, причем император лично утвердил церемонию казни. Он выбрал место, указал, какие воинские подразделения должны его окружить, сколько столбов врыть, когда и какие саваны надеть на осужденных. Все было предусмотрено до мельчайших подробностей. Даже указал путь, каким надлежало везти петрашевцев из крепости.

22 декабря 1849 года в половине седьмого утра к оберкомендантскому дому Петропавловской крепости подъехали кареты в сопровождении отрядов конной жандармерии. Узников рассаживали в двухместные кареты, с каждым осужденным садился солдат. Кареты с приговоренными двинулись к казармам лейб-гвардии Семеновского полка: «Прохожие шли и останавливались, увидев перед собою небывалое зрелище – быстрый поезд экипажей, окруженный со всех сторон скачущими жандармами с саблями наголо!»

Семеновский плац был окружен солдатами, построенными в каре. На нем стоял эшафот, возле которого в землю были врыты три столба. Петрашевцы, выпущенные из карет, встретились впервые после долгих месяцев одиночного заточения.

Вскоре появился чиновник со списком в руках и, читая, стал

называть каждого по фамилии. Осужденных повели на эшафот вдоль сомкнутых рядов войск. Это было сделано не случайно: на площади стояли те полки, офицеры которых входили в число петрашевцев.

Наконец, осужденные взошли на плаху, и их выстроили в два ряда. Вновь появился чиновник со списком и стал зачитывать приговор каждому в отдельности. Чтение продолжалось более получаса, и петрашевцы жестоко страдали от холода. Каждый приговор завершался словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни – расстрелянием, и 19-го сего декабря государь император собственноручно написал: "Быть по сему"». Когда чиновник сошел с эшафота, на осужденных стали надевать белые балахоны – саваны с капюшонами.

«Мы, петрашевцы, – вспоминал Достоевский, – стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать за всех, но по крайней мере чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений». Сам он тем временем успел пересказать одному из своих товарищей сюжет повести «Маленький герой», написанной им в крепости.

Петрашевского и еще двух человек солдаты взяли за руки, свели с эшафота и стали привязывать к столбам. Каждому связали руки за спиной, поверх веревки затянули ремни. Было отдано приказание: «Колпаки надвинуть на глаза!» Петрашевский нашел в себе силы пошутить: «Подымите ноги выше, а то с насморком придете в царство небесное». Раздалась команда, и шестнадцать солдат направили ружья на смертников.

«Я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты…» – рассказывал Ф. М. Достоевский впоследствии. Но вдруг раздался барабанный бой. Солдаты подняли стволы ружей, приговоренных отвязали от столбов и снова ввели на эшафот. К месту казни подъехал экипаж, из которого вышел флигель-адъютант Ростовцев с рескриптом о помиловании и возвестил о «милости» царя.

Петрашевский вместо смертной казни приговаривался к каторжным работам в рудниках без срока; Достоевский – к четырем годам каторги и к неограниченному сроку службы рядовым в дисциплинарном батальоне; тяжкие наказания понесли и другие участники кружка. Все осужденные, кроме двух, лишались прав состояния.

«Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное?» – задавался вопросом Достоевский. Всю жизнь он помнил это утро и ощущения человека, приговоренного к смерти, а через много лет воссоздал эту картину в романе «Идиот».

После оглашения окончательного приговора Петрашевского отправили на каторгу прямо с Семеновского плаца. В декабре 1886 года он умер в селе Вельском Енисейского округа. Остальные осужденные были доставлены в Петропавловскую крепость, и уже оттуда их развезли по другим крепостям и сибирским острогам.

Федор писал из крепости старшему брату в тот же день: «Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю, через четыре года будет возможность. Я перешлю тебе все, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках». Достоевский не мог писать почти десять лет.

В ночь с 24 на 25 декабря писатель был отправлен в Тобольск. 23 января 1850 года Ф. М. Достоевский прибыл в Омский каторжный острог; 19 июня его имя было внесено в список государственных преступников, отбывающих там наказание. Сохранилась запись, где под графой «Федор Достоевский, 28 лет» значится вопрос: «Какое знает мастерство и умеет ли грамоте?» – и ответ: «Чернорабочий; грамоте знает».

Николай I приказал, чтобы Достоевский «в полном смысле слова был арестантом», чтобы он содержался в остроге «без всякого снисхождения». Так и произошло. Другие петрашевцы, приговоренные к долгим годам каторги, на местах получили некоторые льготы и были освобождены от тяжелых физических работ. Он же четыре года был в равном положении с другими заключенными.

Четыре года писатель носил кандалы, в них работал, в них спал. Судьба свела Достоевского с уголовниками, грабителями и убийцами – «с разбойниками, с людьми без человеческих чувств, с извращенными правилами». Но «поверишь ли, – писал он брату, – есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото… Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны».

Писателя удивила ненависть к нему и другим «политическим» из дворян, которую испытывали «уголовные»: «Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостью говорили о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали… «Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал» – вот тема, которая разыгрывалась четыре года».

Каторга расшатала здоровье Достоевского – обострилась его

нервозность, окончательно определилась эпилепсия. Все это, а также круг общения, способствовали душевному перелому, который совершался в писателе. Он поставил под сомнение свое прошлое, уверился, что совершил преступление, сосредоточился на религиозном чувстве, страстно желая веры и в то же время сопротивляясь ей. «Я скажу вам про себя, – писал он из Омска жене декабриста Н. Д. Фонвизиной, – что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных».

Достоевский ищет «силы переносить и прощать», ищет нравственную опору и выбирает веру. В его письмах начинают звучать мысли о христианской любви, всепрощении покорности: «…несчастны только злые. Мне кажется, что счастье – в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, не во внешнем». Все это впоследствии выльется у писателя в формулу: «Смирись, гордый человек!»

Средством совершенствования человека, источником справедливости, всего высокого и светлого в России, по новым убеждениям Достоевского, могла стать только религия. Писатель пережил сильнейший душевный кризис, и это наложило печать на все творчество, сделав его противоречивым, раздвоенным, содержащим в себе, говоря словами самого Достоевского, «рядом с самою светлою идеею самый гаденький антитез ее». Но, по другим словам писателя, «идеи меняются, а сердце одно»: он по-прежнему глубоко сочувствовал страданиям людей, стремился глубоко проникнуть в душу человека, познать его «тайну».

Через четыре года Достоевский вышел из острога с огромным запасом наблюдений и замыслов. Впрочем «свобода» оказалась весьма условной: впереди было еще пять лет солдатской службы в Сибирском линейном батальоне, в Семипалатинске. Через год, благодаря хлопотам А. Е. Врангеля, Ф. М. Достоевский был произведен в унтер-офицеры, а потом в прапорщики.

В феврале 1857 года в Кузнецке Достоевский женился. Его женой стала молодая вдова Мария Дмитриевна Исаева – умная, образованная женщина, с сильным характером, необыкновенно живая и впечатлительная. В письмах к А. Е. Врангелю Достоевский подробно рассказывал о всех перипетиях своего чувства: о том, как он в течение двух лет боялся, что она выйдет замуж за другого, о готовности пожертвовать собой ради ее счастья, о своих заботах о ней и ее сыне. Пережитое позже отразилось в романе «Идиот».

Мария Дмитриевна была сложной, экзальтированной

натурой, она «вечно хворала, капризничала и ревновала, это несчастный брак», – писал Врангель. «…Несмотря на то что мы были с ней положительно несчастны вместе, – по ее страстному, мнительному и болезненно фантастическому характеру, – мы не могли перестать любить друг друга, даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу», – рассказывал сам писатель.

В апреле 1857 года Достоевскому и другим петрашевцам были возвращены дворянские права, а 18 марта 1859 года Федор Михайлович вышел в отставку. Въезд в Петербургскую и Московскую губернии был ему воспрещен, и, кроме того, установлен негласный полицейский надзор. «Теперь я заперт в Твери, – писал он, – и это хуже Семипалатинска». Достоевский мечтал о возвращении в Петербург, и наконец, в декабре 1859 года, после десятилетнего отсутствия, возвратился в столицу с женой и пасынком. Ходили упорные слухи, будто разрешение было получено после того, как Достоевский сочинил два верноподданейших стихотворения в честь нового царя Александра II и его августейшей супруги.

В 1860 году в Москве вышло в свет первое собрание сочинений Ф. М. Достоевского в двух томах, в которое вошли «Бедные люди», «Двойник», «Маленький герой» и другие произведения. Тогда же в газете «Русский мир» было напечатано начало нового произведения писателя – «Записки из Мертвого дома», в которых он рассказал о жизни в Омском остроге. «Записки из Мертвого дома» потрясли столицу. «Эпоха, – писал А. И. Герцен, – оставила нам одну страшную книгу… которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как известная надпись Данте над входом в ад, это – "Мертвый дом" Достоевского».

Писатель тем временем зажил какой-то лихорадочной жизнью, как будто пытаясь наверстать годы каторги и ссылки: ездил за границу со своей возлюбленной Аполлинарией Сусловой (жестокий роман с которой длился 3 года), играл в рулетку и очень много проигрывал и постоянно пытался добыть денег. Достоевский открыл для себя Западную Европу – Австрию, Германию, Италию – проникся ненавистью к западной цивилизации и убедился в существовании особого русского пути, основанного на вере.

Заручившись поддержкой брата, писателя и коммерсанта с широкими связями, Ф. М. Достоевский получил разрешение на издание ежемесячного литературного и политического журнала «Время». Программа журнала заключалась в развитии идеологии так называемого «почвенничества» и преодолении распри

западников и славянофилов. В объявлении о подписке на журнал было сказано: «Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача – создать себе форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей… Мы предугадываем, что… русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, какие развивает Европа».

Первый номер журнала вышел в январе 1861 года. Официальным редактором был М. М. Достоевский, фактическим главой – Ф. М. Достоевский. В журнале читатели нашли, кроме начала нового романа «Униженные и оскорбленные», еще и фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе». Были опубликованы и «Записки из мертвого дома».

Достоевский стремился собрать вокруг журнала лучшие силы русской литературы; И. С. Тургенев, А. Н. Островский обещали давать в журнал новые произведения, Н. А. Некрасов поместил там свои новые стихи, М. Е. Салтыков-Щедрин – сатирические очерки. Число подписчиков журнала дошло до четырех тысяч – по тем временам цифра немалая.

Однако 24 мая 1863 года журнал «Время» из-за недоразумения с цензурой был закрыт. Через год брату Достоевского было разрешено издание журнала под новым названием, и с января 1864 года Ф. М. Достоевский начал издавать журнал «Эпоха». «Эпоха» еще более резко и запальчиво выступала против социалистических идей, чем «Время». В первом же номере печаталось начало повести «Записки из подполья», наполовину состоявшей из полемики с Н. Г. Чернышевским.

Редакция «Времени», а позже и «Эпохи», помещалась в квартире М. Достоевского. В этом же доме в сентябре 1861 года снял для себя квартиру Федор Михайлович, жил здесь до августа 1863 года и здесь же закончил «Записки из Мертвого дома», написал ряд полемических статей и фельетонов. Поблизости поселились и другие сотрудники журнала.

Тем временем жизнь готовила Достоевскому новые испытания. Умерла его жена, а вслед за ней брат Михаил. «Бросился я, схоронив ее, в Петербург, к брату, – писал Федор Михайлович, – он один у меня оставался, через три месяца умер и он… и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась надвое».

После смерти Михаила Михайловича у его семьи осталось всего триста рублей, на которые он и был похоронен, а также около двадцати пяти тысяч долгу. Таким образом, семья М. М. Достоевского – жена и шестеро детей остались, фактически, без средств к существованию. Федор Михайлович оказался их единственной надеждой, «и они все – и вдова, и дети – сбились в

кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно, мог ли я их оставить?» – писал Достоевский А. Е. Врангелю. Он взял на себя уплату долгов брата, содержание его семьи и воспитание сына своей первой жены.

25 сентября умер один из ведущих сотрудников «Эпохи» – Аполлон Григорьев, и на плечи Федора Михайловича дополнительно легли все заботы по изданию журнала. Он один читал корректуры, возился с авторами, цензурой, правил статьи. Журнал вскоре оказался накануне полного банкротства, и в июне 1865 года издание его прекратилось.

Ф. М. Достоевский снова отправился за границу, где пробыл до осени. Этот период ознаменовался игрой в рулетку, результатом которой стали огромные долги, роман «Преступление и наказание» и повесть «Игрок», написаны в спешке «на продажу», для того чтобы покрыть хотя бы часть долга.

Работу над романом «Преступление и наказание» Достоевский начал в Висбадене: «Сижу в отеле, кругом должен, денег ни гроша. Сюжет задуманной повести расширился и разбогател». В другом письме говорится: «… объявили в отеле, что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. Я пошел объясниться, и толстый немец – хозяин объявил мне, что я не «заслужил» обеда, и что он будет мне присылать только чай. И так со вчерашнего дня я не обедаю и питаюсь только чаем». По вечерам Достоевскому отказывали в свечке, и он опасался, как бы хозяин отеля не забрал его вещи, а его самого не выгнал.

В такой обстановке Достоевский писал главы «Преступления и наказания», посылая их прямо в журнальный набор, и они печатались из номера в номер. Писатель лихорадочно работал. Спешка не оставляла времени для доработки, и он приходил в отчаяние от того, что «испортил идею», которой дорожил, а поправить ошибку уже не было возможности. Деньги, полученные за работу, тут же раздавались кредиторам и многочисленным родственникам.

Осенью, оказавшись в совершенно безвыходном положении, писатель вернулся в Петербург. Срочно нужны были три тысячи рублей, чтобы частично расплатиться с долгами, но взять денег было уже негде. Кредиторы осаждали Достоевского, угрожая долговой тюрьмой.

Тогда-то писатель познакомился с издателем Ф. Т. Стелловским. Стелловский жил тем, что в самую критическую минуту предлагал людям помощь и заключал с ними соглашения с огромной выгодой для себя. Он дал Достоевскому искомые три тысячи рублей с условием, что тот разрешит ему напечатать все

свои произведения в трех томах, причем доход с издания Стелловский оставлял себе. Кроме того, за те же три тысячи Достоевский обязался в очень короткий срок написать новый роман, доход от издания которого также полностью шел Стелловскому. Наконец, в случае, если писатель нарушал условия договора, издатель получал права не только на все существующие, но и на будущие произведения Достоевского.

Достоевский принял эти кабальные условия. Новый роман должен был быть написан к 1 ноября 1866 года. В запасе оставалось всего полтора – два месяца. Литераторы-друзья Достоевского, желая выручить его из беды, предлагали составить план романа; каждый из них обязывался написать по нескольку глав, и все вместе они успели бы закончить работу к сроку. Достоевскому оставалось бы только отредактировать роман и сгладить неизбежные шероховатости. Но Федор Михайлович отказался: он не хотел ставить свое имя под чужим произведением. Тогда друзья посоветовали писателю обратиться к помощи стенографистки.

4 октября 1866 года в дом к Достоевскому пришла ученица стенографических курсов, девятнадцатилетняя Анна Григорьевна Сниткина. Писатель произвел на нее тяжелое впечатление: «Ни один человек в мире, ни прежде, ни после, не производил на меня такого тяжелого, поистине удручающего впечатления, какое произвел на меня Феодор Михайлович в первое наше свидание. Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня-вчера умер кто-либо из близких сердцу, человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда…»

Писатель попросил стенографистку сесть к письменному столу и скороговоркой прочел несколько строк из «Русского вестника». Она не успела записать и заметила, что не может уследить за ним. Тогда он прочел текст медленнее, а затем попросил перевести стенографическое письмо в обыкновенное. При этом он все время торопил стенографистку, говоря: «Ах, как долго, неужели это так долго переписывается». Анна Григорьевна заспешила и между двумя фразами не поставила точки. Федор Михайлович был чрезвычайно возмущен и несколько раз повторил: «Разве это возможно?» Однако, он «простил» ей эту точку и просил помочь ему.

Большую часть работы Достоевский делал ночью, создавая своеобразный «сценарий», а днем диктовал текст помощнице. Вечером дома Анна Сниткина расшифровывала свои записи и наутро читала их писателю.

Так был написан роман «Игрок». Переживания главного героя

были хорошо знакомы Достоевскому: во время своих заграничных поездок писатель увлекся рулеткой и даже выиграл как-то одиннадцать тысяч франков. Удача больше не повторялась. Десять лет Достоевский был подвержен этой страсти, уверяя, что «главное – сама игра. Знаете ли, как это втягивает. Нет, клянусь вам, тут не одна корысть».

Работа над романом «Игрок» была начата 4 октября, сдать ее нужно было к 1 ноября. Произведение в десять печатных листов было закончено раньше срока – 29 октября. 30 октября Анна Григорьевна принесла последнюю расшифрованную диктовку. Достоевский встретил стенографистку особенно приветливо, он радовался окончанию работы, к тому же 30 октября было днем его рождения.

Утром 1 ноября Достоевский повез роман к Стелловскому, который, разумеется, рассчитывал на то, что писатель не успеет сдать рукопись. Впрочем, на всякий случай издатель уехал в тот день из города, так что Достоевский не застал его дома.

Казалось, соблюсти условие не удалось – ясно, что Стелловский не стал бы слушать никаких оправданий. Однако писатель и его помощница накануне получили совет юриста – сдать рукопись нотариусу или приставу той части, где проживает Стелловский. Так и поступили: рукопись была сдана, а Достоевскому выдали официальную расписку. Стелловский не смог предъявить никаких претензий.

В продолжение совместной работы писатель никак не мог запомнить, как зовут его помощницу, и по нескольку раз в день переспрашивал ее имя и отчество. Однако к концу совместной работы задумал на ней жениться, хотя и был готов к отказу: он был старше ее на двадцать пять лет, тяжело болел, имел огромные долги и, наконец, воспитывал пасынка, почти ровесника Анны Григорьевны.

8 ноября 1866 года, когда девушка снова пришла к Достоевскому, он сказал ей, что задумал новый роман, но никак не может сладить с финалом и просит ее совета. «Я с гордостью приготовилась "помогать" талантливому писателю», – писала в своих воспоминаниях Анна Григорьевна.

В ответ на ее просьбу рассказать о романе «полилась блестящая импровизация. Никогда, ни прежде, ни после не слыхала я от Феодора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Феодор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица… Для своего героя Феодор Михайлович не пожалел темных красок: герой был преждевременно состарившийся человек, неизлечимо больной,

хмурый, подозрительный, правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства; художник, может быть, и талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в тех формах, о которых мечтал…

– И вот, – продолжал свой рассказ Феодор Михайлович, – в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовем ее Аней, чтобы не называть героиней. Это имя хорошее… возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологическою неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна.

– Почему же невозможно? Ведь если, как говорите вы, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность и богатство?

Он помолчал, как бы колеблясь.

– Поставьте себя на минуту на ее место, – сказал он дрожащим голосом. – Представьте, что этот художник – я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что бы вы мне ответили?..

– Я бы вам ответила, что вас люблю, и буду любить всю жизнь!»

Свадьба Достоевского и Анны Григорьевны Сниткиной состоялась 15 февраля 1867 года. Венчание происходило в Троицко-Измайловском соборе. Сразу после свадьбы супружеская чета уехала за границу; одной из причин спешки был страх Достоевского, как бы кредиторы не отобрали деньги, полученные им за роман «Преступление и наказание».

С Анной Достоевский прожил четырнадцать лет, и это был самый плодотворный период в его работе. Она внесла в его жизнь покой, заботилась о его здоровье, освобождала от денежных расчетов, возни с кредиторами, дел с издателями. Писатель диктовал ей почти все свои произведения, что намного облегчало труд Федора Михайловича. Она зачастую была и первым критиком его новых произведений. Впервые в жизни Достоевскому по-настоящему повезло. Стараниями Анны Григорьевны жизнь постепенно вошла в нормальное русло, и в 1871 году он смог навсегда бросить рулетку.

Об отношении Анны Григорьевны к мужу свидетельствует такой факт. Однажды, через много лет после смерти Ф. М. Достоевского, к ней обратился за консультацией композитор С. Прокофьев, писавший оперу «Игрок». Расставаясь с Анной

Григорьевной и благодаря ее за помощь, он попросил ее оставить несколько слов в его альбоме, предупредив, что писать можно только о солнце. Анна Григорьевна написала: «Феодор Достоевский – солнце моей жизни. Анна Достоевская».

Осенью 1871 года на одном из литературных вечеров Достоевский познакомился с князем Мещерским – консервативным журналистом, автором ряда великосветских романов, человеком, имевшим большие связи при дворе.

В это время Достоевский закончил работу над романом «Бесы» (1872), начатым еще за границей. Писательница В. Тимофеева вспоминала: «…новый роман Достоевского казался нам тогда уродливой карикатурой, кошмаром мистических экстазов. А то, что автор «Бесов» принял редакторство в «Гражданине», – окончательно восстановило против него многих из прежних его почитателей и друзей». Кроме того, один из главных персонажей романа был явной карикатурой на И. С. Тургенева – это была своего рода месть Достоевского за пасквили, которые «певец русской природы» сочинял на начинающего писателя.

Князь Мещерский основал еженедельный политический и литературный газету-журнал «Гражданин», и в январе 1873-го Ф. М. Достоевский стал его редактором. Достоевский согласился на эту работу в том числе и потому, что нуждался в постоянном источнике дохода (редакторские три тысячи рублей в год и плата за статьи стали источником существования): гонорар, полученный за роман «Бесы», целиком ушел на погашение долгов, приданое жены, отданное в залог, пропало из-за неуплаты процентов. Кроме того, приняв на себя обязанность редактора, Ф. М. Достоевский получал трибуну для распространения собственных убеждений. «Моя идея в том, что социализм и христианство – антитезы. Это бы и хотелось мне провести в целом ряде статей». Берясь за редактирование журнала, Достоевский стремился нести людям веру, считая, что русский «богоносный» народ чужд революции и вдохновляется христианскими заповедями смирения и всепрощения. Ведь если человек, со всеми своими духовными устремлениями и нравственными страданиями, принимает себя всего лишь за «усиленно сознающую мышь» (по выражению героя «Записок из подполья»), то нелепо надеяться на какое-то братство и любовь среди людей. Тогда естественными условиями жизни становятся борьба за существование, вражда, конкуренция и соперничество, а те свойства, которые выделяют человека из природного мира (милосердие, сострадание, праведность, честь, совесть) утрачивают свое значение. Если же человек воспринимает себя

как образ и подобие Божие, то все его качества становятся, по Достоевскому, не внешней условностью, а внутренней силой, способной преодолеть природные страсти, властные притязания, конъюнктуру, корыстность и обособленность.

В «Гражданине» Достоевский начал публиковать «Дневник писателя». Этот раздел впоследствии стал самостоятельным периодическим изданием, включавшим публицистические статьи, фельетоны, «картинки».

Взявшись за редактирование «Гражданина», Достоевский чувствовал себя не вполне уютно. Вс. Соловьев рассказывал: «Он появлялся в кабинете, где уж обыкновенно были налицо некоторые из более или менее замечательных литературных и общественных деятелей, появлялся как-то сгорбившись, мрачно поглядывая, сухо раскланиваясь и здороваясь, будто все это были его враги или, по меньшей мере, неприятные ему люди».

Скоро работа в журнале стала невыносимой для писателя, а обязанности редактора тяжелы. Все время уходило на чтение рукописей, переделку статей, деловые переговоры с подписчиками, сотрудниками журнала, а Достоевский не обладал необходимыми административными качествами. В итоге оказалось невозможным совмещать обязанности редактора с писательским трудом, и в апреле 1874 года Федор Михайлович покинул пост редактора журнала.

Метранпаж журнала М. А. Александров вспоминал об этом времени: «Теперь-то вы, наконец, отдохнете, Федор Михайлович, – сказал я, глядя на его сиявшее тихим удовольствием лицо. – Кстати, скоро и лето.

– Нет, Михаил Александрович, теперь-то я и начну работать!»

Весной 1874 года Достоевский восстановил отношения с Некрасовым, с которым не встречался уже несколько десятков лет. Некрасов пригласил писателя в сотрудники, просил дать роман для журнала на следующий год и предлагал ему по двести пятьдесят рублей за лист (до этого Федор Михайлович получал от издателей по сто пятьдесят рублей). Достоевский был рад возобновлению отношений с человеком, который одним из первых оценил его талант. Сближение с кругом Некрасова началось заново.

В августе 1874 года, после курса лечения в Эмсе, Федор Михайлович отправился в Старую Руссу, где прожил зиму, напряженно работая. Появление в 1875 году романа «Подросток» – самого петербургского романа Достоевского, как его назвал Блок, – стало настоящим событием. Вскоре вышел из печати роман «Кроткая».

Достоевский находится в расцвете своего таланта, был

окружен признанием и любовью читателей, полон замыслов и планов. 24 декабря 1877 года в его записной книжке появились строки: «1) Написать русского Кандида… 2) Написать книгу об Иисусе Христе. 3) Написать свои воспоминания. 4) Написать поэму "Сороковины"». Это был план работы минимум на десять лет. Достоевского избрали членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности.

Правда, декабрь 1877 года был омрачен для писателя тяжелой болезнью Н. А. Некрасова. Поэт умер 27 декабря 1877 года. «В эту ночь я перечел чуть ли не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет занимал места в моей жизни!» – писал Достоевский. Похороны поэта 30 декабря 1877 года превратились в многотысячную народную демонстрацию. «Находясь под глубоким впечатлением, я протеснился к его раскрытой могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес, вслед за прочими, несколько слов, – писал Ф. М. Достоевский. – …Высказал тоже мое убеждение, что в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом»… В этом смысле он… должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым».

Вскоре после смерти Некрасова Федора Михайловича постигло еще одно большое горе. 16 мая 1878 года внезапно, во время припадка эпилепсии, умер младший сын писателя – трехлетний Алеша, любимец семьи. Достоевский очень тяжело пережил смерть ребенка.

Осенью писатель, который не мог оставаться там, где умер его сын, съехал с квартиры и поселился в Кузнечном переулке, в доме № 5. Тридцать два года назад он недолго жил в этом здании, а теперь случай снова привел его сюда. Здесь прошли последние три года его жизни и был написан роман «Братья Карамазовы».

Годы, прожитые Достоевским в Кузнечном переулке, были относительно благополучны. Здоровье писателя улучшилось, припадки эпилепсии стали редкими. Писателю помогали поездки на курорт, где он лечил эмфизему легких, благотворно сказывалось длительное и регулярное пребывание в Старой Руссе.

Успешно шло издание произведений Достоевского, налаженное Анной Григорьевной. Благодаря ее заботам и деловитости, писатель впервые в жизни избавился от долгов.

К этому времени Ф. М. Достоевский уже давно завоевал славу великого мастера и находился в центре литературной и артистической жизни Петербурга. Участие в литературных

вечерах, заседаниях различных обществ, обедах по разным случаям, обширная переписка с людьми со всех концов России – все это стало обычным для Достоевского.

В 1878 году император Александр II пригласил к себе писателя, чтобы представить своей семье. В 1879 году Международный литературный конгресс единогласно избрал Достоевского членом почетного комитета Международной литературной ассоциации, президентом которой был Виктор Гюго. В 1880-м Достоевский произнес свою знаменитую речь в честь открытия памятника Пушкину в Москве, в которой призывал к всемирному братству, воспевал русскую душу. «Известен взрыв особенных чувств, который вызвала речь Достоевского, – писал позднее философ В. Розанов. – Здесь были слезы, кажется, мучительные слезы. И Пушкин читал свои произведения – там был восторг, но кто же «едва имея силы добраться до эстрады, упал без чувств». Это был настоящий триумф. Достоевский уверился, что стал первым писателем России.

И все же главным делом Достоевского в последние годы жизни была работа над романом «Братья Карамазовы»: «… никогда, ни на какое сочинение мое не смотрел я серьезнее, чем на это…» – признается он в наброске одного письма. Работа над романом не была закончена, но не по воле писателя.

26 января 1881 года, ночью, Достоевский, как обычно, работал в своем кабинете. Он случайно уронил на пол ручку, и она закатилась за этажерку с книгами. Достоевский резким движением сдвинул тяжелую этажерку с места. У него началось горловое кровотечение, и Анна Григорьевна послала за доктором. Когда доктор стал выслушивать и выстукивать грудь больного, кровотечение повторилось и было таким сильным, что Федор Михайлович потерял сознание.

«Когда его привели в себя, – пишет в своих воспоминаниях А. Г. Достоевская, – первые слова его, обращенные ко мне были: «Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедоваться и причаститься!» Хотя доктор стал уверять, что опасности особенной нет, но, чтобы успокоить больного, я исполнила его желание. Мы жили вблизи Владимирской церкви, и приглашенный священник о. Мегорский через полчаса был уже у нас. Феодор Михайлович спокойно и добродушно встретил батюшку, долго исповедовался и причастился. Когда священник ушел, и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием Св. Таинств, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Федор Михайлович благодарил меня

за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чем-нибудь обидел меня… Вошел доктор, уложил больного на диван, запретил ему малейшее движение и разговор, и тотчас попросил послать за двумя докторами, с которыми муж мой иногда советовался… Ночь прошла спокойно. Проснулась я около семи часов утра и увидела, что муж смотрит в мою сторону. «Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой?» – спросила я, наклонившись к нему. «Знаешь, Аня, – сказал Федор Михайлович полушепотом, – я уже три часа как не сплю и все думаю, и только теперь сознаю ясно, что я сегодня умру…» – «Голубчик мой, зачем ты это думаешь, – говорила я в страшном беспокойстве, – ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идет… Ради бога, не мучай себя сомнениями, ты будешь еще жить, уверяю тебя…» – «Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие». Он сам открыл святую книгу и просил прочесть: открылось Евангелие от Матфея, глава 3, ст. 14–15. («Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду»…) «Ты слышишь – «не удерживай», – значит, я умру», – сказал муж и закрыл книгу…»

28 января (9 февраля) 1881 года, в 8 часов 38 минут вечера, в возрасте пятидесяти девяти лет Федор Михайлович Достоевский умер.

На следующий день, в годовщину смерти А. С. Пушкина, состоялся литературный вечер, организованный в пользу студентов. Достоевский должен был принять в нем участие как распорядитель и чтец. Собравшиеся в зале еще не знали о его смерти, но после увертюры на эстраду вышел историк литературы профессор О. Миллер и произнес некролог. В начале второго отделения, когда наступил момент выступления Достоевского, на сцену вынесли его портрет, убранный цветами. Здесь же был начат сбор средств на надгробный памятник писателю.

Анна Григорьевна, желая исполнить волю мужа, решила похоронить его рядом с Некрасовым на Новодевичьем кладбище. Родственники писателя на следующее утро после его смерти отправились в Новодевичий монастырь, чтобы купить место на кладбище. Настоятельница монастыря запросила столь высокую цену, что семья писателя не могла дать ее. Вечером того же дня редактор «С.-Петербургских ведомостей» сообщил, что Александро-Невская лавра готова похоронить Достоевского на своей территории, взяв все расходы на себя. А. Г. Достоевская выбрала место на Тихвинском кладбище монастыря рядом с могилой В. А. Жуковского.

Похороны Достоевского, которые состоялись 1 февраля, превратились в многотысячное шествие: к десяти часам утра весь Кузнечный переулок, Владимирская площадь и прилегающие к ним улицы были запружены народом, собравшимся проводить тело писателя к месту погребения. Провожающих было пятьдесят – шестьдесят тысяч человек. Публике раздавался траурный листок – факсимиле подписи Ф. М. Достоевского, отпечатанный на средства почитателей.

Церемониальное шествие за гробом было назначено в следующем порядке: учащиеся почти всех петербургских учебных заведений, и среди них одетые в парадную форму воспитанники Главного Инженерного училища, которое окончил Достоевский; затем художники, актеры, депутации из Москвы – всего было представлено более семидесяти учреждений и обществ.

В конце двенадцатого часа по знаку распорядителя – Д. В. Григоровича – началась траурная церемония. Гроб подняли на руках родные Федора Михайловича, а после, до самой лавры гроб несли друзья и поклонники писателя. Похоронная колесница ехала пустая.

В конце 1882 года объявили конкурс на проект надгробного памятника Достоевскому, и было представлено тридцать проектов. Выиграл проект архитектора Х. К. Васильева, мастера гранитных работ А. А. Баринова и скульптора Н. А. Лаверецкого: четырехгранный обелиск, увенчанный древнерусским восьмиконечным крестом, под крестом – терновый венок, ниже – высеченная в сером граните надпись – «Достоевский». На выступе у основания обелиска бронзовый бюст писателя, под ним книги.

А. Г. Достоевская пережила мужа на 37 лет. После смерти писателя она издала несколько собраний его сочинений, открыла школу его имени в Старой Руссе, организовала отдел Достоевского при Московском историческом музее (в 1928 году он стал музеем Достоевского) и сделала многое другое для сохранения славы писателя. «Я живу, – писала она, – не в двадцатом веке, я осталась в семидесятых годах девятнадцатого. Мои люди – это друзья Феодора Михайловича, мое общество – это круг ушедших людей, близких Достоевскому».

В «Завещательной тетради» Анна Григорьевна выразила свою последнюю волю: «Прошу моих родных похоронить меня в Петрограде, в Александро-Невской лавре, рядом с моим мужем… Отдельного памятника над моей могилой я прошу не делать, а вырезать несколько строк на той стороне монумента, которая приходится к моей могиле… Чем проще будет надпись, тем это будет более соответствовать моему желанию».

Выполнить ее последнюю волю удалось не скоро. А. Г.

Достоевская умерла в Ялте 9 июня 1918 года и была похоронена на Старо-Аутском кладбище, расположенном невдалеке от дома А. П. Чехова. Лишь через 50 лет – 9 июня 1968 года – ее последняя воля была исполнена: прах жены писателя из Ялты был перенесен в Ленинград, к могиле Ф. М. Достоевского.

К концу жизни Достоевский получил большую известность, но всемирная слава пришла к нему после смерти. При жизни писателя, как пишет Ф. Б. Тарасов, его творчество «встречало непонимание со стороны критиков, исследователей и читателей. «Преступление и наказание» или «Бесы» нередко оценивались как тенденциозные произведения, направленные против разночинной молодежи и передовых идей, а в «Братьях Карамазовых» находилось чрезмерное обилие «лампадного масла» и «психиатрической истерики», «эпилептически судорожное» восприятие действительности. Многим казалась безрассудной и неприемлемой критика Достоевским всего «прогрессивного» (права, социализма, товарно-денежных отношений, технических «чудес» и т. п.)». «Жесток талант», «больные люди» – подобные определения писателя и его персонажей нередко можно было встретить на страницах журналов и газет. И. С. Тургенев даже сравнивал Достоевского с маркизом де Садом.

После кончины писателя ситуация изменилась. Достоевский занял без преувеличения уникальное место в мировой культуре как философ и психолог, раскрывающий глубочайшие проблемы и противоречия человеческого бытия. Как сказал И. Анненский: «Говорят, что поэзия Достоевского воспитывает в нас веру в людей. Может быть. Но в ней-то самой было несомненно уж слишком много боли, так что наше воспитание обошлось не дешево». М. Бахтин писал: «Достоевский сделал дух, то есть последнюю смысловую позицию личности, предметом эстетического созерцания», и даже Ф. Ницше признавал, что Достоевский единственный, кто сумел ему объяснить, что такое человеческая психология.

Многие писатели XX века в России и на Западе причисляли себя к ученикам и последователям Достоевского. Его идеи о существовании «с Богом» и «без Бога» оказали огромное влияние на проблематику русской философии (в том числе теософии), и почти все крупнейшие мыслители считали своим долгом писать книги о нем. Популярные западные философские и эстетические течения представляли Достоевского как своего предтечу или единомышленника.

Вообще, на оценку творчества Достоевского всегда влияли господствующие идеологические установки. Особенно ярко это видно на примере романа «Бесы», в котором Достоевский давал

свое видение сущности социализма и социалистов. В советский период христианский взгляд на человека, лежащий в основе романа, игнорировался, а писателя упрекали в «ошибках», «предвзятости», «противоречивости», «реакционности» и т. д. Фактически прижизненная травля писателя в России повторилась через много лет после его смерти.

В. И. Ленин называл «Бесы» «реакционной гадостью» и бесполезной «дрянью». Нарком просвещения А. Луначарский объявил, что любить Достоевского как своего писателя может только та часть интеллигенции, которая не приемлет революцию и «судорожно мечется перед наступающим социализмом»: «Никак нам нельзя учиться у Достоевского. Нельзя сочувствовать его переживаниям, нельзя подражать его манере. Тот, кто поступает так, то есть кто учится у Достоевского, не может явиться пособником строительства, – он выразитель отсталой, разлагающейся общественной среды. Для нового человека, рожденного революцией и способствующего ее победе, пожалуй, почти неприлично не знать такого великана, как Достоевский, но было бы совсем стыдно и, так сказать, общественно негигиенично подпасть под его влияние». В то же время, если верить анекдоту, тот же Луначарский предложил сделать на постаменте памятника писателю надпись «Достоевскому от благодарных бесов».

Появился термин «достоевщина», а «социально вредного», по определению М. Горького, автора «прорабатывали» на 1-м съезде советских писателей: «Мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника». И. Ильф и Е. Петров издевательски вывели Ф. М. Достоевского в качестве отца Федора Вострикова, одного их персонажей «Двенадцати стульев».

В учебниках о Достоевском писали как о «лживом апологете самодержавия», «фарисейском проповеднике религиозной морали» и – одновременно – «глашатае человеконенавистничества». Критики недоумевали: «Как могло такое мировоззрение, столь беспомощное в оценке действительных процессов истории и современности, сочетаться с таким значительным по своему содержанию искусством?»

На Западе ситуация была не намного лучше. Достоевский провозглашался то предшественником модернизма, то глашатаем своеволия и бунта, то поборником индивидуализма и сильной личности – в зависимости от идеологической направленности того или иного течения. Экзистенциалисты считали его, наряду с Кьеркегором и Ницше, своим родоначальником. Фрейдисты и структуралисты подвергали его творчество произвольным и усеченным интерпретациям, выводя одних героев (Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов) на передний план, и «забывая» о

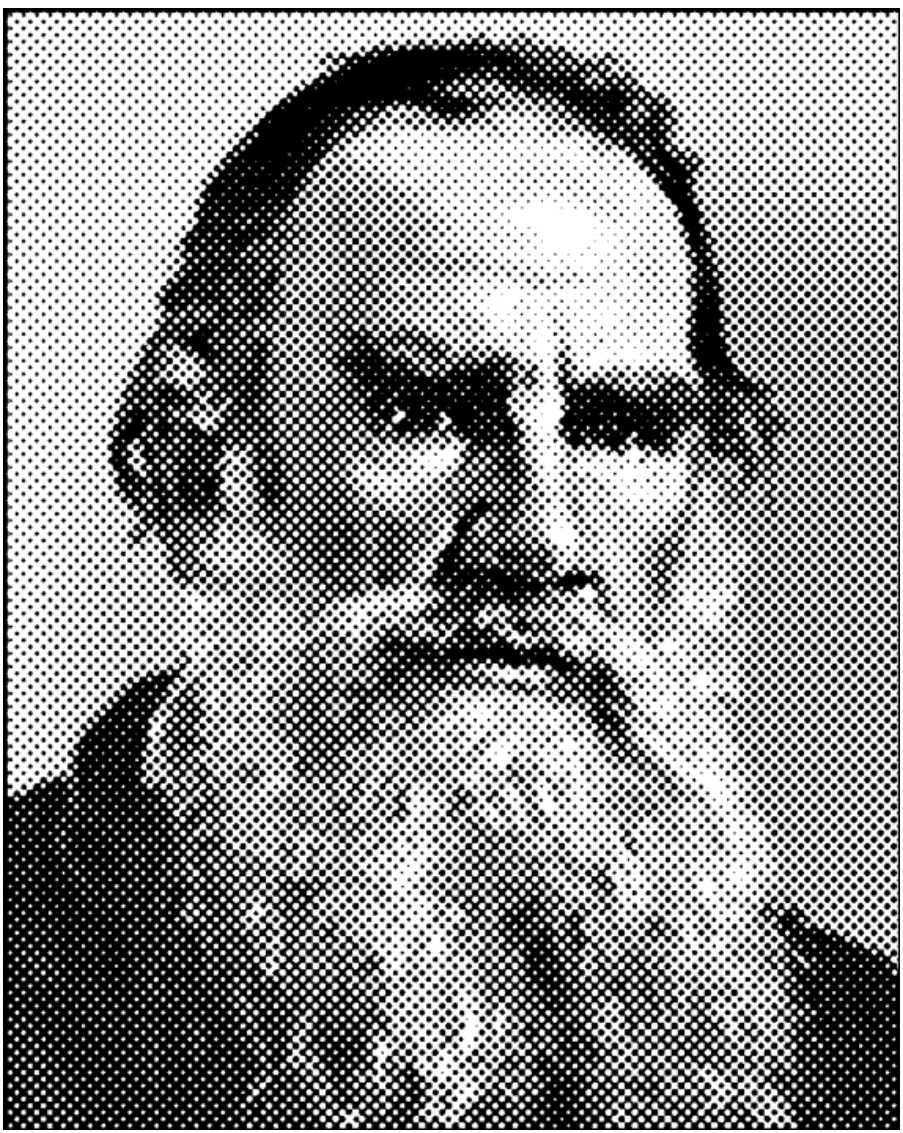
существовании других (Мышкин, Зосима, Алеша Карамазов).

А ведь Достоевский впервые в литературе столкнул великое и ничтожное в человеческой душе и поступках, показал, что они составляют неразрывное единство, ибо «атмосфера души человека состоит из слияния неба с землею». Его мысли об иерархии ценностей, о связи тайных движений души с результатами внешней деятельности, об иллюзорности социальных условностей и репутаций, об опасности пропаганды и рационалистического познания мира стали исходными пунктами для многих психологических школ и философских течений XX века. Однако, по мнению Ф. Тарасова, большинство философских и эстетических течений XX века, несмотря на большие различия, «одинаково оказываются в плену предвзятых схем и укороченных подходов к творчеству Достоевского, «вчитывают» в его произведения собственные представления о мире и человеке». Как справедливо заметил С. Рассадин: «Достоевского никто не может вычеркнуть из культурной памяти, обогнуть, но он – мешает. Даже тем, кто пытается ему подражать».

Толстой Лев Николаевич

Толстой прожил свои восемьдесят лет и стоит теперь перед нами как огромный, покрытый мхом скалистый обломок другого исторического мира…

Л. Троцкий



Лев Николаевич Толстой – знаменитый писатель, достигший

небывалой в истории литературы XIX века славы. В его личности соединились великий художник и великий моралист. «Какой из этих двух Толстых, поэт или моралист, завоевал большую популярность в Европе, было бы не легко определить, – писал Л. Троцкий в 1908 году. – Несомненно во всяком случае, что сквозь снисходительную усмешку буржуазной публики над гениальной наивностью яснополянского старца проглядывает чувство своеобразного нравственного удовлетворения: знаменитый поэт, миллионер, один из «нашей среды», более того: аристократ – по нравственным побуждениям носит косоворотку, ходит в лаптях, колет дрова. Тут как бы некоторое искупление грехов целого класса, целой культуры. Это не мешает, конечно, каждому буржуазному колпаку смотреть на Толстого сверху вниз и даже слегка сомневаться в его полной вменяемости».

Ни одному из выдающихся русских писателей судьба не подарила такой долгой жизни, какую прожил Лев Николаевич Толстой. Он родился через три года после восстания декабристов, а умер за семь лет до революции 1917 года. За шестьдесят лет писательского труда и общественной деятельности Толстой создал огромное литературное наследие: романы, десятки повестей, сотни рассказов, пьес, трактат об искусстве, множество публицистических и литературно-критических статей, написал тысячи писем, тома дневников. Целая эпоха русской жизни отразилась на страницах книг Толстого, прославив имя писателя во всем мире.

Впрочем, в России древний аристократический род Толстых был известен задолго до Льва Николаевича. Толстые – старинный дворянский род, происходящий, по сказаниям, «от мужа честна Индриса», выехавшего «из немец» в Чернигов в 1353 году, с двумя сыновьями и с дружиной из трех тысяч человек. Он крестился в православие, получил имя Леонтия и стал родоначальником нескольких дворянских фамилий. Его правнук, Андрей Харитонович, переселился в Москву и получил от Василия Темного прозвище Толстого.

Прапрадед провозвестника гуманистических идеалов, Петр Андреевич Толстой, служил в 1683 году при дворе и был одним из главных зачинщиков стрелецкого бунта. После падения царевны Софьи он перешел на сторону императора Петра, но тот долго не доверял Толстому. Рассказывают, что на веселых пирах царь любил сдернуть парик с его головы и, ударяя по плеши, приговаривать: «Головушка, головушка, если бы ты не была так умна, то давно бы с телом разлучена была».

В 1717 году П. А. Толстой оказал царю услугу, навсегда упрочившую его положение: он, запугивая и давая ложные

обещания царевичу Алексею, убедил его вернуться из Италии в Россию. За деятельное участие в следствии, суде и тайной казни царевича Толстой был награжден поместьями, поставлен во главе Тайной канцелярии и стал одним из доверенных лиц государя.

В день коронования императрицы Екатерины он получил графский титул и вообще пользовался благосклонностью. Когда же на престол взошел Петр II, сын казненного царевича, Толстой был лишен прав состояния и, несмотря на преклонный возраст (82 года), сослан в Соловецкий монастырь, где и умер в 1729 году. Только 26 мая 1760 года, уже при императрице Елизавете, роду Толстых был возвращен графский титул.

Дед писателя выведен в «Войне и мире» в лице добродушнейшего, непрактичного старого графа Ростова. Илья Андреевич Толстой был человеком ограниченным, очень мягким, веселым, щедрым до мотовства и бесконечно доверчивым – он с готовностью одалживал деньги всем, кто просил, без отдачи. В его имении постоянно царило веселье: устраивались балы, званые обеды, театральные представления. Кроме того, Илья Андреевич был страстным картежником, но играл неудачно. Наконец, он беспрерывно затевал какие-то аферы и беспрерывно же прогорал. Все это кончились тем, что он очень много задолжал и жить стало нечем. Тогда Илья Андреевич выхлопотал себе место губернатора в Казани, где и умер. После смерти мужа бабушка писателя, Пелагея Николаевна, поселилась в Ясной Поляне.

Пелагея Николаевна Толстая, урожденная Горчакова, была, по воспоминаниям Л. Н. Толстого, «недалекая, малообразованная… и очень избалованная – сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном – женщина».

Что касается предков Л. Н. Толстого со стороны матери – князей Волконских, то они ведут свой род от Рюрика. Дед писателя выведен в «Войне и мире» в лице старого князя Болконского. В своих воспоминаниях Лев Николаевич рассказывал: «Достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт… Женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца имении Ясной Поляне».

Через много лет судьба странным образом свела Волконского с той самой женщиной, за отказ от которой он пострадал. Варенька вышла за князя Голицына, получившего за это чины, ордена и награды. С ним сдружился дед Л. Н. Толстого и его дочь Мария (мать писателя) была с детства обручена с одним из сыновей Голицына. Однако женитьба не состоялась: молодой

Голицын умер незадолго до свадьбы.

Многие годы Николая Ильича, отца писателя, воплощены в герое «Детства» и «Отрочества», и отчасти в «Войне и мире», в лице Николая Ростова. Он принимал участие в войне 1812 года, а после заключения мира вышел в отставку. В молодости Николай Ильич проиграл огромные деньги, чем окончательно запутал дела, и без того пришедшие в упадок благодаря «стараниям» деда. Страсть к игре перешла и к его знаменитому сыну, который, будучи известным писателем, должен был в начале 1860-х годов за бесценок продать один из своих романов, чтобы расквитаться с карточным долгом.

Надеясь привести дела в порядок, Николай Ильич женился на княжне Марии Волконской. Л. Н. Толстой писал о своей матери: «Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями… Думаю, что мать любила моего отца больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него». Тем не менее, брак Николая Ильича с Мари Волконской был счастливым. У них родилось четыре сына: Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и дочь Мария. «Замужняя очень короткая жизнь моей матери – кажется, не больше 9-и лет – была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с ней, – писал Лев Толстой о матери. – Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких знакомых Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещали Ясной Поляны».

Жизнь Николая Ильича проходила в занятиях детьми и хозяйством, в котором он не был большим знатоком. Он много читал, собирал библиотеку, состоявшую из французских классиков, исторических и естественно-исторических сочинений. Николай Ильич «не имел склонности к наукам, но был на уровне образованных людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 1813–1815 годов, он был не то, что теперь называется либералом, а просто, по чувству собственного своего достоинства, не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. Он не только не служил никогда, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство государя Николая Павловича».

Когда граф Н. И. Толстой поселился с женой в Ясной Поляне, у них был один ребенок – сын Николай, родившийся в 1823 году. В 1826 году появился на свет Сергей, в 1827 году – Дмитрий. Лев родился «1828 года, августа 28 дня, сельца «Ясной Поляны», у

графа Николая Ильича Толстого родился сын Лев, крещен двадцать девятого числа…» В 1830 году, произведя на свет дочь Марию, графиня Толстая скончалась, оставив мужа с пятью детьми.

Многих вводит в заблуждение то, что в автобиографическом «Детстве» мать Иртеньева умирает, когда мальчику уже лет 6–7; на самом деле она изображена в повести по рассказам других. Сам писатель говорит: «Матери своей я совершенно не помню. Мне было полтора года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета; так что, как реальное физическое существо, – я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знал о ней, – все прекрасно… потому что действительно в ней было очень много этого хорошего».

Мать писателя была прекрасной рассказчицей и в то же время отличалась крайней застенчивостью. Для того чтобы рассказать какую-нибудь историю, она запиралась со слушателями в темной комнате и только тогда начинала повествование. Болезненная застенчивость матери передалась и Льву Николаевичу, притом усугубилась чрезвычайным самолюбием и склонностью к оригинальности. С. А. Берс, жена Л. Н. Толстого, вспоминала, что «судя по рассказам… маленький Левочка был очень оригинальный ребенок и чудак. Он, например, входил в залу и кланялся всем задом, откидывая голову назад и шаркая». Шурин Льва Николаевича рассказывает следующее: «В детстве он был очень шаловлив, а отроком отличался странностью, а иногда и неожиданностью поступков, живостью характера и прекрасным сердцем. <…> Описывая свою первую любовь в произведении «Детство», он умолчал о том, как из ревности столкнул с балкона предмет своей любви, которая была девяти лет от роду и после этого долго хромала. Он сделал это за то, что она разговаривала не с ним, а с другим». Впоследствии она, смеясь, говорила ему: «Видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтобы потом жениться на моей дочери».

После смерти матери «семья отца состояла из бабушки-старушки – его матери, ее дочери – моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитавшейся в доме дедушки и прожившей всю жизнь в нашем доме, моего отца, учителя Федора Ивановича Ресселя».

Воспитание детей взяла на себя Т. А. Ергольская, выросшая и

воспитанная в доме деда писателя. О ней Лев Николаевич оставил интересные сведения: «Третье, после отца и матери, самое важное в смысле влияния на мою жизнь, была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. <…> Таничка, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году и воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и, вместе с тем, самоотверженный характер.

Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери; впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка: «16 août 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une étrange proposition, – celle de l'épouser, de servir de mère à ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refusé la première proposition, j'ai promis de remplir l'autre tant que je vivrai»[39].

Главная черта ее была любовь, но как бы я не хотел, чтобы это так было – любовь к одному человеку – к моему отцу! Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась на всех людей».

В 1837 году умер от удара отец Льва Толстого. Летом он уехал по делам в Тулу, и, идя по улице к приятелю, вдруг зашатался, упал и скоропостижно скончался. По другим версиям, его отравил камердинер, так как у него пропали деньги, а позже уже в Москве, где тогда жила семья Толстых, какая-то таинственная нищенка принесла именные билеты.

Смерть отца была одним из самых сильных детских впечатлений Льва Николаевича. Он говорил, что эта смерть в первый раз вызвала в нем чувство религиозного ужаса. Так как отец умер не при нем, он долго не мог поверить тому, что его уже нет и, глядя на незнакомых людей на улицах Москвы, был почти уверен, что вот-вот встретит живого отца. После смерти отца Толстые прожили лето в Москве, и Лев Николаевич в первый и едва ли не в последний раз в своей жизни провел лето в городе.

Бабушка писателя умерла через девять месяцев от тоски и горя.

После ее смерти часть семейства (Дмитрий, Лев и Мария с Т. А. Ергольской) опять переехала в деревню, где образованием детей занимались немцы-гувернеры и русские семинаристы. Официальной опекуншей над детьми назначили графиню А. И. Остен-Сакен. «Тетушка эта была истинно религиозная женщина.

Любимые ее занятия были чтения жития святых, беседа со странниками, юродивыми, монахами, монашенками, из которых некоторые всегда жили в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку». Во многом религиозность графини стала следствием несчастливого супружества: ее муж, остзейский барон был душевно больным, на него находили приступы патологической ревности, и он несколько раз пытался убить свою жену. Александра Ильинична ушла от него, жила у своих родителей, потом у отца Льва Николаевича, а после его смерти опекала детей. «То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается, – вспоминал Л. Н. Толстой. – Она заботилась о нас, когда была нашей опекуншей, но все, что она делала, не поглощало ее душу, все было подчинено служению Богу, как она понимала это служение».

В 1841 году А. И. Остен-Сакен скончалась во время паломничества в Оптину пустынь. Дети переселились в Казань, к новой опекунше – сестре отца Пелагее Ильиничне Юшковой. Переездом в Казань заканчивается первый период жизни Толстого, который с большой точностью в передаче мыслей и впечатлений и лишь с небольшим изменением внешних событий описан им в «Детстве».

Дом Юшковых принадлежал к числу самых веселых в Казани. Отставной гусарский полковник В. И. Юшков был образованным, остроумным и добродушным человеком, шутником и балагуром. С женой он не ладил, и они не редко жили врозь. Пелагея Ильинична также слыла доброй женщиной. Она была очень набожна, и после кончины своего мужа в 1869 году удалилась в Оптину пустынь. Затем она жила в Тульском женском монастыре, потом переехала в Ясную Поляну, где умерла в глубокой старости. В продолжение всей своей долгой жизни она строго соблюдала обряды православной церкви; но на восьмидесятом году, перед смертью, боясь ее, не захотела причаститься.

Все члены семьи Юшковых высоко ценили комильфотность[40] и внешний блеск. Два начала натуры Толстого – огромное самолюбие, жажда признания и стремление достичь чего-то настоящего, познать истину – вступили в борьбу.

Ему хотелось блистать в обществе, заслужить репутацию молодого человека comme il faut, но он был некрасив, неловок, страдал болезненной застенчивостью. Одновременно Толстой очень осуждал себя за легкомыслие, жажду блеска, стремление к светским удовольствиям. Тогда в нем начиналась внутренняя

борьба за выработку строгого нравственного идеала, за самоусовершенствование, он старался вести аскетический образ жизни. Впрочем, в более зрелые годы Толстой благодарил судьбу «за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью».

Писатель так вспоминал об этом периоде своей жизни: «Мое любимое и главное подразделение людей в то время… было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй род подразделяется еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых – притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали – я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре… Второе условие comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было уменье кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки».

В 1843 году Толстой решил поступить в Казанский университет на факультет восточных языков, чтобы сделать дипломатическую карьеру (к тому времени его старшие братья уже учились в университете на философском факультете). Он начал усиленно готовиться к поступлению, изучая арабский и турецко-татарский языки.

Весной 1844 года Лев Толстой был допущен к приемному экзамену, который провалил, получив неудовлетворительные оценки по истории (которую невзлюбил раз и навсегда), географии и латыни. Осенью состоялась переэкзаменовка, и на этот раз граф попал в университет «студентом своекоштного содержания, по разряду арабско-турецкой словесности». Исследователи, однако, отмечают, что удачу Толстого следует приписать не тому, что юноша много знал, а тому, что требования были очень невелики, в особенности для членов семей, занимающих видное общественное положение.

Занятия не вызывали у Льва интереса, значительно больше его занимали светские развлечения. Он, казалось, побывал на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим, но далеко не дамским угодником, какими были другие его сверстники «студенты-аристократы».

Все это, конечно, неблагоприятно повлияло на учебный

процесс, и первую сессию Толстой «завалил». Исход экзаменов, однако, нисколько не изменил образа его жизни, и он продолжил развеселую светскую жизнь. В результате студент Толстой не выдержал и переходный экзамен, и ему пришлось остаться на второй год. Однако он не захотел продолжать учебу по специальности «восточные языки» и подал прошение о переводе на юридический факультет, где его студенческая карьера прошла столь же бесславно.

В январе 1847 года Лев Толстой еще раз явился на полугодичные экзамены, но часть из них даже не стал сдавать, считая их пустой формальностью. Видимо, к тому времени у него уже созрело решение оставить университет, и он подал соответствующее прошение после пасхальных каникул. Прошение было удовлетворено.

Одной из причин ухода Льва из университета был, по его собственному свидетельству, отъезд брата Николая из Казани. Вторая причина значительно более интересна: В. Вересаев считал, что она очень характерна для Толстого. Профессор гражданского права Меер задал ему подготовить сравнительный анализ двух работ по праву: «Наказа» Екатерины с «Духом законов» Монтескье. Толстой увлекся этой работой. «Она открыла мне, – вспоминает он, – новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей». Именно ощущение того, что университетское обучение мешает свободному полету мысли, привело Льва Толстого к решению о прекращении занятий.

Ряд биографов, правда, считает, что причина неуспешности университетских занятий Льва Толстого обусловлена не столько характером преподавания, сколько тем, что будущий писатель не способен был мыслить научно. Ненаучность его ума особенно ясно видна в тех требованиях, которые он предъявлял к научным исследованиям, ценя в них не точность разработки проблемы, а исключительно цель. От астронома он требовал указать путь к достижению счастья человечества, философу ставил в укор отсутствие осязаемых результатов, которых достигли точные науки, и т. д. Дж. Мейвор писал: «Толстой не был ученым, хотя и читал на многих языках и особенно часто, помимо его родного русского, по-английски, по-французски, по-итальянски и по-немецки. Он был в той или иной степени знаком с великими классиками; однако читал Толстой не систематически и со многими вопросами философии и богословия не был в совершенстве знаком. Нельзя сказать, что знал он многое и в науке».

Весной 1847-го, подав прошение об уходе из университета «по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам», Толстой уехал в Ясную Поляну. Планы его были обширны; 17 апреля 1847 года он записал в своем дневнике цели на ближайшие два (!) года: «1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет; 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической; 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский; 4) Изучить сельское хозяйство как теоретически, так и практически; 5) Изучить историю, географию и статистику; 6) Изучить математику – гимназический курс; 7) Написать диссертацию; 8) Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи; 9) Написать правила; 10) Получить некоторые познания в естественных науках; 11) Составить сочинения из всех тех предметов, которые буду изучать».

Нечего и говорить, что эти планы не осуществились, хотя вся жизнь Льва Николаевича в деревне была наполнена мечтами, благими начинаниями и искренней борьбы с самим собой в стремлении к совершенствованию. Он писал в дневнике: «Я много переменился, но все еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть. Я не исполняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю не хорошо, не изощряю памяти». С неподражаемой искренностью записывал он всякое уклонение от поставленных целей и снова начинал безуспешную борьбу с собой.

Точно так же провалилась попытка наладить хозяйствование на гуманистических основах. Его отношение к крестьянам своего поместья не было по-настоящему дружественным: в России встречались помещики, которые относились к крестьянам гораздо лучше, чем Толстой. Собственно, его порыв к хозяйственному переустройству никак не был связан с демократическими течениями второй половины 40-х годов XIX века; да он, скорее всего и не знал о них. Он мало следил за журналистикой и политической жизнью, а если какие-то внешние влияния и были, то, скорее всего, это следует связывать с работами Руссо. Ни с кем у Толстого не было стольких точек соприкосновения, как с этим ненавистником цивилизации и проповедником возврата к первобытной простоте и чистоте.

После лета в деревне, разочарованный неудачным опытом хозяйствования (эта попытка запечатлена в повести «Утро помещика», 1857), Толстой уехал сначала в Москву, затем в Петербург, решив держать кандидатские экзамены по праву в университете: «…Мне открывались две дороги. Я мог вступить в армию, чтобы принять участие в венгерском походе, и мог

закончить университетские занятия, чтобы получить себе потом место чиновника. Но моя жажда знания победила мое честолюбие, и я снова принялся за занятия… В 48-м году я держал экзамен на кандидата в Петербургском университете и буквально ничего не знал и буквально начал готовиться за неделю до экзамена… Я выдержал даже два экзамена по уголовному праву, но затем все мои благие намерения совершенно рухнули».

Толстой изменил свое первоначальное намерение и решил все же «вступить юнкером в конно-гвардейский полк», но потом снова передумал: «теперь же я этот план оставляю только в том случае, ежели экзамена не выдержу, и война будет серьезная». Вероятно, он не нашел войну достаточно «серьезною», потому что на военную службу не поступил. В конце концов, «наступила весна, и прелесть деревенской жизни снова потянула в имение» – Толстой вернулся в Ясную Поляну и следующие три года жил то в Москве, то в деревне.

Религиозные настроения, доходившие до аскетизма, чередовались с кутежами, картами, поездками к цыганам. В семье его считали «самым пустяшным малым», а сделанные тогда долги ему удалось отдать лишь много лет спустя. Будучи стесненным в деньгах, он замышлял даже торговое предприятие: хотел снять почтовую станцию в Туле. К счастью, из этого ничего не вышло, и Толстой избежал, таким образом, многих бедствий, которые последовали бы, займись он столь несвойственным для него родом деятельности.

В этот период жизни Толстой особенно интересовался музыкой (он недурно играл на рояле и очень любил классических композиторов). Во время поездки в Петербург в 1848 году он где-то встретил опустившегося немца-музыканта, которого привез в свое имение. Немец совершенно спивался, и Толстой решил стать его спасителем. В Ясной Поляне они вместе музицировали: немец на скрипке, а Толстой на рояле. Много времени уходило также на кутежи, игру и охоту.

Все это время граф не вел дневник – ему было некогда. Только с половины 1850 года он снова взялся за записи и начал, конечно, с покаяния и самобичевания, выражая желание откровенно записать свои воспоминания о «беспутно проведенных 3-х годах своей жизни». Его жизнь, по собственному свидетельству писателя, была настолько зряшной и беспутной, что он готов на любое ее изменение. Так, когда один из родственников Льва Николаевича ехал в Сибирь, Толстой вскочил к нему в тарантас в чем был, и не уехал, кажется, только потому, что не надел шапки.

Этот период жизни окончился с внезапным отъездом Льва на Кавказ в 1851 году. Однажды в Ясную Поляну приехал служивший на Кавказе брат Толстого, Николай, и стал звать его с собой. Толстой долго не поддавался на уговоры брата, пока крупный проигрыш в Москве не помог принять решение. Чтобы расплатиться с долгом, надо было сократить расходы до минимума, а в Ясной Поляне это было невозможно – и весной 1851 году Толстой уехал на Кавказ, не имея никакой определенной цели.

Братья выехали из Ясной Поляны 20 апреля и пробыли недели две в Москве, потом заехали в Казань. Там Лев Николаевич встретил Зинаиду Молоствову и влюбился в нее. Но из-за своей застенчивости он так и не решился сказать о своей любви, и увез свое чувство на Кавказ.

Почти три года Толстой прожил в казачьей станице на берегу Терека, выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ и участвуя в военных действиях на добровольческих началах. Вскоре он решил поступить на военную службу, но не хватало каких-то бумаг (граф всю жизнь отличался крайним пренебрежением к документам), их пришлось добывать, а тем временем Толстой прожил около 5 месяцев в полном уединении в Пятигорске. Значительную часть времени он проводил на охоте, в обществе казака Епишки, фигурирующего в «Казаках» под именем Ерошки.

Осенью 1851 года Толстой, сдав в Тифлисе экзамен, поступил юнкером в 4-ю батарею 20-й артиллерийской бригады, стоявшей в казацкой станице Старогладове, на берегу Терека, под Кизляром.

Кавказская природа и патриархальная простота казачьей жизни, поразившая Толстого по контрасту с бытом дворянского круга, дали материал для автобиографической повести «Казаки» (1852–1863), отразились в рассказах «Набег» (1853), «Рубка леса» (1855), в поздней повести «Хаджи-Мурат» (1896–1904, опубликована в 1912). Вернувшись в Россию, он записал в дневнике, что полюбил этот «край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи: война и свобода».

В станице Толстой начал писать художественную прозу, и в 1852 году отослал в редакцию «Современника» первую часть автобиографической трилогии «Детство». Интересно, что среди многочисленных биографических фактов нет никаких данных, указывающих на то, что Толстой раньше пробовал себя в литературе. Сравнительно позднее начало творческой деятельности очень характерно для писателя: он никогда не был профессиональным литератором. Писательские интересы всегда стояли у Толстого на втором плане: он писал, когда назревала

потребность высказаться. В остальное время Лев Николаевич был светским человеком, офицером, помещиком, педагогом, мировым посредником, проповедником, учителем жизни и т. д. Он никогда не принимал близко к сердцу интересы литературных партий, неохотно беседовал о литературе, предпочитая разговоры о вопросах веры, морали, общественных отношениях.

Повесть «Детство» Толстой отправил в «Современник» инкогнито (она была напечатана в 1852 под инициалами Л. Н. Т. и вместе с позднейшими повестями «Отрочество», 1852–1854, и «Юность», 1855–1857, составила автобиографическую трилогию). Дебют принес Толстому настоящее признание. Автора сразу причислили к корифеям молодой литературной школы, наряду с прославленными Тургеневым, Гончаровым, Островским.

Автор «Детства» провел на Кавказе два года, участвуя во многих стычках и подвергаясь всем опасностям боевой жизни. Он был даже представлен к Георгиевскому кресту, но из-за путаницы в документах так и не получил этот орден, чем был очень огорчен.

Когда в конце 1853 года вспыхнула Крымская война, Толстой перевелся в Дунайскую армию, получил назначение в Бухарест, но штабная жизнь вскоре наскучила ему. Он перевелся в Крымскую армию, в осажденный Севастополь, где командовал батареей 4-го бастиона, проявив редкую личную храбрость (награжден орденом св. Анны и медалями).

В Севастополе Толстой был с ноября 1854 года по конец августа 1855 года. Несмотря на все ужасы осады, Лев Николаевич написал в это время рассказ из кавказской жизни «Рубка леса» и первый из трех «Севастопольских рассказов»: «Севастополь в декабре 1854 г.», который отправил в «Современник». Рассказ произвел потрясающее впечатление картиной ужасов, выпавших на долю защитников Севастополя (его прочитал даже Александр II).

Первые произведения Толстого поразили литературных критиков смелостью психологического анализа. Некоторые идеи, появившиеся в эти годы, позволяют угадывать в молодом артиллерийском офицере позднего Толстого-проповедника: он мечтал стать основателем «новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Толстому было двадцать семь лет, когда он писал эти строки. Он, можно сказать, начал и закончил свою жизнь с одним желанием – стать мессией, быть избранным для осуществления некой высшей задачи. К тому моменту в его дневнике уже была

запись: «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все».

Толстой пользовался репутацией храброго офицера и имел все шансы сделать хорошую карьеру, но сам себе все «испортил», написав сатирическую песенку, на манер солдатских, об одном неудачном сражении. Песенка, задевавшая многих важных генералов, имела огромный успех и, конечно, повредила автору.

После сдачи Севастополя Толстого отправили курьером в Петербург (там он написал «Севастополь в мае 1855 г.» и «Севастополь в августе 1855 г.»). Он приехал, окруженный двойным ореолом, – героя, вышедшего из ада осажденного города, и восходящего литературного светила первой величины. «Севастопольские рассказы» окончательно укрепили его известность как одной из главных «надежд» нового литературного поколения.

Толстой зажил в Петербурге шумной и веселой жизнью. Его встретили с распростертыми объятиями и в великосветских салонах, и в литературных кружках. «Вернулся из Севастополя с батареи, – рассказывал Тургенев Фету, – остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой». Толстой особенно близко сошелся с Тургеневым и даже жил с ним некоторое время на одной квартире. Вообще же, отношения с Тургеневым были сложными – писатели постоянно спорили, ссорились, раздражали друг друга. Через много лет эта дружба-вражда закончилась скандалом, после которого Толстой несколько раз вызывал Тургенева на дуэль (тот от дуэли отказался).

Тургенев ввел Толстого в кружок «Современника» и других литературных корифеев: он поддерживал приятельские отношения с Некрасовым, Гончаровым, Панаевым, Григоровичем, Дружининым, Сологубом.

Однако вскоре Лев Николаевич перестал общаться с близким ему кружком писателей. Он, столбовой дворянин, не понимал богемы и никак не мог признать литературную деятельность чем-то возвышенным, чем-то таким, что освобождает человека от необходимости стремиться к самоусовершенствованию и всецело посвящать себя благу ближнего. На этой почве возникали ожесточенные споры, осложнявшиеся тем, что Толстой не стеснялся прилюдно отмечать в своих приятелях черты неискренности и аффектации. В результате «люди ему опротивели, и сам он себе опротивел».

Осенью 1856 года Толстой вышел в отставку, оставив военную службу. Казалось, «теперь жизнь писателя определена, –

писал В. Вересаев. – Общепризнанный талант, редакции наперебой приглашают его в свои журналы. Человек он обеспеченный, о завтрашнем дне думать не приходится, – сиди спокойно и твори, тем более, что жизнь дала неисчерпаемый запас наблюдений. Перебесился, как полагается молодому человеку, теперь впереди – спокойная и почетная жизнь писателя. Гладкий, мягкий ход по проложенным рельсам. Конец биографии. Но не так у Толстого. Биография только начинается».

Да, Толстой одно за другим писал произведения, восхищающие современников. Но вместе с тем он уехал к себе в Ясную Поляну и взялся за сельское хозяйство, стремясь максимально погрузиться в крестьянские заботы. Николай Толстой рассказывал Фету: «Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело иначе: «Придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одной коленкою за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться».

Работники имения пахали, косили, молотили; и Толстой не мог оставаться зрителем: ему непременно нужно было всему этому научиться. Среди крестьян особенно выделялся работник Юхван, и Толстой перенял все его приемы, начал «юхванствовать». Это выражение – «юхванствовать» – закрепилось в семье Толстого для обозначения его сельскохозяйственных увлечений.

Лев Николаевич увлекался охотой, и однажды чуть не погиб, когда медведица повалила его в снег и начала грызть голову, – прорвала ему щеку под левым глазом и сорвала всю кожу с левой половины лба.

В начале 1857 года Лев Толстой отправился за границу. Он побывал во Франции, Италии, Швейцарии, Германии (швейцарские впечатления отражены в рассказе «Люцерн»), осенью вернулся в Москву, затем в Ясную Поляну. Западная Европа произвела на него неожиданно плохое впечатление. Косвенно оно выразилось в том, что нигде в своих сочинениях писатель ни одним добрым словом не обмолвился о заграничной жизни, нигде не поставил культуру Запада в пример. Напрямую свое разочарование в европейской жизни он высказал в рассказе «Люцерн».

В 1859 году Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить более 20 школ в окрестностях

Ясной Поляны, и это занятие настолько увлекло его, что в 1860-м он снова отправился за границу, чтобы познакомиться со школами Европы. Полтора месяца провел в Лондоне, был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал популярные педагогические системы, в основном не удовлетворившие писателя. За границей его интересовало только народное образование.

Глубоко серьезному настроению Толстого во время второго путешествия содействовало еще то, что на его руках умер от чахотки любимый брат Николай. Его смерть произвела на Толстого огромное впечатление и сыграла большую роль в том мировоззренческом перевороте, который произошел в душе писателя десятилетием позже.

Толстой вернулся в Россию в апреле 1861 года, после освобождения крестьян. После Манифеста 19 февраля он рассказывал: «Что касается до моего отношения тогда к возбужденному состоянию общества, то должен сказать (и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим, и что, если я тогда был возбужден и радостен, то своими особенными, личными, внутренними мотивами – теми, которые привели меня к школе и общению с народом».

Толстой с головой ушел в самую разностороннюю деятельность – занимался сельским хозяйством, работал в качестве мирового посредника, вызывая злобу и доносы окрестных дворян; главным же его делом теперь стала народная школа и развитие собственной педагогической системы.

Яснополянская школа принадлежит к числу самых оригинальных попыток педагогической деятельности, когда-либо сделанных в истории: Толстой решительно восстал против всякой регламентации и дисциплины в школе; единственная метода преподавания и воспитания, которую он признавал, было полное отсутствие методы. Никакой определенной программы преподавания не было. Единственная задача учителя заключалась в том, чтобы заинтересовать класс: «С собою никто ничего не несет, – ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера». Несмотря на этот крайний педагогический анархизм, занятия шли прекрасно. Их вел сам Толстой, при помощи нескольких постоянных учителей и нескольких случайных, из ближайших знакомых и

приезжих.

Собственные идеи Лев Николаевич изложил в специальных статьях, доказывая, что основой обучения должна быть «свобода учащегося» и отказ от насилия в преподавании. В 1862-м издавал педагогический журнал «Ясная Поляна» с книжками для чтения в качестве приложения, ставшими в России такими же классическими образцами детской и народной литературы, как и составленные им в начале 1870-х годов «Азбука» и «Новая азбука».

Соединенные вместе, педагогические статьи Толстого составили целый том собрания его сочинений. Однако современники писателя не обратили на них никакого внимания. Мало того: из-за нападок Льва Николаевича на европейскую образованность и на излюбленное в то время понятие о «прогрессе» многие решили, что Толстой – «консерватор», и это представление держалось около 15 лет.

Малое внимание, которое было уделено педагогическим статьям Толстого, объясняется отчасти тем, что им тогда вообще мало занимались: критик Аполлон Григорьев справедливо озаглавил свою статью о Толстом (1862): «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой». Чрезвычайно радушно встретив дебюты Толстого и «Севастопольские рассказы», признав в нем великую надежду русской литературы, критика затем лет на десять-двенадцать, до появления «Войны и мира», охладела к нему, ей был не интересен писатель, интересовавшийся только вечными вопросами.

Весной 1862 года Лев Николаевич почувствовал серьезное недомогание и решил отправиться лечиться «на кумыс». Во время его пребывания в башкирских степях в яснополянской школе произошло неожиданное событие, которое привело к тому, что Лев Толстой прекратил учительствовать.

Подробный рассказ об этом приводится в воспоминаниях Е. Маркова: «Как мировой посредник первого призыва, горячо сочувствовавший делу освобождения крестьян, граф Л. Толстой действовал, разумеется, в таком духе, который страшно ожесточил против него огромное большинство помещиков. Он получал множество писем с угрозами всякого рода: его собирались и побить, и застрелить на дуэли, на него писали доносы. Как нарочно, в то самое время, когда он стал издавать журнал «Ясная Поляна», в Петербурге появились прокламации разных тайных противогосударственных партий, и тогдашняя полиция деятельно разыскивала, где скрывается печатающая их типография. Кто-то из озлобленных на Толстого местных обывателей тонко сообразил, что где же и печататься тайным

листкам и подметным воззваниям, как не в типографии журнала, издаваемого не в городе, как у всех честных людей, а в деревне, позабыв, однако, взглянуть на обертку журнала, где достаточно четким шрифтом было изображено, что журнал печатается вовсе не в деревне, а в самой благонамеренной типографии М. Н. Каткова в Москве. Тем не менее донос произвел целую бурю».

Летом 1862 года в Яснополянскую школу нагрянули жандармы с обыском в поисках тайной типографии; потом были обысканы еще семнадцать школ.

«Дела этого оставить я никак не хочу и не могу, – писал Л. Толстой. – Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоение, испорчена… Народ смотрит на меня уже не как на честного человека – мнение, которое я заслуживал годами, – а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты». Лев Николаевич решил жаловаться, и во время приезда государя Александра II в Москву лично подал ему прошение. Государь прислал ко Льву Николаевичу флигель-адъютанта с извинением. Тем не менее, нападки на Толстого остановили развитие школьного дела в Ясной Поляне.

В сентябре 1862 года в жизни писателя произошло событие, оказавшее огромное влияние на всю его последующую жизнь. Он женился на восемнадцатилетней Софье Андреевне Берс, дочери московского доктора из остзейских немцев. Ему было тогда тридцать четыре года.

К браку Толстой всегда относился очень серьезно, почти благоговейно. Еще в 1854 году он писал брату Сергею из Севастополя: «Одно беспокоит меня: я четвертый год живу без женского общества, и могу совсем загрубеть и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю». В 1856 году он писал одной девушке, которая некоторое время была почти что его невестой: «От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьезно смотрю на это. Есть люди, которые, женясь, думают: «Ну, не удалось тут найти счастье, у меня еще жизнь впереди». Эта мысль мне никогда не приходит, я все кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенно счастья, то я погублю все, – свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу зарезаться».

Кстати сказать, роман Толстого с этой барышней (Валерией Арсеньевой), ставший достоянием гласности после смерти Софьи Андреевны, производит, по словам В. Вересаева, «тяжелое впечатление своею рассудочностью и неразвернутостью: только-только еще зарождается чувство, обе стороны даже еще не уверены вполне, любят ли они, – а Толстой все время настойчиво уж говорит о требованиях, которые он предъявляет к браку,

рисует картины их будущей семейной жизни и т. п. Серенький роман этот интересен только как показатель силы, с какою Толстой рвался к семейной жизни».

Для Толстого Софья Андреевна оказалась идеальной женой и вполне удовлетворяла всем тем требованиям, которые он предъявлял к семейной жизни. Красавица, светски воспитанная (что тогда, по мнению Льва Николаевича, являлось необходимым условием); умелая, домовитая и энергичная хозяйка дома, всегда со связкой ключей на поясе, патриархально-семейственная, всю свою жизнь посвятившая мужу и детям. В ней он нашел не только друга, но и незаменимую помощницу во всех практических и литературных делах. Впрочем, С. А. Толстая нравилась не всем: «В ее жилах было мало славянской крови, а в характере – славянских черт, – писал Джеймс Мейвор. – Она проявляла крайнюю любезность и гостеприимство ко мне, однако я почувствовал в ней желание властвовать над другими». Ему вторил В. Розанов: «Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же и не может, и не хочет ничему повиноваться. Явно – умна, но несколько практическим умом. «Жена великого писателя с головы до ног», как Лир был «королем с головы до ног».

Она переписывала произведения Льва Толстого по семь раз, причем не окончательно договоренная мысль, недописанные слова и обороты под ее рукой часто получали ясное и определенное выражение – фактически она стала соавтором многих произведений писателя. Для Толстого наступил самый светлый период жизни – упоения личным счастьем, материального благосостояния, легко дающегося литературного творчества и славы, сначала всероссийской, а затем и всемирной.

Сбылось то, о чем Толстой мечтал в юности: «Мне хотелось, чтоб меня все знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя, – и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь». Так оно и случилось. Самые знаменитые люди считали за счастье послужить Толстому своим талантом. Однажды граф не смог попасть на концерт приехавшего в Москву Антона Рубинштейна и был этим очень огорчен. Пианист узнал об этом, приехал к Толстому и целый вечер играл ему. Лев Николаевич заинтересовался музыкой Чайковского, и тот специально для него одного устроил в консерватории концерт из своих произведений.

Восемнадцать лет счастливой семейной жизни были для Толстого временем наиболее продуктивного художественного творчества. За это время он написал «Войну и мир» и «Анну Каренину», не говоря о многих мелких рассказах. На рубеже

второй эпохи литературной жизни Толстого стоят задуманные еще в 1852 и законченные в 1861–1862 годах «Казаки».

Но колоссальная работа по созданию этих произведений отняла только небольшую часть сил Толстого. То и дело он отрывался от этой работы; в 1863 году Лев Николаевич писал Фету: «Я живу в мире, столь далеком от литературы, что… первое чувство мое – удивление. Да кто же такой написал «Казаков» и «Поликушку»? Да и что рассуждать о них?.. Теперь как писать? Я в «юхванстве» опять по уши. У меня пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня».

Но при этом Толстой отнюдь не был эгоистом. Несчастья, свидетелем которого он становился, вызывали в нем горячий сочувственный отклик и потребность вмешаться. В 1866 году солдат расположенного близ Ясной Поляны полка дал пощечину своему командиру, изводившему его придирками, и был предан военно-полевому суду. Толстой выступил его защитником, сказал на суде горячую речь, но, конечно, ничего не добился. Солдат был приговорен к смертной казни и расстрелян.

В 1870-е годы Толстой работал над романом «Анна Каренина», который ознаменовал начало третьего этапа в жизни писателя. В этом романе уже нет упоения блаженством бытия; хотя еще звучат мажорные ноты в почти автобиографическом романе Левина и Кити, но появляется и горечь в изображении семейной жизни.

«Анну Каренину» постигла весьма странная участь: все отдавали дань удивления и восхищения техническому мастерству, с которым она написана, но никто не понял смысла романа. На тревогу Левина (альтер-эго самого Толстого) смотрели как на блажь, хотя душевное беспокойство, омрачавшее его счастье, свидетельствовало о начале кризиса в духовной жизни писателя.

Толстому шел шестой десяток лет. Уж теперь-то, казалось бы, жизнь вполне определилась – счастливая жизнь всемирно признанного художника. И как раз в это время в душе писателя произошел глубокий надлом, и все его существование потеряло смысл. Будучи в цвете сил и здоровья, он утратил всякую охоту наслаждаться достигнутым благополучием; ему стало «нечем жить». Его перестали интересовать материальные ценности, он стал говорить себе: «ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии – 300 голов лошадей, а потом?»; равно как и литературная слава: «ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!» Начиная думать о воспитании детей, он спрашивал себя: «зачем»; рассуждая «о том, как народ может достигнуть

благосостояния», он «вдруг говорил себе: а мне что за дело?»

Естественным результатом кризиса была мысль о самоубийстве. «Я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я каждый день бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего-то еще надеялся от нее», – писал он в дневнике.

Чтобы найти ответ на измучившие его вопросы и сомнения, Толстой обратился к религии. Он стал вести беседы со священниками и монахами, ходил к старцам в Оптину пустынь, читал богословские трактаты, изучил древнегреческий и древнееврейский языки, чтобы в подлиннике изучить первоисточники христианского учения. Он присматривался к раскольникам, беседовал с молоканами, штундистами. С той же лихорадочностью искал смысл жизни в изучении философии и в знакомстве с результатами точных наук.

Фактически сознательная жизнь Толстого – если считать, что она началась в 18 лет, – разделилась на две равные половины по 32 года каждая, и вторая отличалась от первой, как день от ночи. В возрасте пятидесяти лет произошла радикальная смена нравственных основ жизни писателя: «То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг дорогой решил, что дело это ему совсем не нужно, – и повернул домой. И все, что было справа, – стало слева, и все, что было слева, – стало справа».

Вторая половина жизни Л. Н. Толстого стала отрицанием первой. «Со мною, – писал он, – стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?»

Переворот, совершавшийся в сознании Толстого, нашел отражение в его творчестве, прежде всего в переживаниях героев, которые занимают центральное место в повестях «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Отец Сергий», драме «Живой труп», в рассказе «После бала». Публицистика Толстого также дает представление о его душевной драме: он ставил вопросы смысла жизни и веры, подвергал уничтожающей критике все

государственные институты, доходя до отрицания науки, искусства, суда, брака, достижений цивилизации.

И Толстой нашел рецепт: нужно отдать все свое имущество, отказаться от всех культурных навыков, опроститься, жить трудовой жизнью, не противиться злу насилием, смиряться, терпеть и нести людям добро и любовь. «Все это было высказано категорически и безусловно, это не было «литературой», теоретическими рассуждениями «вообще», это был единственный, неизбежный для Толстого жизненный выход, слово его повелительно требовало от него своего претворения в жизнь. «Я буду дожидаться внизу», – писал В. Вересаев. – И вот он, – он все-таки остается «наверху». Друзья в недоумении, враги злорадствуют. Он с прежнею страстностью продолжает проповедывать, все время: «я понял», «мне стало ясно», – а сам вниз не идет. Богатств своих не раздает; как жуликоватый купец, подготавливающий злостное банкротство, переводит имущество на имя жены; продолжает жить в барской усадьбе прежнею роскошною жизнью, а из требований своего учения приспосабливает для себя то, что выгодно и приятно: занимается физическим трудом, – очень полезный моцион при умственной работе, носит удобную блузу вместо стеснительных сюртуков и крахмальных воротничков, бросил пить вино и курить, что весьма полезно для здоровья. И даже деньгами никому не хочет помогать: он, видите ли, отрицает пользу денежной помощи».

С. А. Толстая с начала 1880 года не сочувствовала взглядам Толстого; она стала не только неодобрительно, а враждебно относилась к тому новому, чем жил ее муж. «Я начинаю думать, – писала она ему, – что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только все ужасное, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо… Это тоскливое состояние уж было прежде давно: ты говоришь: «от безверья повеситься хотел?» А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастен?» – «Я так тебя любил, – отвечал Толстой, – и ты так напомнила мне все то, чем ты старательно убиваешь мою любовь!.. Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, ты пишешь, как про слабость».

Софья Андреевна все с большим раздражением нападала на него: «Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона… Тогда уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить – это по твоим убеждениям и что тебе так хорошо. Тогда это другое дело, и я могу только сказать: «наслаждайся», и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колоньи дров и шитье сапог. Ну, теперь об этом будет. Мне стало смешно, и я успокоилась на

фразе: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Толстой тяжело переживал то обстоятельство, что из издания его сочинений извлекается материальная польза, и в 1891 году он опубликовал письмо в газетах об отказе от права авторской собственности на последние произведения. Семейные условия и режим дома продолжали тяготить его.

Жизнь в Ясной Поляне к тому времени была значительно проще, чем во многих помещичьих домах России. Соседние деревни в других имениях процветали по сравнению с Ясной Поляной. Избы и дороги находились в лучшем состоянии, поля лучше обрабатывались. Сама Ясная Поляна не производила впечатления ухоженного имения, хотя кое-где встречались признаки заботы.

Георг Брандес[41] называл Толстого того времени типичным мужиком, однако хотя он и носил крестьянскую одежду, но ни внешне, ни манерой держаться не напоминал крестьянина. Ни один мужик не обладал таким пронизывающим взглядом, таким самообладанием и властностью. Джеймс Мейвор так описывал Л. Н. Толстого в 1899 году: «Как у многих русских, у него были широкие плечи и тонкая талия. Носил он обычные для себя сапоги, с заправленными в них брюками, и выцветшую крестьянскую рубаху, подпоясанную узким кожаным ремешком, за который обычно закладывал одну, а то и обе руки. У него был высокий лоб, большой и широкий нос, лохматые брови нависали над блестящими голубыми глазами, рот был большой, губы полные и подвижные, зубов почти не было. Взгляд его был добрым, рот же выражал твердость характера».

Таким был писатель в третий период своей литературной деятельности. Его отличительной чертой стало отрицание всех установившихся форм государственной, общественной и религиозной жизни. Отношение Толстого к государству было более непримиримым, чем у анархиста Кропоткина. Государство с его законами осуществляло контроль за людьми, Толстой же не терпел никакого надзора за своими действиями. В свою очередь он не испытывал ни малейшего желания контролировать других, а потому считал государство и его законы обременительными, даже если они и были благотворны.

Толстой размышлял о будущем человечества. Его не устраивали правительственные изменения, еще меньше – общественные перемены. По его мнению, мир крайне нуждался в религиозном движении. Он считал, что распространяющееся повсюду религиозное чувство без веры и обряда – это именно то, что нужно.

Толстой ясно видел, что осмысленной может считаться

только такая жизнь, которая способна выдержать проверку вопросом: «Ради чего вообще жить, если все будет поглощено смертью?» Человек хочет, чтобы его жизнь имела смысл, но при этом осуществление своих желаний люди чаще всего связывают с цивилизацией. Предполагается, что человек может избавиться от внутренней неустроенности с помощью достижений науки, искусств, роста экономики, развития техники, создания уютного быта и т. д. Однако личный опыт Льва Николаевича показал, что этот путь является ложным.

По мнению Толстого, человек находится в разладе с самим собой. В нем как бы живут два человека – внутренний и внешний, из которых первый недоволен тем, что делает второй, а второй не делает того, чего хочет первый. Большинство людей бессознательно исходят из того, что внутренний человек зависит от внешнего, что состояние души является следствием положения человека среди людей, хотя на самом деле материальный и культурный прогресс не затрагивают движений души.

Л. Н. Толстой обратился к духовному опыту людей, живущих собственным трудом, опыту крестьян. Они, как оказалось, хорошо знакомы с вопросом о смысле жизни, который не представляет для них никакой загадки. Ответ на него – вера.

Малообразованность крестьян, отсутствие у них философских и научных познаний не препятствовали пониманию истины жизни, скорее наоборот, помогали, поскольку вопрос о смысле жизни, согласно Толстому, есть вопрос веры, а не знания («у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить»).

Разум может знать, что существует Бог, но он не может постичь самого Бога (поэтому Толстой решительно отвергал церковные суждения о Боге, о триединстве Бога, творении им мира в шесть дней, легенды об ангелах и дьяволах, грехопадении человека, непорочном зачатии и т. п., считая все это грубыми предрассудками). Признание Бога как начала, источника жизни и разума ставит человека в совершенно определенное отношение к нему: человек живет не для себя, а для Бога.

У человека нет возможности непосредственно общаться с Богом, но он может сделать это косвенно, через правильное отношение к другим людям и правильное отношение к самому себе. Правильное отношение к себе кратко можно определить как заботу о спасении души, в которой живет идеал полного, бесконечного божеского совершенства. Только стремление к этому совершенству отклоняет направление жизни человека от животного состояния. С этой точки зрения не имеет значения реальное состояние индивида, ибо какой бы высоты духовного

развития он не достиг, она ничтожна по сравнению с недостижимым совершенством идеала.

Правильное отношение к другим людям определяется тем, что надо любить людей как братьев, без каких-либо исключений, независимо от каких бы то ни было мирских различий между ними. Противоположностью любви является насилие, а потому от него нужно отказаться, даже в случаях, когда тебе причиняют зло.

Непротивление злу насилием – больше чем отказ от закона насилия. Оно как раз и означает признание изначальной, безусловной святости человеческой жизни. Через непротивление человек признает, что вопросы жизни и смерти находятся за пределами его компетенции и отказывается быть судьей по отношению к другому, поскольку не считает себя лучше его. Не других людей надо исправлять, а самого себя. Непротивление отличается от насилия тем, что оно является областью индивидуально ответственного поведения.

Самым главным средоточием насилия является государство с его армиями, всеобщей воинской повинностью, присягами, податями, судами, тюрьмами и т. д. Толстой считал смертную казнь формой убийства, которая намного хуже, чем просто убийство из-за страсти или по другим личным поводам. Вполне можно понять, что человек в минутной злобе или раздражении совершает убийство, чтобы защитить себя или близкого человека, можно понять, что он, поддавшись коллективному внушению, участвует в совокупном убийстве на войне. Но нельзя понять, как люди могут совершать убийство спокойно, обдуманно, и даже считать его необходимым. Вся цивилизация основана на законе насилия, хотя и не сводится к нему.

Толстой отрицал цивилизацию, государство, церковь как институты подавления человека, и у него нашлось немало последователей. Его учение – «толстовство» – превратилось в своеобразную религию и привело к тому, чего Толстой так пытался избежать. Л. Троцкий в 1908 году писал: «Отрицатель всей капиталистической культуры, он встречает благожелательный прием у европейской и американской буржуазии, которая в его проповеди находит и выражение своему беспредметному гуманизму. Консервативный анархист, смертельный враг либерализма, Толстой к своей восьмидесятилетней годовщине оказывается знаменем и орудием шумной и тенденциозно-политической манифестации русского либерализма». Раньше об этом же говорил и Дж. Мейвор: «Никто не презирал слепого подражания более, чем Толстой, и никто не страдал от этого более, чем он сам. Постепенно вокруг него собралась группа людей… – каждый из них человек прекрасной

души, однако любого из них можно было легко обвинить в догматизме. Они относились к Толстому так, будто он был церковным иерархом, что вызывало не всегда добродушные насмешки со стороны рядовых последователей Толстого. Взгляды и высказывания Толстого стали цитировать так, будто они вдохновлены свыше, и, несмотря на протесты самого Толстого, легенда о «папской непогрешимости» постепенно сливалась с его именем».

Критики последней фазы литературно-проповеднической деятельности Толстого считали, что художественность его произведений пострадала от преобладания идеологических интересов, и что творчество теперь нужно писателю для пропаганды его общественно-религиозных взглядов. Дж. Мейвор отмечал: «В России никто не мог превзойти его как художника слова, за исключением, возможно, Тургенева. А как пророку и провидцу ему не было равных в мире… хотя его роль пророка губительно сказывалась на его художественных произведениях и ограничивала их как в количестве, так, вероятно, и в качестве. В «Войне и мире» и в «Анне Карениной» нет морализаторства, но в «Воскресении» есть нравственная идея, привнесенная для того, чтобы вернуться к пророческому пафосу».

Последним по времени фактом биографии Толстого стало определение Святейшего Синода от 20–22 февраля 1901 года. «Известный всему миру писатель, – написано в нем, – русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекшись от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений противных Христу и церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которой жили и спасались наши предки и которой доселе держалась и крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской: отвергает личного живого Бога, в Святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной; отрицает Господа Иисуса Христа – Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых; отрицает бессменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и

по рождестве Пречистой Богородицы Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию». В силу всего этого «церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с ней». Толстой был отлучен от православной церкви и предан анафеме.

В конце жизни семейная и личная жизнь Толстого резко изменилась.

В 1910 году граф Андрей Толстой, супруг графини Ольги, бежал с женой тульского губернатора, за этим бегством последовал развод. Графиня с маленькой дочкой жила у своей сестры. Некоторые члены семьи Льва Николаевича доставили ему и другие огорчения, а отношения Толстого и его жены серьезно осложнились. Доходы семьи уменьшились; к тому же революция 1905–1907 годов вызвала повышение заработной платы работникам. Для защиты дома от нападения крестьян графиня наняла на службу вооруженного черкеса. Деревня приходила в упадок. Кирпичные постройки – эксперимент 1899 года – совершенно развалились, а избы были ветхи.

Расточительность сыновей осложнила ситуацию. Чтобы пополнить доходы и как-то выйти из создавшегося положения, графиня потребовала соблюдения авторских прав на сочинения ее мужа за рубежом и в России, но этот поступок не встретил одобрения Толстого: сам он всегда отказывался принимать гонорары за свои сочинения.

Когда острый экономический кризис довел графиню до истерики, пророкоподобное спокойствие Толстого нарушилось, и весь строй семейной жизни был поколеблен. Писатель и его семейные дела обсуждались на разные лады не только в России, но и за рубежом. Разногласия между Толстым и его женой, становясь достоянием гласности, лишь обострялись.

Писатель твердо знал, что ему нужно, чтобы не загубить остаток жизни, – уйти из Ясной Поляны и стать странником. «Необходимость бездомовности, бродяжничества для христианина, – писал Толстой одному из своих друзей, – была для меня в самое первое время моего обращения самой радостной мыслью, объясняющей все, и такою, без которой истинное христианство не полно и не понятно».

Однако Толстой много лет подряд не мог уйти из дому, несмотря на неоднократные попытки. Почему? – задается вопросом В. Вересаев. И сам отвечает – из-за жены, Софьи

Андреевны. Дело в том, что она была настоящей «писательской женой», а Лев Толстой не был писателем, литературная деятельность была для него вторична. «Вот тут – вся суть этой тяжелой драмы… Будь он Флобером, Зола, Ибсеном, Достоевским, – и как бы хорошо, как радостно и благообразно шла бы жизнь! Широкая слава, всеобщее уважение. Лавреат и почетный член академий всего мира. Колоссальные гонорары. Прекрасная барская усадьба для лета, уютный дом в Москве для зимы. Вполне обеспеченное существование. Большая, дружная семья, счастливые дети, бесчисленные, милые внучата. Всегда полный дом самых избранных гостей. Чего еще желать? О, ей, хозяйке, – ей тут работы без конца; но она на это не жалуется. Работа радостная и привычная. Сложное управление домом и хозяйством, оберегание покоя и удобств великого своего мужа, заботы и хлопоты о детях. Денег, конечно, никогда не хватает, – расходов так много! Но энергии у нее довольно. Она сама обшивает мужа и детей, сама издает сочинения мужа, – это гораздо выгоднее, чем продавать издателям. Тонет в корректурах, принимает подписку. Судится с мужиками: они так наглы, так бесцеремонно рубят ее лес; если не будет острастки, то скоро и парк начнут рубить. Мало того, что на расходы нужны деньги. Нужно еще обеспечить всех детей. А их очень много. Все они женаты, замужем. Каждому нужно по хорошему именьицу».

И вдруг Лев Толстой, центр этой стройной системы заявляет: ничего этого не нужно. Мало того – все это преступно. Нужно отказаться от неправедно нажитого богатства и начать жить трудами своих рук. «Все это, конечно, очень было бы хорошо и трогательно в романе, – продолжает В. Вересаев. – Но в жизни, в жизни! Одним махом собственными руками разрушить благополучие, создавшееся ими обоими в течение десятков лет». Что это, – блажь спятившего с ума человека, не понимающего, что он говорит? Однако Толстой был серьезен как никогда. И любящая жена превратилась в тигрицу: ей не до того, что о ней будут говорить биографы, не до уважения к своему великому мужу. Когда Толстой захотел осуществить свое намерение и раздать все свое добро, – рассказывал его биограф П. И. Бирюков, – «ему было категорически объявлено, что если он начнет раздавать имущество, то над ним будет учреждена опека за расточительность, вследствие психического расстройства».

Началась долгая, упорная, скрытая от чужих взглядов борьба. Софья Андреевна даже пыталась покончить с собой – она отправилась на станцию железной дороги Козловку-Засеку, чтоб лечь под поезд. Толстую случайно встретил возвращавшийся с прогулки муж ее сестры и сумел отговорить.

В другой раз управляющий Ясной Поляны поймал мужиков за кражей леса; их судили и присудили к шести неделям острога. Они пришли к Софье Андреевне просить о помиловании, но та ответила, что ничего не хочет и не может для них сделать. Лев Толстой требовал простить мужиков, но жена осталась непоколебима и отправила воров в острог.

Толстой категорически заявил жене, что видит для себя два выхода из создавшегося положения: либо отдать землю крестьянам и отказаться от имущества, либо уйти из дома. Первому Софья Андреевна упорно сопротивлялась. Оставался второй путь, – казалось бы, самый простой и для обеих сторон наиболее безболезненный. Но не так оказалось на деле.

17 июня 1884 года Толстой писал в дневнике: «Я хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу». В декабре 1885 года Лев Николаевич объявил жене, что хочет развестись с ней и уехать в Париж или в Америку. «Начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже, – пишет она сестре. – Когда же он сказал, что «где ты, там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Прибежали дети, рев… Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочка, и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его… Я все эти нервные взрывы, и мрачность, и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе… топлением печей, возкой воды и пр. он замучил себя до худобы и до нервного состояния».

И такие сцены разыгрывались все чаще. Уходу Толстого из дома Софья Андреевна противилась так же упорно, как раздаче имущества. Ему оставалось только тайное бегство свободного человека из собственного дома.

В 1897 году Толстой пытался бежать: сначала в Калугу, а оттуда – в Финляндию. Жене он оставил письмо: «Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, со своей совестью. Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы остался, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно, и не сетуй на меня, не осуждай меня. <…> Я не осуждаю тебя, а напротив, с любовью и

благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни. Благодарю, и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя Лев Толстой».

Но он на этот раз не уехал, и письмо осталось не отправленным.

Тяжело наблюдать этот период жизни Толстого. По сути он не мог сделать то, к чему стремился всей душой. Получался фарс, вызывающий улыбку и раздражительное недоумение. Полон дом прислуги; горничные и дворники не знают, чем заняться, – а Толстой сам стелет себе постель и топит печку. Лакеи самым существом своей работы поставлены в унизительное положение, – а Толстой здоровается с ними за руку, вызывая в них только смущение и конфуз. В Москве он уходил пилить дрова с мужиками, которые считали это барской прихотью с его стороны. В своей деревне он сам пахал, косил, убирал сено, когда были наемные работники.

В условиях той бедности, которой Толстой для себя желал, это была бы, действительно, проповедь христианской любви делом. Но когда это делал барин-граф, то работа превращалась в блажь, забаву, «игру в Робинзона». И конечно, Толстой хорошо понимал всю фальшь и ненужность своих трудов.

И даже слава писателя превратилась для него в проклятие. Его товарищей и учеников отправляли в ссылку, в тюрьмы, в дисциплинарные батальоны, а его самого никто не смел тронуть. Он писал министрам, что корень зла – в нем, Толстом, что странно наказывать распространителей его учения, а его самого не трогать. Александр III злорадно заметил: «Толстой ждет от меня мученического венца, – не дождется!»

В условиях, в которые попал Толстой, мученичество начало казаться ему верхом счастья. Он писал одному из своих единомышленников, сидящему в тюрьме: «Ничто бы так вполне не удовлетворило меня и не дало бы мне такой радости, как то, чтобы меня посадили в тюрьму, хорошую, настоящую тюрьму: вонючую, холодную, голодную. Это доставило бы мне на старости лет искреннюю радость и удовлетворение».

И вот, ночью 28 октября 1910 года Толстой принял окончательное решение и тайком ушел из дому. В письме, оставленном жене, он писал, что не может больше жить в той роскоши, которая его окружает, что хочет провести последние годы жизни в уединении и тиши, просил жену понять это и не ездить за ним, если она узнает, где он. Софья Андреевна, узнав о бегстве мужа, бросилась в пруд, чтоб утопиться, и ее вытащили следившие за ней близкие.

Толстой поехал к своей сестре-монахине в Шамардино,

Калужской губернии, думал прожить там с месяц. И вдруг получил известие, что Софья Андреевна едет за ним. Больной с повышенной температурой, под дождем и ветром, он с другом-доктором и дочерью рано утром уехал на лошадях за восемнадцать верст в Козельск, там сел в поезд, чтобы пробраться в Ростов, но на станции Астапово, тяжелобольного писателя пришлось снять с поезда и поместить в домике начальника станции. Здесь он провел последние семь дней своей жизни. За сообщениями о здоровье Толстого следила вся Россия.

Он умирал – это было ясно и для него самого, и для всех окружающих. «А мужики-то, мужики-то как умирают, – жалостно говорил он. – Как видно, мне в грехах придется умирать…» И перед самой смертью шептал про себя: «Не понимаю, что мне делать!»

Похороны Толстого в Ясной Поляне стали событием всероссийского масштаба. Беспримерная знаменитость Толстого выразилась в небывалом количестве переводов его произведений на иностранные языки и поистине необъятном количестве статей и книг посвященных его творчеству. Как написал В. Вересаев в своей статье «Толстой – художник жизни»: «У Льва Толстого есть биография – яркая, красивая, увлекательная биография человека, ни на минуту не переставшего жить. Он не скакал на месте в огороженном стойле, – он, как дикий степной конь, несся по равнинам жизни, перескакивая через всякие загородки, обрывая всякую узду, которую жизнь пыталась на него надеть… Как всякий живой человек, Толстой не укладывается ни в какие определенные рамки. Кто он? Писатель-художник? Пророк новой религии? Борец с неправдами жизни? Педагог? Спортсмен? Сельский хозяин? Образцовый семьянин? Ничего из этого в отдельности, но все это вместе и, кроме того, еще много, много другого».

Булгаков Михаил Афанасьевич

Так случилось, что Михаил Афанасьевич Булгаков был «летуном» – достойным всяческого презрения искателем легкой наживы, который вместо того чтобы устроиться на какую-нибудь службу и честно провести на ней всю свою трудовую жизнь, места работы менял часто. Не по своей, правда, воле, но это сути дела не меняет – даже хуже. Раз увольняли, значит, было за что.

Как и все советские граждане, Михаил Афанасьевич Булгаков при поступлении на очередную «службу» в обязательном порядке писал автобиографию, которая прилагалась к «листку по учету

кадров». Одна из них, датированная мартом 1931 года, хранится в Отделе рукописей Государственного литературного музея. Биография лаконичная, сухая – да, впрочем, какой еще быть казенной бумажке. Содержание ее, однако, противоречит негласно установленной форме этого документа, хорошо известной каждому, кто устраивался на работу в государственную структуру или поступал в вуз.

Итак, вот автобиография М. А. Булгакова, написанная им за девять лет до собственной смерти:

«Родился в 1891 году в Киеве. Сын профессора. Окончил Киевский университет по медицинскому факультету в 1916 году. Тогда же стал заниматься литературой, нигде не печатаясь до 1919 года.

В годы 1919–1921, проживая на Кавказе, писал фельетоны, изредка помещаемые в газетах, изучал историю театра, иногда выступал в качестве актера.

В 1921 году переехал в Москву, где служил в газетах репортером, затем фельетонистом.

В годы 1922–1924, продолжая газетную работу, писал сатирические повести и роман «Белая гвардия».

В 1925 году, по канве этого романа, написал пьесу, которая в 1926 году пошла в Московском Художественном театре под названием «Дни Турбиных» и была запрещена после 289-го представления.

Следующая пьеса «Зойкина квартира» шла в театре имени Вахтангова и была запрещена после 200 представления.

Следующая – «Багровый остров» шла в Камерном театре и была запрещена приблизительно после 50-го представления.

Следующая – «Бег» была запрещена после первых репетиций в Моск. Художественном театре.

Следующая – «Кабала святош» была запрещена сразу и до репетиций не дошла.

Через 2 месяца по запрещении «Кабалы» (в мае 1930 года) был принят в Московский Художественный театр на должность режиссера, находясь в которой, написал инсценировку «Мертвых душ» Гоголя.

В марте 1931 года был принят кроме режиссуры и в актерский состав Московского Художественного театра.

Михаил Булгаков Москва, март 1931 года».

Надо сказать, что появление этой автобиографии стало прямым следствием отчаянного шага писателя – письма правительству, после которого Булгакову, наконец, дали работу. А если бы М. Булгаков задался целью перечислить все, что не было издано и поставлено, все, что было возвращено редакциями, подвергнуто жесточайшей цензуре, запрещено к изданию, все, что было уничтожено им самим из страха перед арестом, то его автобиография оказалась бы намного длиннее.

Многие произведения были впервые опубликованы через десятки лет после смерти писателя: «Бег», «Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман», «Мастер и Маргарита», полный текст «Белой гвардии», «Собачье сердце». И если когда-то его произведения либо подвергались жестокой критике, либо замалчивались, то начиная с середины 1980-х годов публикация романов и постановка пьес Булгакова приняла лавинообразный характер, а сам он был признан гением русской литературы. Писателю отвели место в пантеоне классиков, его творчество начали изучать стремясь обнаружить тайные смыслы и сокровенное знание. Эта метаморфоза видна особенно хорошо при прочтении посвященных М. А. Булгакову статей в изданиях Большой Советской Энциклопедии разных лет. Итак, БСЭ, 1927 год: «…Характер устремлений ставит Булгакова на крайний правый фланг современной русской литературы, делая его художественным выразителем правобуржуазных слоев нашего общества»; БСЭ, 1951: «в романе "Белая гвардия" (1924) пытался идеализировать белогвардейцев. Стремлением оправдать белогвардейщину отмечена также и написанная им позднее пьеса "Бег"… Ошибочные и во многом идейно-чуждые взгляды Булгакова не дали ему возможности глубоко и верно раскрыть и явления исторического прошлого». БСЭ, 1971: «Булгаков – драматург и повествователь – владел отточенным мастерством реалистической техники, сатиры, гибкой, живой речи и стремительного сюжета».

Последняя треть XX века стала триумфом писателя, именуемого не иначе как Мастер. Теперь автор «Мастера и Маргариты» предстает благородным обломком империи, рыцарем без страха и упрека, трагической жертвой послеоктябрьского режима, безупречным джентльменом, задыхавшимся в «душных стенах совдепии». Хотя на самом деле, эти утверждения, по-видимому, столь же далеки от истины, сколь и огульная критика современных Булгакову литературных критиков.

В общем, слова Булгакова о литературоведах: «…Ни читателю, ни писателю это абсолютно неинтересно. Они пишут друг для друга» продолжают оставаться актуальными.

3 мая 1891 года в Киеве в семье преподавателя Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и его жены, учительницы, Варвары Михайловны (в девичестве Покровской) родился первый ребенок – сын. 18 мая мальчика крестили по православному обряду в Крестовоздвиженской церкви (на Подоле). Будущий писатель получил имя в честь хранителя города Киева, архангела Михаила. В следующие годы у Булгаковых родилось еще шесть детей: четыре девочки и два мальчика.

18 августа 1900 года Миша Булгаков поступил в приготовительный класс Второй киевской гимназии, а через год перешел в первый класс Первой киевской мужской Александровской гимназии.

В начале 1907 года Булгаковы переехали на Андреевский спуск, 13 – пожалуй, самое знаменитое булгаковское место в Киеве (теперь там открыт литературный музей Булгакова). В апреле от болезни почек умер Афанасий Иванович Булгаков; его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Летом 1908 года Михаил Булгаков познакомился с саратовской гимназисткой Татьяной Николаевной Лаппа, приехавшей в Киев на каникулы (в 1915 году она стала первой женой писателя).

В 1909 году Булгаков окончил гимназию и поступил в Киевский университет на медицинский факультет. Он, конечно, предпочел бы стать артистом или литератором, тем более, что в семье много читали, постоянно ставили домашние спектакли, которые сами же и сочиняли, устраивали вечеринки. Однако не хватало уверенности в собственном таланте, да и медицина была семейным делом – врачей в роду было много. Так что Михаил поступил в университет и попал в самую гущу общественной и научной жизни. Преподаватели медицинского факультета были светилами врачебной науки и практики. Студенты участвовали в забастовках по поводу смерти Льва Толстого и покушения на Столыпина, Ленского расстрела и годовщины Кровавого воскресенья. Впрочем, неизвестно, насколько вся эта политическая активность захватила Михаила – значительно больше его волновала любовь к Татьяне Лаппа.

Одна из поездок студента-медика Булгакова в Саратов к Татьяне совпала с началом Первой мировой войны, и он принял участие в организации лазарета для раненых и работал там врачом. Осенью Михаил вернулся в Киев для продолжения занятий в университете.

Весной 1915 года Булгаков изъявил желание служить врачом в морском ведомстве, однако его признали негодным к несению

военной службы по состоянию здоровья. Тем не менее, 18 мая он с разрешения ректора университета поступил на работу в Киевский военный госпиталь. К этому моменту Булгаков был женатым человеком.

Венчание с Татьяной Лаппа состоялось в Киево-Подольской церкви Николы Доброго 26 апреля 1915 года. Перед свадьбой жених сочинил шутливую пьесу «С миру по нитке – голому шиш», в которой был такой диалог: «**Бабушка**: Но где же они будут жить? **Доброжелательница**: Жить они вполне свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася – на умывальнике».

Родственники считали их женитьбу чистейшим безумием. Мама жениха писала старшей дочери: «Моя милая Надя! Давно собираюсь тебе написать, но не в силах в письме изложить тебе всю эпопею, которую я пережила в эту зиму: Миша совершенно измочалил меня. В результате я должна предоставить ему самому пережить все последствия своего безумного шага… Дела стоят так, что все равно они повенчались бы, только со скандалом и разрывом с родными; так я решила устроить лучше все без скандала».

«Фаты у меня, конечно, никакой не было, – вспоминала Татьяна Лаппа о дне свадьбы. – Подвенечного платья тоже. Я куда-то дела все деньги, которые отец прислал. Мама приехала на венчанье – пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку, мама купила блузку».

Молодые вели довольно беззаботный образ жизни. «Отец присылал мне деньги, – рассказывала Татьяна Николаевна, – а Михаил давал уроки… Мы все сразу тратили… Вообще к деньгам он относился: если есть деньги – надо их сразу использовать. Если последний рубль, и стоит тут лихач – сядем и поедем! Или один скажет: «так хочется прокатиться на авто!» – тут же другой говорит: «Так в чем дело – давай поедем!» Мать ругала за легкомыслие».

Первая мировая война изменила быт молодоженов. В апреле 1916 года Михаил Булгаков, успешно сдавший выпускные экзамены, получил «Временное свидетельство» об окончании университета, и отправился на передовую. Он работал врачом в прифронтовых госпиталях городов Каменец-Подольска и Черновиц. Жена Татьяна последовала за ним, стала сестрой милосердия и ассистировала мужу во время операций.

В июле того же года Михаила Булгакова зачислили «врачом резерва Московского военно-санитарного управления» и откомандировали в распоряжение смоленского губернатора с целью работы в земствах. Булгаков начал работу в Никольской

земской больнице Сычевского уезда Смоленской губернии. Жена поехала за ним. Из смоленской глубинки Миша писал одному из киевских друзей: «Представляю, как ты в смокинге, в пластроне шагаешь по ногам первых рядов партера, а я…»

В 1917 году семья Булгаковых в очередной раз отправилась в Саратов, к родителям жены, и там их застало известие о Февральской революции. Булгаков съездил в Киев, забрал документы об окончании университета и вернулся в Никольское. Рутинный быт земского врача, огромное нервное и физическое напряжение (в день к нему обращалось до ста посетителей) привели к тому, что он начал злоупотреблять морфием. Точкой отсчета стала прививка от дифтерита, которую сделал себе, опасаясь заражения после проведенной трахеотомии у больного ребенка. Прививка вызвала аллергию и сильный зуд, который Булгаков стал заглушать морфием, и постепенно употребление наркотика вошло в привычку.

18 сентября 1917 года Михаила Афанасьевича перевели в Вяземскую городскую земскую больницу Смоленской губернии, где он стал заведовать инфекционным и венерическим отделением.

К этому времени относятся первые литературные опыты Булгакова – он начал работать над циклом автобиографических рассказов о медицинской практике в Никольской больнице, которые в конце концов превратились в «Записки юного врача» и «Морфий». Т. Н. Лаппа вспоминала: «Когда мы после Никольского попали в Вязьму, Михаил начал регулярно по ночам писать. Сначала я думала, что он пишет пространные письма к своим родным и друзьям в Киев и Москву. Я осторожно спросила, чем он так занимается, на это он постарался ответить уклончиво и ничего не сказал. А когда я стала настаивать на том, чтобы он поделился со мною, Михаил ответил приблизительно так: «Я пишу рассказ об одном враче, который болен. А так как ты человек слишком впечатлительный, то, когда я прочту это, в твою голову обязательно придет мысль, что в рассказе идет речь обо мне». И конечно же, не стал знакомить с написанным, несмотря на то что я очень просила и обещала все там понять правильно». Морфинист Булгаков боялся показать жене результаты своих наблюдений за собственным состоянием.

В феврале 1918 года Михаила Афанасьевича освободили от военной службы, и он с женой возвратился в Киев. Они поселились в родительском доме на Андреевском спуске, 13. Возвращение в Киев подействовало на Булгакова благотворно – с помощью второго мужа матери, врача Ивана Павловича Воскресенского, он избавился от морфинизма и начал частную

практику как венеролог.

Булгаков не оставил и литературную деятельность; он активно сотрудничал в киевских газетах, публикуя там свои статьи и репортажи. «Когда приехали из земства, – вспоминает Татьяна Николаевна, – в городе были немцы. Стали жить в доме Булгаковых на Андреевском спуске… Михаил все сидел, что-то писал. За частную практику он не сразу взялся». Как бы продолжая эти воспоминания, Надежда Афанасьевна Земская, сестра писателя, отмечает: «В Киев в 1918 году он приехал уже венерологом. И там продолжал работу по этой специальности – недолго. В 1919 году совершенно оставил медицину для литературы».

В это время в Киеве постоянно менялась власть. 29 октября 1917 года состоялось восстание большевиков, которое было подавлено войсками П. Скоропадского. Город захватила Центральная рада {58}, в январе власть перешла к большевикам, а к марту вернулось правительство Украинской народной республики (УНР). В апреле 1918 года Скоропадский при поддержке германского правительства объявил о низложении правительства УНР и о возложении на себя полномочий главы государства. В августе 1918-го оппозиционные политические силы объединились в «Украинский национально-государственный союз» (позже «Украинский национальный союз»), который провозгласил «Борьбу за законную власть на Украине» и «Охрану прав украинского народа». Во главе его встал В. К. Винниченко.

После поражения в Первой мировой войне германские войска начали эвакуацию из Украины и прекратили поддержку Скоропадского. 14 ноября была провозглашена Директория {59}, во главе которой стал В. Винниченко, а армию УНР возглавил С. Петлюра, находящийся в резкой оппозиции к Скоропадскому.

14 декабря 1918 года Булгаков, по его собственным воспоминаниям, «был на улицах города». В этот день в город вошли войска Украинской Директории во главе с Симоном Петлюрой, а Булгаков в составе офицерской дружины безуспешно пытался защитить правительство гетмана Скоропадского. В начале февраля 1919 года Михаила Булгакова мобилизовали как военного врача в армию УНР, однако в ночь на 3 февраля при отступлении украинских войск из Киева он успешно дезертировал. Т. Лаппа вспоминала: «Мишу мобилизовали синежупанники. В час ночи звонок, открываем, стоит весь бледный, говорит, его уводили со всеми, прошли мост, дальше столбы какие-то, он отстал, кинулся за столб – его не заметили».

В конце августа Булгакова, по-видимому, снова мобилизовали – на этот раз в Красную Армию. Вместе с ней он покинул Киев, а

14–16 октября возвратился. В ходе боев на улицах города перешел на сторону Вооруженных сил Юга России (или попал к ним в плен).

Два младших брата Булгакова волею судеб оказались в Пятигорском госпитале, и мать решила, что спасти их может только Михаил. Он отправился на Северный Кавказ с Добровольческой армией и стал военным врачом (начальником санитарного околотка) 3-го Терского казачьего полка, участвовал в походе против восставших чеченцев. «За что ты гонишь меня, судьба? – сетовал Булгаков в дневнике. – Моя любовь – зеленая лампа и книги в моем кабинете. Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет? А еще лучше, если б совсем не родился. В один год я перевидал столько, что хватило бы Майну Риду на десять томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло приключениями и совершенно загрызен вшами. Погасла зеленая лампа, вместо книг я вижу в бинокль обреченные сакли, пожарища, скачущих чеченцев и преследующих их казаков. Проклятие войнам отныне и вовеки!»

Булгаков и Лаппа осели во Владикавказе. 26 ноября 1919 года в газете «Грозный» появилась первая публикация Булгакова. Это был ядовитый фельетон «Грядущие перспективы»: «Титаническая работа на зализывающем раны Западе вознесет его на невиданную высоту могущества. Нашу же несчастную Родину революция загнала на самое дно ямы позора и бедствия. И долго еще жизни не будет, а будет смертная борьба. Неимоверным трудом придется платить за безумие мартовских дней и безумие дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за нещадное пользование станками для печатания денег: за все!» И в этой же статье: «Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть. Не видеть! Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее. В самом деле: что же будет с нами?.. А мы? Мы опоздаем… Ибо мы наказаны… И мы, представители неудачного поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать детям: платите, платите честно и вечно помните социальную революцию».

Булгаков работал в военном госпитале, но к концу декабря оставил занятия медициной (несмотря на свою славу прекрасного врача и диагноста), стал журналистом, публиковал злободневные фельетоны – и всю жизнь впоследствии вынужден был скрывать, что печатался при белых.

В конце февраля Булгаков заболел возвратным тифом и никак не мог выздороветь до начала апреля. Из-за болезни не смог покинуть Владикавказ и Россию вместе с П. Врангелем, чего

так и не простил своей жене. А ведь он выжил только благодаря ее усилиям: она по ночам бегала по городу в поисках врача, продавала на рынке звенья золотой цепи, подаренной ей к свадьбе, чтобы покупать продукты для Михаила. В итоге белые ушли, с ними эмигрировали братья Иван и Николай, а больной тифом Михаил остался.

«Он часто упрекал меня, – рассказывала потом Татьяна Николаевна, – ты слабая женщина, не могла меня вывезти!» Но когда два врача говорят, что на первой же остановке умрет, – как же я могла везти? Они мне так и говорили: «Что же вы хотите – довезти его до Казбека и похоронить?..» После ухода белых однажды утром я вышла – и вижу, что город пуст… В это время – между белыми и советской властью – в городе были грабежи, ночью ходить было страшно…»

Когда Михаил Афанасьевич поправился, в городе установилась Советская власть. Надо было как-то жить и Булгаков обратился к знакомому писателю Юрию Слезкину с просьбой о помощи. Тот устроил Михаила к себе в подотдел искусств Владикавказского ревкома (Булгаков называл свою службу «подудел») и предложил выступать со вступительным словом перед спектаклями Владикавказского русского театра, а Татьяна Лаппа стала работать в том же театре статисткой.

Так М. Булгаков стал заведующим литературным отделом подотдела искусств отдела народного образования Владикавказского ревкома, а в конце мая заведующим театральным отделом того же подотдела. Он так описывал свое рабочее место: «В комнате два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы, две барышни с фиолетовыми губами на машинке стучат. Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел».

Жизнь в городе постепенно налаживалась: оживали театр, опера, цирк; самодеятельные коллективы репетировали в клубах спектакли; на диспутах до хрипоты спорили обо всем на свете. «Пора кинуть в очистительный костер народного гнева корифеев литературы вроде Пушкина!» Гневливому оратору возражал Булгаков: «Пушкин бессмертен, ибо в его произведениях заложены идеи, обновляющие духовную жизнь народа». В итоге Михаила Афанасьевича обозвали «буржуазным элементом», а вечера запретили.

Все это время Булгаков не переставал писать. Он создал одноактную юмореску «Самооборона», «большую четырехактную драму» «Братья Турбины (Пробил час)» (премьера последней состоялась 21 октября 1919 года) в 1-м Советском театре Владикавказа. Но Булгаков не радовался успеху: «Вместо

московской сцены – сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная незрелая вещь».

Через неделю после премьеры деятельность подотдела искусств стала объектом уничтожающей критики. Булгакова, Юрия Слезкина и еще двух сотрудников выгнали с работы.

В ноябре-декабре Булгаков работал над комедией-буфф «Глиняные женихи (Вероломный папаша)», которая так и не была поставлена. В январе 1921 года Булгаков создал пьесу «Парижские коммунары», принятую к постановке в местном театре и рекомендованную к постановке в Москве. Он посылал три свои пьесы: «Самооборону», «Братья Турбины» и «Парижские коммунары» в Москву на конкурс в Мастерскую коммунистической драматургии, но безрезультатно. Одновременно писал роман по наброскам рассказа «Недуг», начатого в Никольском. 1 февраля 1921 года писатель сделал в дневнике следующую запись: «…работаю днями и ночами. Эх, если бы было где печатать!.. Пишу роман, единственная за все это время продуманная вещь».

В то время супруги Булгаковы очень боялись, что до властей дойдут сведения о сотрудничестве Михаила с белогвардейской прессой – это могло закончиться, в лучшем случае, арестом и ссылкой. Т. Лаппа вспоминала: «Был май месяц… приехали коммунисты, какая-то комиссия, разыскивали белогвардейцев… Я вообще не понимаю, как он в тот год жив остался – его десять раз могли опознать!» А тут еще нежелательные знакомые: «Однажды, – рассказывала Т. Лаппа. – Иду я в театр, вдруг слышу – «Здравствуйте, барыня!» Оборачиваюсь, а это бывший денщик Михаила – Барышев… Какая, говорю, я теперь тебе барыня?..» – «Где вы живете? – спрашивает. «Здесь, в городе, а ты?» – «Да я перешел в Красную Армию!»

Было решено покинуть Владикавказ и ехать в Москву. В столицу Михаил и Татьяна добирались по очереди, независимо друг от друга. Булгаков отправился в Тифлис (Тбилиси), где попытался поставить свои пьесы (безуспешно), потом в Батум, где тоже надеялся найти литературный заработок (а при удаче сбежать в Константинополь). В результате он возвратился в Киев, где сделал первые наброски инсценировки романа Льва Толстого «Война и мир».

28 сентября 1921 года писатель добрался до Москвы с тем, как он напишет в автобиографии 1924 года, «чтобы остаться в ней навсегда». Год приезда Булгакова в Москву был траурным для русской литературы: 7 августа умер Блок, 24 августа расстреляли Гумилева, ходили упорные слухи о смерти Анны Ахматовой.

Булгаков с женой поселились в Тихомировском студенческом общежитии Первого медицинского института, а потом переехали на квартиру мужа сестры Булгакова, Н. А. Земсковой. Тогда он писал в дневнике: «Среди моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю. Но в таких условиях, как сейчас, я, возможно, пропаду».

30 сентября Булгаков подал заявление о зачислении в Литературный отдел (Лито) Главного управления политического просвещения Народного комиссариата просвещения и получил должность секретаря. Он протоколировал заседания, сочинял лозунги о помощи голодающим Поволжья, выпускал поэтические сборники классиков и др. Тогда же он написал фельетоны «Евгений Онегин», и «Муза мести» (о поэте Николае Некрасове), которые при жизни Булгакова не были опубликованы. Задумал историческую драму о Николае II и Г. Распутине – эта идея так и не была воплощена в жизнь.

В ноябре 1921 года при содействии руководителя Главполитпросвета Н. К. Крупской Булгаков и его жена прописались в комнате квартиры № 50 дома 10 по ул. Большой Садовой («Я не то что МХАТу, я дьяволу готов продаться за квартиру!» – восклицал Булгаков). Жизнь была трудна и полна лишений: «Идет полное сворачивание всех советских учреждений и сокращение штатов. Мое учреждение тоже попадает под него и, по-видимому, доживает последние дни. Так что я без места буду в скором времени. Но это пустяки. Мной уже предприняты меры, чтобы не опоздать вовремя перейти на частную службу. Вам, вероятно, уже известно, что только на ней или при торговле и можно существовать в Москве. И мое, так сказать, казенное место было хорошо лишь постольку, поскольку я мог получить на нем около 1-го милл. за прошлый месяц. На казенной службе платят туго и с опозданием, и поэтому дальше одним таким местом жить нельзя».

И действительно – в том же месяце в связи с расформированием Лито Булгакова объявили уволенным с 1 декабря и он поступил заведующим хроникой в еженедельную газету «Торгово-промышленный вестник».

Однако Булгаков не бросил работу над начатыми ранее сочинениями, хотя условий для этого не было никаких. В письме к матери от 17 ноября он сообщал: «По ночам урывками пишу «Записки земского врача». Может выйти солидная вещь.

Обрабатываю «Недуг». Но времени, времени нет! Вот что больно для меня!» Свидетельство Ю. Л. Слезкина: «Жил тогда Миша бедно, в темноватой, сырой комнате большого дома на Садовой… Читал свой роман о каком-то наркомане и повесть о докторе – что-то очень скучное и растянутое…»

Бедность угнетала Булгакова: «Место я имею, правда, это далеко не самое главное. Нужно уметь еще получать и деньги». В это же время он диктовал машинистке И. С. Раабен первую часть повести «Записки на манжетах». В середине января 1922 года «Торгово-промышленный вестник» закрылся, и писатель снова оказался на улице.

1 февраля в Киеве от сыпного тифа умерла мать, В. М. Булгакова. Она была похоронена рядом с отцом, на Байковом кладбище в Киеве.

4 февраля в газете «Правда» появился репортаж «Эмигрантская портняжная фабрика» – первое булгаковское произведение в московской прессе. В это время писатель устраивался в Военно-редакционный совет Научно-технического комитета Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и одновременно стал репортером в газете «Рабочий». В ней под псевдонимом «Михаил Булл» с марта по сентябрь 1922 года было опубликовано 29 репортажей и статей.

В начале апреля Булгаков поступил обработчиком писем в газету «Гудок», где позднее стал штатным фельетонистом. Всего за 1922–1926 годы в этой газете было напечатано более 120 репортажей, очерков и фельетонов, написанных Булгаковым. «Гудок» в то время объединял лучшие литературные силы: здесь работали Катаев, Олеша, Ильф и Петров, Паустовский, Козачинский. Яркие, острые фельетоны стал публиковать на ее страницах и Булгаков («Москва в грязи, все больше в огнях – и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена»).

Через месяц он начал сотрудничать в прессе совершенно иного направления – в берлинской «Накануне» и, в частности, в ее «Литературном приложении». Алексей Толстой, выпускавший в Берлине «Накануне», был очень рад работе с Булгаковым: «Нам очень нужны вести из России, живой голос очевидца!» – писал он. Сам же Булгаков компанию, группировавшуюся вокруг этого издания, – и себя в том числе – считал «исключительной сволочью».

20 апреля 1923 года Булгакову выдали членский билет Всероссийского Союза писателей. Казалось, что перед ним открывается блестящая литературная карьера и восхождение к славе, к которой он так стремился.

Именно в эти годы Булгаковым были написаны повести «Дьяволиада», «Ханский огонь», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Но тогда же он привлек к себе пристальное внимание Лубянки, с его «злыми» повестями ознакомился Сталин. В 1925 году в печати стали появляться рассказы, подготовленные на основе имевшегося у писателя богатейшего «земского» материала, был написан «Морфий».

У Булгаковых появилась квартира, возродилась домашняя библиотека. Но легкая, беззаботная, «нэповская» жизнь оказалась разрушительной для семьи Булгакова, пережившей тяжелейшие годы Гражданской войны.

Вот что вспоминал сосед Булгаковых по московской квартире Левшин: «Он был не один в те годы и все-таки словно один. Его жена, Татьяна Николаевна Лаппа – высокая, худая, в темных скучных платьях, – держится так неприметно, так ненавязчиво, будто чувствует себя посторонней в его жизни». Как-то Булгаков, словно в раздумье, сказал Левшину: «Если на одиннадцатом году совместной жизни супруги не расходятся, так потом остаются вместе надолго…» В апреле 1924 года Михаил и Татьяна развелись – их брак длился ровно десять лет.

Незадолго до этого Булгаков познакомился с Любовью Белозерской-Белосельской и сразу же влюбился в нее. Она была блистательна – полная противоположность тихой Татьяне. Проявляла живейший интерес к литературе, следила за всеми новомодными направлениями, а Татьяна, по ее же словам, «только продавала вещи на рынке, делала все по хозяйству и так уставала», что ей было «ни до чего»…

Любовь Евгеньевна происходила из дворян, из старинного рода князей Белозерских-Белосельских. Они с Булгаковым познакомились в Москве на литературном вечере. Л. Белозерская, вспоминая об их первой встрече, так описывала Михаила Афанасьевича: «человек лет 30—32-х; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо больших возможностей. Это значит – способное выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило – на Шаляпина!»

Белозерская призналась, что давно обратила внимание на необыкновенно свежий язык, мастерство диалога и юмор Булгакова. «Собачье сердце» привело ее в восторг. С этого все началось.

А потом… «Он сказал мне: "Знаешь, мне просто удобно говорить, что я холост. А ты не беспокойся – все останется по-

прежнему. Просто разведемся формально…"» – вспоминала Татьяна Лаппа. Михаил Афанасьевич познакомил женщин, и Любовь поведала Татьяне, что «первый муж ее оставил, ей негде было жить. Сказала мне один раз: «Мне остается только отравиться…» Я, конечно, передала Булгакову…» А тот, узнав о бедственном положении Любови Белозерской, предложил ей поселиться у них с Татьяной.

Много лет спустя ситуация повторилась: третья жена Булгакова, Елена Сергеевна Шиловская вспоминала, что, когда они решили пожениться, он сказал ей: «А Люба будет жить с нами!»

И все же, осознав до конца, что жизнь с услужливой, заботливой, мягкой Татьяной не сложилась, он ушел. Она рассказывал позднее о том дне: «В конце ноября, то ли до именин своих, то ли сразу после, Миша попил утром чаю, потом сказал: «Если достану подводу, сегодня от тебя уйду». Потом через несколько часов возвращается: «Я пришел с подводой, хочу взять вещи». – «Ты уходишь?» – «Да, ухожу насовсем. Помоги мне сложить книги». Я помогла. Отдала ему, конечно, все, что он хотел взять. Да у нас тогда и не было почти ничего… Потом еще наша квартирная хозяйка говорила мне: «Как же вы его так отпустили? И даже не плакали!» Вообще в нашем доме потом долго не верили, что мы разошлись, – никаких скандалов не было, как же так?.. Но мне, конечно, долго было очень тяжело». «Меня за тебя Бог накажет», – каялся он Татьяне Николаевне – и, возможно, оказался прав.

А в это время разгоралась литературная слава Михаила Булгакова. Алексей Толстой требовал: «Шлите побольше Булгакова!» И очерки писателя приходили не реже одного раза в неделю. Булгаков простодушно печатался в «Накануне», получал хорошие гонорары, но нарастало чувство беспокойства: «Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени… Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидели света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем могу правдиво сказать литературное слово…»

С работой в «Накануне» связана анекдотическая история, которая сделала Булгакова знаменитым не только в литературных кругах. Когда открылась первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка, редакция «Накануне» заказала писателю обстоятельный очерк. Целую неделю Михаил

Афанасьевич ездил на выставку, проводя там помногу часов. По окончании работы он принес в редакцию превосходный очерк «Золотистый город», который был напечатан на самом видном месте. И вот наступил день выплаты гонорара.

Далее приведем свидетельство очевидца: «Великодушие Калменса[42] не имело границ: он сам предложил Булгакову возместить производственные расходы: трамвай, билеты. Может, что-нибудь еще, Михаил Афанасьевич?

Счет на производственные расходы у Михаила Афанасьевича был уже заготовлен. Но что это был за счет… Всего ошеломительней было то, что весь гомерический счет на шашлык, шурпу, люля-кебаб, на фрукты и вина на двоих.

На Калменса было страшно смотреть… Белый как снег, скаредный наш Семен Николаевич Калменс, задыхаясь, спросил – почему счет за недельное пирование на двух лиц?..

Булгаков невозмутимо ответил:

– А извольте-с видеть, Семен Николаевич. Во-первых, без дамы я в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня в фельетоне отмечено, какие блюда даме пришлись по вкусу. Как угодно-с, а произведенные мною производственные расходы покорнейше прошу возместить.

И возместил!..»

С того дня вся редакция смотрела на Булгакова с восторгом. Он был тогда в зените славы. Наступила насыщенная и суматошная жизнь, часто ходили в гости, на банкеты, концерты, в театры. Зимой катались по Москва-реке на лыжах.

Булгаков много писал, читал свои произведения на литературных вечерах. М. Волошин так оценил его: «…как дебют начинающего писателя его можно сравнить только с дебютами Толстого и Достоевского».

В 1924–1925 годах Булгаков был широко известен как автор сатирических повестей «Дьяволиада» и «Роковые яйца». Однако литературные – не журналистские – дела шли все хуже и хуже. Повести подвергались цензуре, их возвращали из редакций. Пьесы требовали переписывать и делать их более идеологически выверенными.

Первый роман Булгакова «Белая гвардия» появился в журнале «Россия» в 1924 году, однако полный текст произведения был опубликован в Москве в 1966 году. На основе романа «Белая гвардия» после долгих мытарств была создана и поставлена пьеса «Дни Турбиных» (изначально она называлась так же, как роман, но в угоду цензуре название пришлось изменить), которая с огромным успехом шла на сцене МХАТа с 1926 года.

Мемуаристы утверждают, что это была любимая пьеса

Сталина. В. Некрасов пишет: «известно, что спектакль "Дни Турбиных" по пьесе М. Булгакова Сталин смотрел… 17 раз! Не три, не пять, не двенадцать, а семнадцать! А человек он был, нужно думать, все-таки занятой и театры не так уж баловал своим вниманием, он любил кино… а вот что-то в "Турбиных" его захватывало и хотелось смотреть, скрывшись за занавеской правительственной ложи».

Л. Белади и Т. Краус считали иначе: по их мнению, Сталин защитил «Дни Турбиных» от критиков, потому что эта пьеса, по его мнению, демонстрировала непобедимую силу большевизма. По той же причине он осудил пьесу «Бег» в 1929 году, поскольку она, как считал Сталин, была попыткой вызвать жалость к эмиграции.

В те же годы Булгаков написал повесть «Собачье сердце» (она увидела свет только в 1987 году). Издатели отказались от нее: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя». Именно за рукописью этой повести пришли с обыском во флигель, где жил Булгаков со своей новой женой. Тогда же сотрудники ОГПУ изъяли «Послание евангелисту Демьяну»:

Ты сгустки крови у Христа
Копнул ноздрей, как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов…

Это была отповедь поэту Д. Бедному, автору поэмы, в которой Христос представлен пьяницей и развратником. Многие считали, что отповедь Бедному дал Есенин.

А ведь шла всего лишь середина 1920-х годов – время относительно благополучное. Булгаков печатался, им интересовались театры, он еще не попал в положение загнанного волка. Тем не менее, его очень беспокоили отобранные дневники. Писатель хорошо помнил времена, когда за любую крамольную бумажку запросто ставили к стенке и белые, и красные, и зеленые, и петлюровцы, и махновцы.

После первого в своей жизни обыска Булгаков отправился в Ленинград – его пригласили выступить на писательском вечере. Так в мае 1926 года состоялось знакомство Булгакова с Ахматовой. Тогда на вечере вместе с ним выступали Л. Борисов, Евг. Замятин, М. Зощенко, В. Каверин, Б. Лавренев, Н. Никитин, Ф. Сологуб, Н. Тихонов, А. Толстой, К. Федин и Анна Ахматова – часть из них разделила судьбу Булгакова.

В общем, середина 1920-х оказалась взлетом литераторской

карьеры Булгакова. Станиславский поставил «Дни Турбиных» – спектакль потрясающий, потому что все еще жило в памяти у людей (лишь отзыв Луначарского звучал диссонансом: «Пьеса исключительно бездарная»), вахтанговцы давали «Зойкину квартиру», Ленинградский БДТ просил «Роковые яйца». Начинала складываться сатирическая феерия «романа о дьяволе» – появилось «Копыто инженера», которое стало логическим продолжением «Дьяволиады» и «Собачьего сердца».

Все шло неплохо. А вот весной 1929 началось! Все пьесы Булгакова – и «Дни Турбиных», и «Бег», и «Зойкина квартира» – сняли со сцен театров. Было запрещено издание «Записок на манжетах», переиздание сборника «Дьяволиада», изъята рукопись повести «Собачье сердце», запрещено публичное исполнение «Похождений Чичикова», прервана публикация романа «Белая гвардия». В марте 1930 года запретили к постановке «Кабалу святош» («Мольер»).

Булгакова публично и организованно громили коллеги-писатели, дружно обзывали «новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы», обвиняли в том, что он «оболгал людей, строящих новое общество», называли его творчество «злопыхательством и оголтелым мещанством». Имя Булгакова бросились шельмовать в периодике, в энциклопедиях («весь творческий путь Б. – путь классово-враждебного советской действительности человека; Б. – типичный выразитель тенденций «внутренней эмиграции» – «Литературная энциклопедия»).

В 1928 году Булгаков уничтожил ранний вариант своей иронической театральной прозы, называвшейся: «Премьера». Он писал об этом Е. И. Замятину: «И все 20 убористых страниц, выправив предварительно на них ошибки, вчера спалил в той печке, возле которой вы не раз сидели у меня. И хорошо, что вовремя опомнился. При живых людях, окружающих меня, о направлении в печать этого опуса речи быть не может».

Одно время Булгаков коллекционировал отзывы, самые гнусные даже вывешивал на стене. Но когда их число достигло 298, стал плохо спать, у него начался нервный тик. Брату в Париж он написал: «Я обречен на молчание и, очень возможно, на полную голодовку. Барахло меня трогает мало. Ну, стулья, чашки, черт с ними. Боюсь за книги! Без них мне гроб».

Писателям вторили театроведы: «Театр Чехова стал театром Булгакова – апостола российской обывательщины». «Дни Турбиных» – одна из любимейших вещей театральной публики – вызывала сплошное улюлюканье критики. Считалось, что автор показывает революцию не с «той» стороны. Он, видите ли, «уютно

устроившись в интерьере барской квартиры, смотрит на все через кремовые занавески», поскольку сам – скрытый белогвардеец.

Поэт Александр Безыменский обратился к Художественному театру с «Открытым письмом», где писал, что МХАТ, поставив «Дни Турбиных», дал «пощечину» памяти «тысяч наших растерзанных братьев и мне, поэту и рядовому большевику». Лидия Яновская, исследователь творчества Булгакова, подобрала в свое время целый букет подобных высказываний. Писали так: «Художественный театр получил от Булгакова не драматургический материал, а огрызки и объедки со стола романиста» (М. Загорский); «Пьеса политически вредна, а драматургически слаба», «Это объективно "белая агитка"» (О. Литовский); «Белый цвет выпирает настолько, что отдельные пятнышки редисочного цвета его не затушевывают» (А. Орлинский); «Автор одержим собачьей старостью» (В. Блюм); «Пьеса как вещь – мелочь» (С. Асилов) и т. д.

«Дни Турбиных» были возобновлены только в 1932 году. Больше ни одна пьеса не пошла на сцене при его жизни. Ни одной своей строки он больше не увидел в печати – даже роман о Мольере с согласия М. Горького (до этого не раз помогавшего Булгакову) был отклонен. Пьеса «Мольер» была снята после нескольких представлений в связи с развернувшейся в январе-феврале 1936 года газетной кампанией против «формализма», санкционированной лично Сталиным.

Утратив надежды на благополучный исход литературной борьбы за собственное существование, Булгаков послал в правительство ходатайство об изгнании за пределы СССР. Его текст приводится ниже почти полностью:

> «Михаил Афанасьевич Булгаков.
> Письмо правительству СССР
>
> Письмо Правительству СССР
> Михаила Афанасьевича Булгакова
> (Москва, Пироговская, 35-а, кв. 6)
>
> Я обращаюсь к Правительству СССР со следующим письмом:
>
> 1
> После того как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне

один и тот же совет.

Сочинить «коммунистическую пьесу» (в кавычках я привожу цитаты), а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик.

Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.

Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет.

Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым.

2

Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных – было 3, враждебно-ругательных – 298.

Последние 298 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни.

Героя моей пьесы «Дни Турбиных» Алексея Турбина печатно в стихах называли «сукиным сыном», а автора пьесы рекомендовали как «одержимого собачьей старостью». Обо мне писали как о «литературном уборщике», подбирающем объедки после того, как «наблевала дюжина гостей».

Писали так: «…Мишка Булгаков, кум мой, тоже, извините за выражение, писатель, в залежалом мусоре шарит… Что это, спрашиваю, братишечка, мурло у тебя… Я человек деликатный, возьми да и хрястни его тазом по затылку… Обывателю мы без Турбиных, вроде как бюстгалтер собаке без нужды… Нашелся, сукин сын. Нашелся Турбин, чтоб ему ни сборов, ни успеха…» («Жизнь искусства», № 44-1927 г.)…

Сообщали, что мне нравится «атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля» (А. Луначарский, «Известия, 8/X—1926 г.) и что от моей

пьесы «Дни Турбиных «идет «вонь» (стенограмма совещания при Агитпропе в мае 1927 г.), и так далее, и так далее…

Спешу сообщить, что цитирую я не с тем, чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель – гораздо серьезнее.

Я не доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать.

И я заявляю, что пресса СССР совершенно права.

3

Отправной точкой этого письма для меня послужит мой памфлет «Багровый остров».

…Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встает зловещая тень и это тень Главного Репертуарного Комитета. Это он воспитывает илотов, панегиристов и запуганных «услужающих». Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее.

…Советская пресса, заступаясь за Главрепертком, написала, что «Багровый остров» – пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых, за недостатком места, я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком – не революция.

Но когда германская печать пишет, что «Багровый остров» – это «первый в СССР призыв к свободе печати» («Молодая гвардия», № 1—1929 г.), – она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, – мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода.

4

Вот одна из черт моего творчества и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не

существовали в СССР…

Один лишь раз, в начале моей известности, было замечено с оттенком как бы высокомерного удивления: «М. Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи» («Книгоша», № 6-1925 г.).

Увы, глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем времени: <…> М. Булгаков стал сатириком как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима.

Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена с совершенной ясностью в статье В. Блюма (№ 6 «Лит. газ.»), и смысл этой статьи блестяще и точно укладывается в одну формулу: всякий сатирик в СССР посягает на советский строй.

Мыслим ли я в СССР?

5

И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия»: упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира». Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией.

Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со своими героями, получает – несмотря на свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми – аттестат белогвардейца-врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченным человеком в СССР.

6

7

Ныне я уничтожен.

Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо «достижением».

Р. Пикель, отмечая мое уничтожение («Изв.», 15/IX–1929 г.), высказал либеральную мысль: «Мы не хотим этим сказать, что имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов».

И обнадежил зарезанного писателя словами, что «речь идет о его прошлых драматургических произведениях». Однако жизнь, в лице Главреперткома,

доказала, что либерализм Р. Пикеля ни на чем не основан.

18 марта 1930 года я получил из Главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлая, а новая моя пьеса «Кабала святош» («Мольер») К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НЕ РАЗРЕШЕНА.

Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены – работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы – блестящая пьеса.

Р. Пикель заблуждается. Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие, и все будущие. И лично я, своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр».

Все мои вещи безнадежны.

8

Я прошу Советское Правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, и что всю мою продукцию я отдал советской сцене.

Я прошу обратить внимание на следующие два отзыва обо мне в советской прессе.

Оба они исходят от непримиримых врагов моих произведений, и поэтому они очень ценны.

В 1925 году было написано: «Появляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета» (Л. Авербах, «Изв.», 20/IX-1925 г.).

А в 1929 году: «Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества» (Р. Пикель, «Изв.», 15/IX-1929 г.).

Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо.

9

Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЕЙ ЖЕНЫ ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЫ БУЛГАКОВОЙ.

10

Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу.

11

Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня

обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера.

Я именно и точно и подчеркнуто прошу о категорическом приказе о командировании, потому что все мои попытки найти работу в той единственной области, где я могу быть полезен СССР как исключительно квалифицированный специалист, потерпели полное фиаско. Мое имя сделано настолько одиозным, что предложения работы с моей стороны встретили испуг, несмотря на то, что в Москве громадному количеству актеров и режиссеров, а с ними и директорам театров, отлично известно мое виртуозное знание сцены.

Я предлагаю СССР совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста режиссера и автора, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до сегодняшнего дня.

Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный Театр – в лучшую школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко.

Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя – я прошусь на должность рабочего сцены.

Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, в данный момент, – нищета, улица и гибель.

Москва,
28 марта 1930 года»

В этом письме есть только одна неточность: Булгаков, к несчастью для советской литературы, не был единственным изгоем. В сходном положении оказался его близкий друг Евгений Замятин, вынужденный эмигрировать в результате жесточайшей травли, начавшейся в самом начале 1920-х годов, когда он написал роман «Мы». В очереди на опалу находились А. Ахматова, М. Зощенко, О. Мандельштам, Б. Пастернак, Л.

Гумилев. Последние дни доживал В. Маяковский. В 1925 году покончил с собой Сергей Есенин.

18 апреля 1930 года, на другой день после похорон покончившего с собой Маяковского Сталин позвонил Булгакову. Разговор был краток:

Сталин. Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А, может быть, правда, вас пустить за границу? Что, мы вам очень надоели?

Булгаков. Я много думал в последние годы, может ли русский писатель жить без родины, и мне кажется, что не может…

Сталин. Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

Булгаков. Да, я хотел бы, но я говорил об этом, мне отказали.

Сталин. А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами…

Ободренный звонком, Булгаков только потом понял, что взамен взятой им назад просьбы об отъезде он не получил ничего, кроме зарплаты советского служащего. С заграничными паспортами так ничего и не вышло. Взамен Булгакову предложили ТРАМ – Театр рабочей молодежи. Не МХАТ, конечно, но привередничать не приходилось. Однако средств к существованию катастрофически не хватало, и Булгаков написал еще одно письмо, на этот раз лично Сталину:

> «Генеральному секретарю ЦК ВКП(б).
>
> Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!
>
> Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставила сделать это бедность.
>
> Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая.
>
> Средств к спасению у меня не имеется.
>
> *Уважающий Вас Михаил Булгаков.*
>
> *5. V.1930».*

Встреча, разумеется не состоялась: Булгаков не был Пушкиным, а Сталин – Николаем I. Однако 10 мая Булгаков получил место ассистента режиссера во МХАТе. Через несколько месяцев театр поставил его пьесу о Мольере – «учителе многих поколений драматургов, комедианте на сцене, неудачнике, меланхолике и трагическом человеке в личной жизни».

Успех был оглушительный, занавес давали по двадцать с

лишним раз. «Участь Миши ясна, он будет одинок и затравлен до конца своих дней», – поняли друзья. Спектакль сняли после седьмой постановки за «стремление автора бить нашу цензуру, наши порядки».

К столетию Гоголя Булгакову предложили сделать инсценировку «Мертвых душ». Завершив работу, Михаил Афанасьевич воскликнул: «Мне 41 год. Какой блистательный финал писательской работы! При том, что я знаю: «Мертвые души» инсценировать НЕЛЬЗЯ. Как же я взялся за это? Я не брался. Я ни за что не берусь уже давно – просто Судьба берет меня за горло». Он делал инсценировки «Войны и мира», «Дон Кихота», «Мадемуазель Мими», писал либретто для опер «Петр Великий» и «Черное море», прочую «поденщину».

Как-то просматривая репертуар театра, Сталин спросил Станиславского, куда делись из репертуара «Дни Турбиных». После этой беседы спектакль мгновенно восстановили! Вроде бы радость – возвращена «часть жизни» Булгакова, но угнетала неопределенность положения, другие спектакли не ставились.

В это время произошли изменения и в личной жизни писателя. Он встретил свою новую любовь. У него долго не хватало мужества расстаться с Любовью Белозерской, но: «Ты для меня всё, ты заменила весь земной шар», – говорил он уже Елене Сергеевне Шиловской, с которой познакомился в 1929 году. Считается, что именно Елена Сергеевна Шиловская-Нюренберг стала прототипом Маргариты. Однако на деле все несколько сложнее: до того как намазаться кремом Азазелло, Маргарита – это Люба, а после магической процедуры в ней проступают ведьминские черты Елены Сергеевны.

Елена Шиловская была женой крупного военачальника, Евгения Александровича Шиловского. Вспоминая о встрече с Булгаковым, она рассказывала, что ей «позвонили и, уговаривая меня прийти, сказали, что у них будет знаменитый Булгаков, – я мгновенно решила пойти. Уж очень мне нравился он, как писатель… Сидели мы рядом (Евгений Александрович был в командировке, и я была одна), у меня развязались какие-то завязочки на рукаве, я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что я… смотрела ему в рот и ждала, что он еще скажет смешного. Почувствовав благодарного слушателя, он развернулся вовсю, и такое выдал, что все просто стонали. Выскакивал из-за стола, на рояле играл, пел, танцевал, словом, куражился вовсю. Глаза у него были ярко-голубые, но когда он расходился так, они сверкали, как бриллианты».

Булгаков потом говорил ей: «Ведьма! Присушила меня!» Именно эта встреча описана в романе «Мастер и Маргарита»: «Да,

любовь поразила нас мгновенно… Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет… И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой».

Но все тайное однажды становится явным. Когда роман Елены Сергеевны с писателем раскрылся, было тяжелое объяснение с Шиловским, он угрожал Булгакову пистолетом, кричал, что никогда не отдаст детей, настоял, чтобы встречи любовников прекратились. И они, действительно, не встречались восемнадцать с половиной месяцев. Но от судьбы не уйдешь, тем более, что Михаил Афанасьевич не раз говорил, будто ему еще в Киеве гадалка наворожила трех жен.

3 октября 1932 года Булгаков расторг свой второй брак с Любовью Евгеньевной, а на следующий день они «обвенчались в ЗАГСе» с Еленой Сергеевной Шиловской, урожденной Нюренберг. Тогда Булгаков сказал ей: «Против меня был целый мир – и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно».

Они поселились в небольшой квартирке, с ними – младший сын Елены Сергеевны (старший, Женя, остался с отцом, но часто приходил в гости). Позже жена писателя вспоминала: «Миша, очень легко, абсолютно без тени скучного нравоучения, говорил мальчикам моим за утренним кофе в один из воскресных дней, когда Женечка пришел к нам и мы, счастливая четверка, сидели за столом: «Дети, в жизни надо уметь рисковать… Вот, смотрите на маму вашу, она жила очень хорошо с вашим папой, но рискнула, пошла ко мне бедняку, и вот поглядите, как сейчас нам хорошо…»

Жизнь писателя наладилась. Елена Сергеевна бесконечно верила в его талант, жила его делами, и раздражительность, нервность Булгакова пропали, хотя он стал работать еще напряженнее. За «александровским» бюро, купленным женой на какой-то распродаже, были написаны роман «Жизнь господина де Мольера», драмы «Кабала святош» и «Последние дни», комедия «Иван Васильевич» и принесший писателю мировую славу роман «Мастер и Маргарита».

«Несмотря на то что бывали моменты черные, совершенно страшные, не тоски, а ужаса перед неудавшейся литературной жизнью, – писала в своих воспоминаниях Елена Сергеевна. – Но если вы мне скажете, что у нас, у меня была трагическая жизнь, я вам отвечу: Нет! Это была самая светлая жизнь, какую только можно себе выбирать, самая счастливая».

И это в то время, когда «…Арестованы Николай Эрдман и Масс… Ночью М. А. сжег часть своего романа». Надежда Афанасьевна вспоминала: «Брат моего мужа, коммунист, сказал про Мишу: «Послать бы его на три месяца на Днепрострой, да не

кормить, вот и переродился бы». Миша усмехнулся: «Есть еще способ – кормить селедками и не давать пить». Кругом «перековывались», каялись в ошибках молодости, клялись в верности руководству страны «инженеры человеческих душ» Катаев, Леонов, Вишневский, Эренбург.

Друзья сочувствовали Михаилу: «Ты ведь государство в государстве. Надо сдаваться, все сдались. И надо как-то о себе напомнить: съездить на завод, на Беломорский канал, написать!» – «Я не то что на Беломорский канал – в Малаховку не поеду, так устал», – отвечал Булгаков. Ему хотелось одного – быть самим собой.

И он в четвертый раз приступил к роману. На титульном листе вывел: «Дописать раньше, чем умереть!» Его уже мучил страх смерти. Литературные мошенники на Западе получали его гонорары, в России плели интриги. Вызвали в военкомат. «Придется сидеть, как я уже сидел весною, в одном белье и отвечать на вопросы, не имеющие отношения ни к Мольеру, ни к парикам, ни к шпагам. О праведный Боже, надеюсь, дадут мне чистую!»

В конце октября 1935 года из Ленинграда в Москву приехала Ахматова, «с таким ужасным лицом, до того исхудавшая, – писала Елена Сергеевна, – что я ее не узнала, и Миша тоже. Оказалось, что у нее в одну ночь арестовали и мужа (Пунина) и сына (Гумилева)». Ахматова приехала «подавать» письмо Сталину, и Булгаков помог ей составить это письмо. Причем, по его мнению, оно должно было быть кратким и написанным от руки.

В 1936 году после запрета трех его пьес («Мольер», «Александр Пушкин» и «Иван Васильевич») Булгаков ушел из Художественного театра, который безгранично любил, но в котором ему пришлось испытать много страданий. Он поступил на работу в Большой театр либреттистом, где писал либретто для опер, но и их судьба сложилась неудачно.

Его уже не били, а добивали – беспощадно, настойчиво и методично. В письме к Б. В. Асафьеву он писал: «За семь последних лет я сделал шестнадцать вещей разного жанра, и все они погибли. Такое положение невозможно… В доме у нас полная бесперспективность и мрак…» С ним, правда, заключали договоры. Именно по договорам с театрами он написал пьесы «Адам и Ева» (1931), «Блаженство» (1934), «Иван Васильевич» (1935). Все эти вещи не были, однако, поставлены. Такая же судьба постигла «Кабалу святош», «Полоумного Журдена» (1932), «Последние дни» (1935), «Дон Кихота» (1938)… Будучи либреттистом Большого театра, Булгаков написал четыре оперных либретто («Черное море», «Минин и Пожарский», «Петр

Великий» и «Рашель»), но и их не ставили.

В десятилетний юбилей «Дней Турбиных» никто из МХАТа не поздравил, не пришел: «Ровно десять лет тому назад совершилась премьера «Турбиных». Десятилетний юбилей. Сижу у чернильницы и жду, что откроется дверь и появится делегация от Станиславского и Немировича с адресом и ценным подношением. В адресе будут указаны все мои искалеченные и погубленные пьесы и приведен список всех радостей, которые они, Станиславский и Немирович, мне доставили за десять лет в Проезде Художественного Театра. Ценное же подношение будет выражено в большой кастрюле какого-нибудь благородного металла (например меди), наполненной той самой кровью, которую они выпили из меня за десять лет».

Тогда-то ему и пришла в голову мысль вернуться к театральному роману, сожженному в 1928 году. Предполагаемое название было «Записки покойника». После первой же читки по Москве пошли слухи, мхатовцы забеспокоились – так узнаваемы оказались герои. Автору писали анонимки, доброжелатели «утешали»: «Ничего, после вашей смерти все напечатают!» Но Булгаков не собирался умирать.

Более того, несмотря на свое отчаянное положение (а может, и благодаря ему), в январе 1938-го он написал очередное письмо Сталину, в которых уже набил себе руку. Он писал: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович! Горячо прошу, чтобы Николаю Эрдману, отбывшему ссылку в Енисейске и Томске, разрешили вернуться в Москву». Как ни удивительно, в апреле Эрдман уже гостил у Булгаковых.

В сентябре 1938 года руководство МХАТа попросило Булгакова написать пьесу о Сталине. Приближался юбилейный год в жизни вождя, готовиться нужно было загодя. Булгаков дал согласие. Как писал друг писателя Ермолинский, «создатель "Белой гвардии" в тайне уже давно думал о человеке, с именем которого было неотрывно связано все, что происходило в стране… В те годы окружающие его люди, даже самые близкие, рассматривали поступок Булгакова как правильный стратегический ход».

Елена Сергеевна педантично фиксировала события того времени: «1939 год начался с того, что пришел поздравить Сергей Михалков, сосед по квартире, молодой, талантливый, прекрасный рассказчик»; «Миша вплотную приступил к работе над пьесой о Сталине, ищет живые черточки вождя и его помощников, читает материалы съезда партии, ловит слухи, анекдоты, вспоминает телефонный разговор: «Вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?» – тот звонок продлил его жизнь».

Первоначально пьеса называлась «Пастырь», затем – «Батум». Она была завершена в июле 1939 года (первая публикация в СССР состоялась в 1988 году). 27 июля Булгаков прочел «Батум» партийной группе МХАТа: «Слушали замечательно, после чтения очень долго, стоя, аплодировали». Однако главный герой пьесы, уже одобренной в Комитете по делам искусств, категорически высказался против ее постановки, сказав, что «пьесу "Батум" он считает очень хорошей, но, что ее нельзя ставить». Главный герой дал телеграмму: «Все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине». Режиссер несостоявшегося спектакля объяснил Булгакову, почему не приняли пьесу: «Нельзя такое лицо, как И. В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова».

После этого запрета надежды Булгакова на полноценное участие в литературной жизни страны рухнули окончательно. Он еще диктовал «Мастера и Маргариту», шлифовал отдельные сцены, фразы, уточнял свой творческий замысел. Зашел известный издатель: «Не согласитесь ли написать авантюрный советский роман? Массовый тираж, переведу на все языки, денег тьма, валюта, аванс хоть сейчас!» Булгаков отмахнулся. Елена Сергеевна подсказала: «Прочти "Консультанта с копытом" (так она называла «Мастера и Маргариту»). Но, прослушав три первых главы, издатель побледнел: «Это напечатать нельзя!» – «Почему?» – «Нельзя!»

И тогда дала о себе знать болезнь, которая началась, видимо, в 1934-м, – гипертония почек. От этой неизлечимой болезни умер Афанасий Булгаков. Сын, как врач, все понимал и заставил жену поклясться, что будет умирать у нее на руках.

С середины сентября 1939 года врачи уже считали положение Булгакова безнадежным. Несмотря на это, писатель продолжал работать над романом «Мастер и Маргарита», оказавшимся последним. В эпилоге романа появились знаменательные слова – «Он не заслужил света, он заслужил покой».

За три недели до смерти, ослепший, измученный страшными болями, он прекратил редактировать роман. Когда Булгаков умирал, трое его друзей написали письмо Сталину, умоляя вождя позвонить писателю: «Только сильное радостное потрясение… может дать надежду на спасение». Друзья Булгакова хорошо знали, что первый звонок Сталина не принес ничего, кроме разрешения жить, но тем не менее они верили, что его голос может исцелить умирающего. Но чуда не произошло.

10 марта 1940 года Михаил Афанасьевич заснул, и так ровно и глубоко было его дыхание, что жена поверила: он поборол

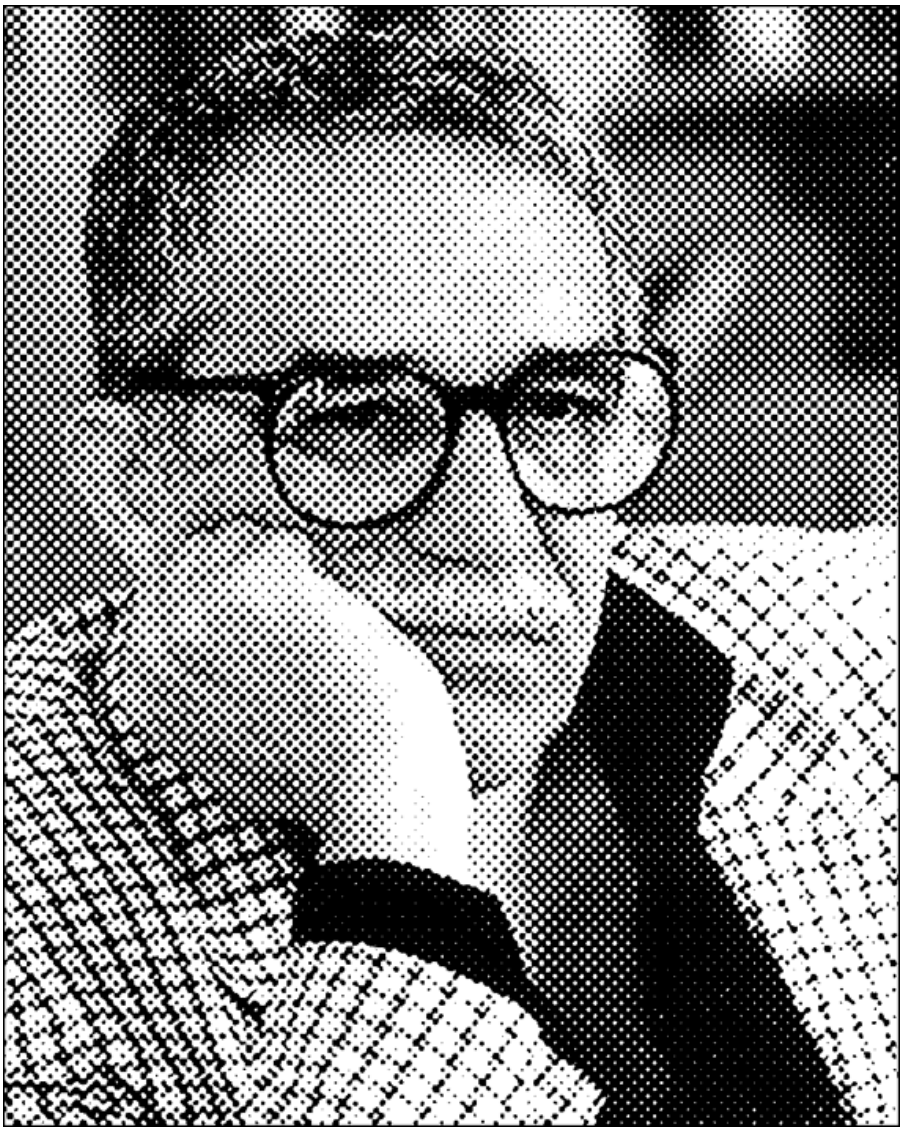
болезнь. Но вот по лицу прошла легкая судорога, он как-то скрипнул зубами, и жизнь тихо-тихо ушла от него. Булгаков скончался 10 марта 1940 года, в 16 часов 39 минут, как записала в своем регулярно ведущемся с осени 1933 года дневнике преисполненная сознанием исторической значимости литературного дела и судьбы художника его вдова.

А еще Булгаков пожелал, чтобы его навестила Тася: хотел попросить прощения у той, с кем прожил самые тяжелые годы – войну, лазареты, безденежье и бездомье. Но она уехала из Москвы.

Булгакова хоронили на Новодевичьем кладбище, Фадеев сказал добрые слова (прозвучи они при жизни покойного, может, она сложилась бы по-другому. Но Фадеев всегда боролся против таких писателей, как Булгаков и Платонов, истово отстаивал принципы социалистического реализма). Ахматова написала своему другу стихотворную эпитафию:

Вот это я тебе взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье…

Гарсиа Маркес Габриэль Хосе



В декабре 2000 года Габриэль Гарсиа Маркес умер.

В 2002 году он давал интервью, в котором подводил итоги своей работы: «Я написал 9 романов, 38 рассказов, более двух тысяч статей и заметок и бог знает сколько репортажей, хроник и аннотаций к кинофильмам. Все это я создавал день за днем в течение шестидесяти лет одиночества, просто так, бесплатно, из удовольствия рассказывать истории. Короче говоря, у меня призвание и врожденные способности рассказчика. Как у деревенских сочинителей, которые жить не могут без историй.

Правдивых или вымышленных – не имеет значения. Для нас реальность – это не только то, что произошло на самом деле, но также и та реальность, которая существует лишь в рассказах».

Потом вышла книга воспоминаний писателя «Жить, чтобы рассказать». Потом его не пригласили на III Конгресс испанского языка в Аргентине, опасаясь, что он нарушит чинный порядок мероприятия. А еще через два года, в 2004 году, Маркес представил на суд публики свой новый роман, изданный рекордным для испаноязычного мира тиражом в один миллион экземпляров. А потом продолжил работу над воспоминаниями и циклом рассказов, а также активизировал свою общественную деятельность.

Габриэль Хосе Гарсиа Маркес родился 6 марта 1928 года в Аракатаке, небольшом портовом городке в Северной Колумбии, в Латинской Америке. Появись он на свет в другой стране континента или в другой части света, колумбийской литературы бы не существовало. И скорее всего, великого романиста Гарсиа Маркеса тоже.

Родившись в Колумбии, он получил в приданое бурную историю страны, причудливые верования и суеверия, накопленные веками построенного на взаимной ненависти сосуществования европейцев и индейцев. Родившись в семье Гарсиа Маркес, он сразу же стал частью хитросплетений жизни своего рода, который, в свою очередь, был одной из ниток в путаной истории страны. В общем, чтобы понять истоки творчества Маркеса, нужно хотя бы в общих чертах представлять себе обстановку, в которой он вырос – и общественную, и семейную.

Как известно, после того как Колумб открыл Америку, началось ее завоевание и войны с коренным населением, которые закончились для исконных жителей Америки плачевно. Начиная с конца XV века Испания захватила обширные территории Южной, Центральной, Северной Америки и ряд островов Вест-Индии. Колумбия, открытая в 1499 году, получила название Новая Гранада и была присоединена к Испании в 1536-м.

К началу XIX века испанская колониальная империя состояла из Новой Испании (Мексики), Перу, Новой Гранады, Ла-Платы (Аргентины), Гватемалы, Венесуэлы, Чили, Кубы. К тому времени колумбийская история насчитывала уже несколько веков взаимной ненависти индейцев и испанцев, которые со знанием дела уничтожали друг друга (точнее, враг врага) при всяком удобном случае. Начало этой вражде было положено тогда, когда испанцы начали разорять колумбийские земли, стремясь найти золото и Эльдорадо {60}, христианизировать индейцев и

превратить их в рабов, добившись от коренных жителей полного подчинения.

Некоторые ингредиенты во взрывоопасную смесь испано-индейской вражды добавили англичане, которые также внесли свою лепту в колонизацию колумбийских земель после завоевания Дрейком Риоачи в 1568 году. В процессе колонизации большая часть коренного населения была истреблена, и в связи с нехваткой рабочей силы в Америку стали ввозиться негры-рабы. Древняя индейская культура Колумбии погибла; выжили всего несколько небольших очагов, и то лишь благодаря тому, что они были расположены на труднодоступных для завоевателей территориях.

Сопротивление колонизаторам росло, и в начале XIX века восстали негры-рабы в Сан-Доминго, и в 1804 году эта страна обрела независимость. В 1808-м началась революция в Испании, был низложен король, а вслед за этим восстали все испанские колонии.

20 июля 1810 году началось восстание в Боготе – столице Новой Гранады. 30 марта 1811 года было создано государство Кундинамарки, а в ноябре образована Конфедерация Соединенных провинций Новой Гранады. Колумбия стала одной из первых демократических держав Латинской Америки (впрочем, понятие «демократия» в колумбийском варианте отнюдь не подразумевало мирного и справедливого государственного устройства).

Провозгласив независимость, новоявленное государство получило всего несколько лет действительно свободного существования. Этот короткий период закончился в 1815 году кровавой кампанией генерала Мурильо и реконкистой. Колумбийцы не сумели отстоять свою страну, и испанское господство было восстановлено.

С 1816-го начался новый подъем национального движения, и к августу 1819 года большая часть Новой Гранады была освобождена. В декабре того же года была принята конституция, предусматривавшая объединение Венесуэлы, Новой Гранады и Кито (современный Эквадор) в федеративную республику Великую Колумбию. Первым президентом страны стал Симон Боливар. Его правление отличалось деспотизмом; постоянно поднимались восстания, которые подавлялись с крайней жестокостью. В 1830 году президент вынужден был отречься от власти, и в том же году распалась и Великая Колумбия, превратившись в три государства.

К 1849 году Колумбия настолько продвинулась в государственном строительстве, что пришла к двухпартийной

системе, придав внутренним конфликтам и разногласиям форму политической борьбы либеральной и консервативной партий. Эти партии существуют и по сей день, а их взаимоотношения создали политический подтекст прозы Гарсиа Маркеса. Понимание природы их действий является как ключом к его произведениям, так и – к сожалению – отражает политическую жизнь большей части Латинской Америки.

Изначально эти партии действительно были центрами двух различных идеологий, но постепенно, после долгих лет кровавых конфликтов, различия между партийными платформами практически стерлись. Как только власть попадала в руки одной из политических сил, начинались жестокие репрессии по отношению к приверженцам «неугодной» партии, усиливались финансовые и экономические злоупотребления, коррупция – ведь нужно было успеть урвать как можно больше, пока страна не перешла в руки противника. На протяжении всей своей истории Колумбия находилась в состоянии перманентной гражданской войны, а консерваторы и либералы превратились, скорее, во враждующие семейные и территориальные кланы, чем в оппонирующих друг другу политиков. Сами колумбийцы так говорят о своей политической жизни: в Колумбии в партию не вступают, в ней рождаются (нечто подобное происходило в средневековой Флоренции, во времена бесконечных войн гвельфов и гибеллинов).

Кроме разделения по политическому признаку, Колумбия неоднородна и по своему этническому составу. В стране сосуществуют две различные по этнотерриториальному признаку группы населения, отношения которых пронизаны взаимным высокомерием, презрением и подозрительностью: *costeños* — жители побережья Карибского моря и *cachacos* — жители горной Центральной Колумбии. *Cachacos* более однородны этнически. Они ведут упорядоченный образ жизни, религиозны, придерживаются строгих правил и следуют традициям. Они тешат свою гордость тем, что в Колумбии есть цивилизованные города (такие, как Богота например) и собственным умением говорить на чистейшем испанском языке.

Costeños, представляющие собой смесь разных рас и национальностей, космополитичны; они открыты и дружелюбны в общении, хотя их действия и решения зачастую непредсказуемы и иррациональны. В основном, *costeños* — склонные к праздности «потомки пиратов и переселенцев с долей крови черных рабов», среди которых так много «танцоров, искателей приключений, авантюристов, гуляк». Традиционно тропики Карибского побережья считаются оплотом либеральной партии, в то время

как горы и долины континентальной части придерживаются линии консерваторов. Гарсиа Маркес частенько замечал, что его принадлежность к *mestizo* (либералам) и *costeño* во многом предопределила рождение и развитие его как писателя.

На островах Карибского моря (Куба, Ямайка, Гаити) и в странах, возникших на его побережье (Мексика, Никарагуа, Гватемала, Колумбия, Венесуэла), произошла встреча индейской, европейской и африканской цивилизаций. Здесь жили многочисленные индейские и африканские народы, испанцы, французы, португальцы, голландцы, англичане, арабы. В одном из интервью Гарсиа Маркес сказал, что приверженность карибского мира фантастике окрепла благодаря привезенным сюда африканским рабам, чье безудержное воображение сплавилось с воображением индейцев, живших здесь до Колумба, а также с фантазией андалусцев и верой в сверхъестественное, свойственной галисийцам.

Карибский бассейн стал местом встречи не только трех рас и трех цивилизаций, но и трех политических систем – феодальной, капиталистической, социалистической. Стоит ли удивляться, что место такого синтеза стало, по словам Гарсиа Маркеса, землей необузданного, горячечного воображения, землей химерического и галлюционирующего одиночества.

На протяжении XIX века Колумбию сотрясали мятежи, гражданские войны, произошло несколько государственных переворотов. Кульминационным стал 1899 год, когда началась Тысячедневная война – самый разрушительный внутренний конфликт в Колумбии. Она закончилась разгромом либералов, унеся жизни более чем ста тысяч человек, в основном крестьян и их сыновей. Дед Гарсиа Маркеса участвовал в той войне, и многие ветераны, благодаря его беседам с внуком, обрели бессмертие на страницах прозы Габриэля.

На творчество Маркеса повлияла также Банановая бойня 1928 года. Основной статьей экспорта Колумбии является кофе, но в первые десятилетия XX века большой вклад в пополнение бюджета страны вносил экспорт бананов, который был монополизирован латиноамериканским представительством United Fruit Company (США).

Деятельность UFC в Колумбии стала вопиющим примером империализма, прикрывающегося маской движения к благоденствию и цивилизации. Компания обладала неограниченной властью и огромным политическим влиянием, а потому беззастенчиво вела коррупционную и аморальную политику, нещадно эксплуатируя коренное население Колумбии. По сути, колумбийцы стали рабами на плантациях колонизаторов

в собственной стране.

Для жителей многих районов побережья (в том числе Аракатаки) банановая индустрия была единственным источником дохода, и его потеря означала голодную смерть. Однако условия жизни и работы становились все невыносимей. В октябре 1928 года более тридцати двух тысяч колумбийских работников UFC объявили забастовку, требуя, кроме всего прочего, обеспечения здоровых условий труда, медицинского обслуживания, работающих туалетов и выплаты заработной платы наличными, а не бонами компании, которые можно было отоварить только в магазинах самой UFC по завышенным ценам. Кроме того, рабочие на плантациях требовали признать их наемными работниками компании: несмотря на работу без выходных и мизерную оплату, все они были оформлены как частные предприниматели, субподрядчики, и тем самым не подпадали под действие трудового законодательства Колумбии, защищающего их права.

Руководство компании полностью проигнорировало требования рабочих. Более того, вскоре после начала забастовки правительство Колумбии прислало в зону конфликта военных, которые стали штрейхбрекерами и собирали бананы на плантациях UFC. Для компании это было даже лучше – солдатам не нужно было платить вообще.

Одной декабрьской ночью 1928 года в Сьенаге (около 40 км к северу от Аракатаки) огромная толпа собралась на митинг. Чтобы погасить инцидент, консервативное правительство направило к месту мирного собрания войска, которые расстреляли безоружных рабочих, вышедших на демонстрацию. Погибли сотни людей. А еще через несколько месяцев большая часть людей просто исчезла с лица земли – кто-то умер от голода, кто-то переехал в другой район страны, кто-то пропал без вести. В конце концов противостояние сошло на нет, а конфликт был официально объявлен исчерпанным. Позднее Гарсиа Маркес включил историю Банановой бойни в роман «100 лет одиночества».

Еще одним важным событием, отразившимся на творчестве Маркеса, стал период, который он сам пережил, – жуткий эпизод колумбийской истории, называемый *la violencia* (насилие,). *La violencia* берет свое начало в Банановой бойне, когда единственным политиком, нашедшим в себе смелость выступить против коррупции, в колубийском правительстве стал некий Хорхе Элесьер Гайтан, молодой либерал, член конгресса. Он инициировал расследование обстоятельств забастовки и ее подавления.

Гайтан набирал популярность, особенно у крестьян и

бедноты, к неудовольствию влиятельных членов обеих партий, которые видели в нем угрозу своим постам. Широко используя доступ к радио, Гайтан объявил, что настало время перемен, когда народ сможет получить настоящую демократию и влиять на жизнь в стране, а корпорациям придется отвечать за свои действия.

К 1946 году Гайтан стал настолько популярен и силен, что спровоцировал раскол в либеральной партии (к тому моменту она находилась у власти уже 16 лет), и к власти вернулись консерваторы. Опасаясь за устойчивость своих позиций, они начали создавать военизированные формирования, главной целью которых стал террор против либералов и их приверженцев, и к концу года были уничтожены тысячи людей. В 1947 году либералы вернули себе контроль над Конгрессом, провозгласив Гайтана своим лидером (несмотря на все усилия консерваторов, количество проголосовавших за либералов было рекордным в истории Колумбии). Напряжение в стране росло, и 9 апреля Гайтан был убит в Боготе.

Город захлебнулся в крови – за три дня, получивших название *el Bogotázo,* погибло 2500 человек, пришедших проститься с Гайтаном. Затем *la violencia* вышла на новый, еще более кровавый виток. Партизанские отряды (герилья), организованные либералами и консерваторами, а также «любительские» террористические группировки наводнили страну. Горели деревни, тысячи людей (в том числе женщины и дети) были жестоко убиты, фермы экспроприировали у их законных владельцев. В результате более миллиона колумбийских крестьян бежали в соседнюю Венесуэлу.

В 1949 году консерваторы снова застрелили политика-либерала. На этот раз убийство произошло прямо в зале Конгресса, когда тот говорил речь! Конгресс был распущен, в стране объявили военное положение, и правительство стало последовательно уничтожать либералов (переименованных из идеологических соображений в коммунистов). К 1953 году было уничтожено еще пятнадцать тысяч колумбийцев. *La violencia* проникла и на страницы некоторых произведений Маркеса, прежде всего речь идет о «Недобром часе».

Однако не только политическая жизнь страны повлияла на становление писательского таланта Гарсиа Маркеса. Огромное влияние на характер его прозы оказала семья.

Самыми главными людьми в жизни Маркеса стали, безусловно, его бабушка и дед. Дед – полковник Николас Рикардо Маркес Мехиа (которого все – и даже домашние – называли Полковник), образец героизма для *costeños,* либерал, ветеран

Тысячедневной войны – жил в Аракатаке, городке, возникшем не без его участия. В свое время он отказался молча наблюдать за подавлением Бананового бунта и подал в 1929 году в Конгресс целый ряд запросов о расследовании обстоятельств исчезновения многих мирных граждан.

Полковник был непревзойденным рассказчиком и мог бесконечно рассказывать захватывающие истории из собственной жизни – о том, например, как он в юности застрелил человека на дуэли. Он описывал своим шестнадцати внукам самые кровавые эпизоды своей жизни так, будто речь шла о «невинных шалостях – так, мальчишеские забавы, хотя и с пистолетами».

Старый Полковник учил Габриэля всем наукам по словарю, каждый год водил в цирк, и благодаря ему мальчик впервые в жизни увидел лед – это чудо обнаружилось в недрах магазина UFC. Дед учил внука, что убийство человека – это большая ответственность, и нужно все хорошенько взвесить, прежде чем принять такое решение. Этот урок Гарсиа Маркес позднее вложил в уста одного из своих персонажей.

Бабушка Габриэля – Транквилина Игуаран Котес, приходившаяся мужу двоюродной сестрой, – имела на него не меньшее влияние, чем дед. Английский романист Салман Рушди считал, что именно она «сильнее всего повлияла на воображение Гарсиа Маркеса». Транквилина Игуаран и ее многочисленные сестры, жившие в доме Полковника, были очень суеверны и верили в народные приметы. Они постоянно обсуждали «правдивые истории» о призраках и нежити, дурных знаках и добрых предзнаменованиях – обо всем том, что полностью игнорировал Полковник. Дед не раз говаривал Габриэлю: «Не слушай эту чушь. Это все бабские сказки». Но Габриэль продолжал слушать – в основном потому, что у его бабушки была весьма необычная манера рассказывать. Независимо от того, насколько фантастическими или недоказуемыми являлись ее утверждения, она всегда преподносила их так, будто это была чистейшая правда. Эту особенность ее стиля позаимствовал внук, когда писал «Сто лет одиночества».

Родители Габриэля Маркеса были ему, в общем-то, чужими людьми уже с первых лет жизни. Дело в том, что мать писателя, Луиза Сантьяга Маркес Игуаран, была одной из двух детей Полковника и его жены. Повзрослев, она имела неосторожность влюбиться в недоучившегося медика по имени Габриэль Элихио Гарсиа. «Неосторожность» потому, что фамилия Гарсиа для ее родителей была тем же, что красная тряпка для быка, и относились они к зятю с такой же «нежностью», как Капулетти к Монтекки.

Причин такого отношения было несколько. Во-первых, Габриэль Элихио Гарсиа был консерватором, а во-вторых – *la hojarasca. La hojarasca* — это презрительное словечко, которым именуют тех, кто переселился в город, привлеченный возможностью легкого заработка. Дословно *la hojarasca* обозначает «сухой лист» и по сути является аналогом нашего «перекати-поле». Гарсиа, кроме всего прочего, слыл бабником и считался отцом четверых внебрачных детей.

В общем, он был совершенно не тем человеком, которому бы Полковник хотел отдать руку и сердце дочери. И Полковник не давал благословения, несмотря на все усилия Гарсиа, который читал Луизе стихи, пел серенады, слал бесчисленные письма и даже телеграммы с любовными признаниями (Элихио служил телеграфистом и злоупотреблял служебным положением). Семья Маркес делала все, чтобы держать дочь подальше от назойливого *la hojarasca,* но тот все не исчезал. В конце концов усилия Габриэля Элихио были вознаграждены, и Полковник, скрепя сердце, благословил замужество своей дочери с бывшим студентом-медиком. Чтобы не усложнять отношения с родителями, молодожены переселились из Аракатаки в Риоачу. Трагикомическая история этой свадьбы была позднее пересказана в произведении «Любовь во время холеры» {61}.

В результате бракосочетания Габриэля Элихио Гарсиа и Луизы Сантьяги Маркес Игуаран родился первенец – Габриэль Гарсиа Маркес, будущий нобелевский лауреат.

Он родился 6 марта 1928 года, хотя его отец настаивает, что на самом деле он появился на свет в 1927 году. Родители ребенка были настолько бедны, что их жизнь сводилась к борьбе за собственное физическое существование. В таких условиях содержание и воспитание мальчика взяли на себя бабушка с дедом, что было довольно распространено в Колумбии того времени. К сожалению, 1928 год стал началом заката Аракатаки, которая была центром торговли бананами на Карибском побережье. Банановый бунт и его жестокое подавление тяжело ударили по городу. Более сотни жителей Аракатаки были расстреляны в одночасье и свалены в общую могилу. С этой трагедии началась жизнь Габриэля и он неоднократно возвращался к ней в своих произведениях.

Маленький Габриэль получил прозвище Габито; под воздействием военных историй деда и суеверий бабушки он рос тихим и застенчивым мальчиком. Если не считать Габито и Полковника, то дом был женским царством, и Гарсиа Маркес позднее вспоминал, что из-за рассказов бабушки и бесчисленных тетушек он порой даже боялся вылезти из кресла, чтобы не

встретить привидение.

Корни всех его будущих творений находятся именно в этом доме – в дедушкиных историях о гражданской войне и Банановой бойне, постоянном обсуждении женитьбы родителей, в безраздельной и иррациональной власти матриархата в доме, в бесконечной череде тетушек, двоюродных тетушек, незаконных дочерей деда – тоже тетушек… Сам Гарсиа Маркес писал: «Что бы я ни писал – это всегда рассказ о том времени, которое я прожил в доме деда».

Полковник умер, когда Габито исполнилось восемь лет, и из-за прогрессирующей слепоты бабушки ему пришлось переехать к родителям, в Сукре, где его отец в то время работал провизором. Вскоре после приезда Габито к родителям те решили отдать его в интернат. Сначала он учился в интернате г. Барранкилья, в устье реки Магдалена за сотни километров от дома. В школе он заслужил славу скромника, который умеет сочинять смешные стихи и рисует комиксы. Он был настолько серьезным и малоподвижным для своих лет, что одноклассники окрестили его Стариком.

В 1940 году, в двенадцатилетнем возрасте, благодаря своим успехам в учебе он получил право на бесплатное обучение в иезуитской школе для одаренных детей – Liceo Nacional (Национальный лицей), которая находилась в Сипакире, в тридцати километрах от Боготы. Дорога туда отняла у Габриэля неделю, некоторое время он провел в Боготе (куда попал впервые) и успел решить, что город ему не нравится. Столица произвела на него давящее и гнетущее впечатление, и это укрепило его самовосприятие как *costeño*.

В школе он продолжал писать стихи и рисовать. К замешательству Габриэля, несмотря на то, что ничего значительного написано еще не было, за ним закрепилась слава писателя – во многом благодаря комиксам. Возможно, именно слава школьного писателя позднее помогла ему найти свой путь. Пока же, в 1946-м, юноша окончил лицей и, выполняя желание родителей, поступил в Национальный университет Колумбии на юридический факультет, хотя сам хотел учиться на журналистском.

Тогда же Гарсиа Маркес встретил свою будущую жену. Когда-то его познакомили с девочкой по имени Мерседес Барка Пардо. Темнокожая и молчаливая, она оказалась «самой любопытной личностью», которую он когда-либо встречал. Окончив лицей, Габриэль устроил себе небольшие каникулы перед вступительными экзаменами, приехал в дом к родителям и сделал Мерседес предложение. Она согласилась выйти замуж за

Гарсиа, но не ранее, чем окончит школу. Помолвка не состоялась. Потом жизнь сложилась так, что они смогли пожениться только через четырнадцать лет, и все это время Мерседес хранила верность Габриэлю.

Подобно многим писателям, которые учились не тому, чему нужно, Гарсиа Маркес обнаружил, что право совершенно не интересует его. Он превратился в завзятого прогульщика – пропускал лекции, не ходил на семинары и не готовился к ним, предпочитая бродить по Боготе и читать стихи. Он обедал в дешевых забегаловках, начал курить и стал похож на типичного представителя богемы.

И во время одной из таких прогулок жизнь Габриэля круто изменилась. Причиной этого стала маленькая книжка, оказавшаяся в его руках. Это был рассказ Франца Кафки «Превращение». Он ошеломил Гарсиа Маркеса. Молодой человек понял, что писать не означает беспрекословно следовать строгим законам повествования и держаться традиционных канонов написания рассказов. Он как будто обрел свободу: «Я подумал: а ведь я не знаю ни одного человека, который позволил бы себе так писать. Если бы я знал об этом рассказе раньше, я бы уже давным-давно стал писателем». Маркес говорил, что голос Кафки звучал в унисон с голосом его бабки – «именно так бабушка обычно рассказывала свои истории, говоря о каких-то диких вещах так, как будто они сами собой разумеются, с искренней верой в их реальность».

Маркес решил, что будет писать. Но для начала он вознамерился заполнить пробелы в своем знакомстве с литературой и читал запоем, проглатывая книгу за книгой, не упуская ничего, что попадало к нему в руки. Маркес попробовал писать художественную прозу, и к его удивлению первый же рассказ («Третье смирение») был напечатан в 1946 году в либеральной столичной газете *El Espectador* («Обозреватель»). Восторженный редактор даже назвал начинающего писателя «новым гением колумбийской словесности». За несколько последующих лет Маркес написал еще десять рассказов, которые были опубликованы в этой же газете.

Будучи выходцем из семьи убежденных либералов Гарсиа Маркес был оглушен убийством Гайтана. Он даже принял участие в демонстрациях *el Bogotázo,* а его жилище чуть не сожгли. Университет закрыли, Гарсиа Маркес собирался переехать на север, в более мирные места, но вместо этого перевелся в Картахенский университет, где продолжил изучать право. Одновременно он получил колонку в ежедневной картахенской газете *El Universal,* а два года спустя стал репортером в «Геральде»

(Heraldo), где вел постоянную рубрику «Жираф».

В 1950 году Маркес принял окончательное решение оставить попытки стать юристом и погрузиться в писательство. Он переехал в Барранкилью и вошел в литературный кружок, известный как «Барранкильская группа». Под влиянием кружковцев Маркес прочел Хемингуэя, Джойса, Вирджинию Вульф и – что особенно важно – Фолкнера. Он занялся изучением классики, и особенно его вдохновили трагедии Софокла «Царь Эдип» и «Антигона».

Фолкнер и Софокл оказали наибольшее влияние на творчество Маркеса в сороковых-пятидесятых годах. Софокловы «Царь Эдип» и «Антигона» привели его к размышлениям о законах жизни общества и насильственной природе власти. Фолкнер потряс писателя умением превращать истории своего детства в мифологические сюжеты, выдумывать города и страны, а потом описывать их. В мифической фолкнеровской Йокнапатофе Гарсиа Маркес нашел Макондо. Фолкнер же преподал Маркесу урок того, что писатель должен писать о том, что ему близко. Гарсиа Маркес начал чувствовать все большую неудовлетворенность своими ранними рассказами, считая их слишком оторванными от жизни – «интеллектуальными упражнениями, не имевшими ничего общего с тем, чем я действительно жил».

Все эти мысли оформились совершенно четко, когда Габриэль с матерью приехал в Аракатаку, чтобы продать дом Полковника. Дом, который находился в плачевном состоянии, пробудил в нем массу воспоминаний. Сама Аракатака казалась вымершей и как будто застыла во времени. Переполненный впечатлениями, Маркес начал делать наброски к истории, основанной на личном опыте, пережитом в доме деда. Получившееся произведение было названо «Дом» *(La casa),* и хотя по ощущениям автора оно было далеко от совершенства, «Дом» определил место действия всех последующих романов.

Вдохновленный поездкой, по возвращении в Барракилью Гарсиа на одном дыхании написал свой первый роман «Палая листва» *(La hojarasca)*. Позаимствовав сюжет «Антигоны», он переместил действие в вымышленный городок, получивший название Макондо – такое же как банановая плантация неподалеку от Аракатаки (на языке банту «Макондо» и означает «банан»). В 1952 году первый же издатель, которому Маркес отправил роман, отверг его. Писатель даже не попытался предложить рукопись в другое издательство, а просто спрятал ее в доме одного из друзей. Только в 1955 году, когда Гарсиа Маркес находился в Восточной Европе, роман был извлечен из небытия друзьями писателя, и на этот раз публикация состоялась.

Несмотря на отказ издателя и более чем скромные доходы, Маркес был абсолютно счастлив. Это было время безумных надежд, больших трат и очень маленьких заработков. «У меня не было денег, чтобы играть в бильярд и пить пиво. Поэтому ночи напролет мы проводили с друзьями в спорах о литературе. Фолкнер, Хемингуэй были в ту пору нашими идеалами», – вспоминал писатель свои студенческие годы.

Все это время Маркес жил в борделе, где у него была отдельная комната. «Для писателя, – утверждает он в своей автобиографии, – бордель – лучшее место для жизни: днем спокойно, ночью всегда оживленно». Там он писал заметки для *Heraldo,* встречался с друзьями – в общем, жил.

Так продолжалось до 1953 года, когда Маркес почувствовал охоту к перемене мест. Он уволился с работы и отправился вместе со своим приятелем в провинцию Ла Гуахира продавать энциклопедические словари. Он немного поездил по стране, поработал над некоторыми сюжетами и наконец обручился с Мерседес Барка. В 1954 году Маркес приехал в Боготу и устроился на работу в *El Espectador,* где публиковались его рассказы и кинорецензии. Он стал заигрывать с социализмом, рискуя привлечь нежелательное внимание действующего диктатора Густаво Рохас Пинильи, и начал размышлять о своем месте писателя в эпоху *la violencia.*

В 1995 году произошло событие, которое отбросило его далеко назад на пути к большой литературе и закончилось политической эмиграцией. В том году небольшой эсминец *«Caldas»* взорвался в море на пути в Картахену. По всеобщему мнению, он был потоплен врагами Колумбии. Часть команды вышвырнуло за борт, и вся судовая бригада погибла, за исключением Луиса Алехандро Веласко, которому удалось выжить после десятидневного блуждания по морю на спасательном жилете. Он стал национальным героем Колумбии и пользовался сумасшедшей популярностью. Алехандро постоянно выступал в разных частях страны по самым разным поводам – от политической пропаганды в поддержку правительства до рекламы часов и обуви.

И вот в какой-то момент Веласко решил разрушить легенду и сказать правду: *«Caldas»* пошел ко дну из-за безрассудства команды и некомпетентности капитана. Придя в *El Espectador,* Веласко предложил напечатать об этом статью, и после некоторых колебаний редакция согласилась. Веласко поведал свою историю Гарсиа Маркесу, и тот переложил интервью с моряком в небольшую повесть. Сам Маркес считал, что она «больше похожа на хронику, так как это запись личного опыта, повествование от

первого лица – того человека, который это пережил. В действительности это было долгое интервью, тщательное, полное, которое я брал, зная, что оно не будет опубликовано без корректировки. Мне не нужно было ничего придумывать: я просто шел по лугу и выбирал лучшие цветы. Я говорю это в знак признательности уму, героизму и честности главного героя, которого справедливо можно назвать самым любимым потерпевшим кораблекрушение в стране.

Мы не пользовались магнитофонами, потому что даже лучшие из них в те времена были такими же большими и тяжелыми, как швейная машинка, а магнитная лента закручивалась, как волосы ангела… Я делал записи в школьной тетради и это заставляло меня не терять ни слова из интервью, фиксировать любые мелочи. Благодаря этому удалось разгадать причину кораблекрушения, о которой до этого не говорили: перегрузка палубы военного корабля плохо упакованными домашними приборами».

Повесть, которая публиковалась по частям на протяжении двух недель под названием «Правдивая история о приключениях Луиса Алехандро Веласко, рассказанная им самим[43]», стала сенсацией. Веласко моментально уволили из флота. Маркесу повезло значительно больше. Боясь, что Пинилья решит расправиться с журналистом, редактор направил его в Италию, где вот-вот должен был умереть Папа Пий XII, чтобы осветить это событие для колумбийского читателя. Однако понтифик неожиданно выздоровел, и командировку пришлось отменить. Тогда Гарсиа Маркес был отряжен в путешествие по Европе в качестве корреспондента *El Espectador*. Пробыв некоторое время в Риме, Маркес отправился в путешествие по странам коммунистического блока. А в это время его друзья опубликовали роман «Палая листва».

Маркес путешествовал по Восточной Европе вместе с Плинио Апулейо Мендосой, который был в то время редактором *Elite,* каракасского[44] еженедельника (до 1957 г.). Они надеялись найти в социализме рецепт лекарства от болезней Колумбии. И хотя обнаружили много позитивного, Гарсиа Маркес с огорчением увидел, что коммунизм (во всяком случае, декларируемый) может быть так же страшен, как и *la violencia.* Вот лишь один пример из путевых очерков самого Маркеса о его пребывании в СССР: «Профессор Московского университета, несколько раз побывавший во Франции, объяснял нам, что в большинстве своем советские рабочие уверены, будто они сами изобрели многое из того, чем уже долгие годы пользуются на Западе. Старая американская шутка о том, что советские люди

считают себя изобретателями всего, чего только можно, начиная с вилки и заканчивая телефоном, имеет довольно простое объяснение. В то время как западная цивилизация в XX веке шла по пути технического прогресса, советский народ пытался разрешить многие элементарные проблемы, живя за закрытыми дверями. Если иностранный турист встретит вдруг в Москве какого-нибудь нервного лысоватого типа, утверждающего, что холодильник – это его изобретение, не нужно считать его сумасшедшим: вполне возможно, что так оно и есть на самом деле. Может быть, он на самом деле изобрел холодильник, хотя и много лет спустя после того, как он стал повседневностью на Западе».

Гарсиа Маркес побывал в Женеве, Риме, Польше и Венгрии и, приехав в Париж, обнаружил, что лишился работы и заработка – правительство Пинильи закрыло *El Espectador*. Поселившись в Латинском квартале, он потихоньку проедал свои сбережения и зарабатывал сбором пустых бутылок. Под влиянием рассказов Хемингуэя Маркес написал одиннадцать вариантов «Полковнику никто не пишет» и «Город дерьма» – книга, которую позднее переименовал в «Недобрый час». Закончив «Полковника», Маркес отправился в Лондон, откуда вернулся в Южную Америку, но не в Колумбию, а в Венесуэлу – прибежище колумбийских беженцев и эмигрантов. Он завершил работу над «Городом дерьма», написанным по мотивам событий *la violencia.*

Маркес оставался недоволен своими произведениями, хотя было очевидно, что он уже создал собственный неповторимый стиль. Он считал, что его ранние рассказы были неэмоциональны и оторваны от реальности: «Палая листва» – слишком «фолкнеровской», а «Полковнику никто не пишет» и «Плохие времена» – слишком далекими от того, что он хотел написать на самом деле. Он знал, что местом действия должен быть Макондо, но все еще не понял, как именно надо рассказать «все как было». Должны были пройти годы, чтобы Гарсиа Маркес стал с маниакальной настойчивостью повторять, что «Полковнику никто не пишет» – лучшая его книга.

А тогда повесть «Полковнику никто не пишет» не принесла писателю славы. Более того, не только такие тонкие ценители и глубокие истолкователи его творчества, как перуанский писатель Марио Варгас Льоса, но и сам Гарсиа Маркес на волне поистине сказочной популярности романа «Сто лет одиночества» готовы были считать ее, наряду с многочисленными репортажами, рассказами и повестями, чем-то если не второстепенным, то предваряющим. «Этот мир, несмотря на свою сцементированность, жизненность и символичность, страдал

однако недостатками, которые мы сегодня, оглядываясь назад, обнаруживаем благодаря роману «Сто лет одиночества»: он был непритязателен и скоротечен, – писал Варгас Льоса. – Все в нем билось за право расти и развиваться: люди, вещи, чувства и мечты означали больше, чем казалось на первый взгляд, потому что словесная смирительная рубашка сковывала их движения, отмеряла число их появлений, опутывала в тот самый момент, когда они готовы были выйти из себя и взорваться в неуправляемой, головокружительной фантасмагории».

Поединок одинокого человека с небытием и кажущейся бессмысленностью человеческого существования, старик, который не носит шляпу, чтобы ни перед кем ее не снимать, полковник, бросающий вызов неминуемому поражению, – такого персонажа и такой коллизии современная Гарсиа Маркесу литература не знала. Да и в творчестве самого писателя она осталась непревзойденной. Не случайно повесть «Полковнику никто не пишет» часто сравнивают с повестью Хемингуэя «Старик и море». Их роднит и немногословное совершенство языка и стиля, и трагический оптимизм героев, и та философия, носителями которой являются старики обоих писателей.

В Венесуэле Маркес встретил старого друга, Плинио Апулейо Мендосу, который предложил Маркесу работу в столичном *Momento*.

В 1958 году Маркес рискнул съездить в Колумбию. Стараясь не привлекать к себе внимания, он приехал в Барранкилу и женился на Мерседес Барка, которая ждала его с момента помолвки четыре года. Габриэль увез молодую супругу в Каракас.

Но и здесь все было не слава богу. После публикации ряда статей, осуждающих политику США в Южной Америке, *Momento* подвергся сильнейшему политическому давлению и превратился в проамериканское издание, полностью поддерживающее действия президента Никсона. Разозленные капитуляцией газеты, Маркес и Мендоса уволились, после чего отправились на Кубу, в Гавану, чтобы освещать события кубинской революции. Вдохновленный успехами Кубы, Маркес помог открыть в Боготе корреспондентский пункт кубинского агентства новостей *Prensa Latina*. Это положило начало его дружбе с Фиделем Кастро, которая длится и по сей день (Кастро даже подарил Маркесу дом на Кубе).

В 1959 году родился первый сын писателя, и семья переехала в Нью-Йорк, где Маркес возглавил североамериканское отделение *Prensa Latina*. Через год, когда рассеялись иллюзии относительно идеологических приоритетов кубинской коммунистической партии, Маркес уволился, переехал с семьей в Мехико, а въезд в

США ему закрыли до 1971 года.

В Мехико Маркес писал субтитры к фильмам, работал над сценариями и начал публиковать свои романы. В 1961-м был напечатан «Полковнику никто не пишет», спасенный друзьями Маркеса от забвения, а в 1962-м – «Похороны Большой мамы»[45]. В том же году родился второй сын писателя, Гонзало. Наконец Маркеса уговорили принять участие во всеколумбийском литературном конкурсе, на который он представил подредактированную версию романа «Город дерьма», назвав ее «Недобрый час». Он выиграл конкурс.

Спонсор премии отправил книгу в Мадрид на публикацию, и она увидела свет в 1962 году, но лучше бы этого не случилось. Книга изменилась до неузнаваемости – испанские издатели очистили ее от латиноамериканских словечек и эпизодов, кажущихся им вызывающими, выхолостили речь героев, заставив их говорить на идеальном, литературном испанском языке. Маркес приложил все усилия к переизданию – ему потребовалось около пяти лет на то, чтобы книга вышла в первозданном виде.

Следующие годы были годами разочарований и неудач. Маркес не создал ничего, заслуживающего внимания, за исключением сценария, написанного в соавторстве с мексиканским писателем Карлосом Фуэнтесом. Окружающие пытались подбодрить писателя, но он чувствовал себя неудачником. Ни одна из написанных им книг не разошлась тиражом, большим, чем 700 экземпляров.

Тем не менее он снова и снова возвращался к истории о Макондо, и наконец пришел успех. В январе 1965 года по дороге в Акапулько, куда он ехал отдыхать с женой и детьми, его осенило: он понял как именно надо рассказывать о жизни Макондо. Когда на Маркеса снизошло озарение, он развернул машину и поехал домой.

Мерседес взяла на себя все хлопоты по хозяйству, а он засел за работу: «Совершенно неожиданно – я не знаю как – я ясно увидел как надо писать эту книгу… Я настолько четко видел ее, что сразу же мог начать диктовать первую часть машинистке, слово за словом». «Та интонация, которая звучит в книге «Сто лет одиночества» – прямая наследница того, как рассказывала свои истории моя бабушка. Она говорила о совершенно фантастических вещах как о чем-то обыденном, даже рутинном. <…> Но самое главное – это выражение ее лица. Оно не менялось ни на йоту, даже когда вокруг нее все ахали от удивления. Так вот, когда я пытался писать, то я пересказывал истории как сторонний слушатель, не верящий в происходящее. А тут я понял – мне нужно было поверить в них, и после этого

рассказывать с тем же каменным лицом, с каким это делала моя бабушка». Очень ярки и воспоминания Гарсиа Маркеса об одной из его тетушек: «Это была необыкновенная женщина. Она же – прототип героини совсем другой необыкновенной истории. Однажды она вышивала на галерее, и тут пришла девушка с очень странным куриным яйцом, на котором был какой-то нарост. Уж не знаю почему, но наш дом был своего рода консультацией по всем загадочным делам. Всякий раз, когда случалось что-то, чего никто не мог объяснить, шли к нам и спрашивали, и, как правило, у тетки всегда находился ответ. Меня восхищала та легкость, с которой она решала подобные проблемы. Да, так вот, девушка с яйцом спросила: «Посмотрите, отчего у этого яйца такой нарост?» Тетя взглянула на нее и ответила: «Потому что это яйцо василиска. Разведите во дворе костер». Костер развели и сожгли это яйцо. Думаю, именно эта легкость дала мне ключ к роману «Сто лет одиночества», где рассказываются вещи самые ужасающие, самые необыкновенные, и все с тем же невозмутимым лицом, с каким тетя приказала сжечь во дворе яйцо василиска, которое она никогда в жизни не видела».

«"Сто лет одиночества" – это литературное свидетельство всего, что так или иначе цепляло меня в детстве. В каждом герое романа есть частица меня самого», – признавался Гарсиа Маркес.

Маркес писал свой роман восемнадцать месяцев, выкуривая до шести пачек сигарет ежедневно. Друзья прозвали его прокуренную комнату «Пещера мафии» и помогали семье, чем могли, веря в то, что Маркес пишет нечто выдающееся. Несмотря на помощь, к моменту окончания романа автомобиль был продан, все имущество заложено, чтобы Мерседес могла прокормить семью и предоставить в распоряжение мужа сигареты и бумагу.

После почти года работы Маркес отправил три первые части своему приятелю Карлосу Фуэнтесу, который объявил во всеуслышание: «только что я прочел восемьдесят страниц шедевра». По мере приближения к завершению работы над романом напряжение росло и в воздухе витало ожидание успеха. Маркес поместил на страницы романа себя, свою жену, своих родных и друзей и написал на последней странице название – *Cien años de soledad* — «Сто лет одиночества».

Он выбрался из «Пещеры» с тремястами страницами текста в руках, истощенный и почти отравленный никотином, с десятитысячным долгом. Ему нужно было оплатить почтовые расходы для рассылки романа издателям – он заложил последнее, что было в его доме, и отослал копию издателю в Буэнос-Айрес. Он был счастлив – более того, пребывал в эйфории.

Книга вышла в 1967 году, в июне, и за первую же неделю

было продано восемь тысяч экземпляров. С этого момента в успехе романа уже никто не сомневался – и за следующие три года ушло полмиллиона книг. Роман был переведен более чем на 25 языков, и получил четыре международных премии. Маркесу исполнилось 39 лет, когда мир узнал его имя. Первое издание романа, о котором Пабло Неруда писал, что это, «быть может, величайшее откровение на испанском языке со времен «Дон Кихота», вызвало, по словам другого писателя, Марио Варгаса Льосы, «литературное землетрясение».

В 1969 году роман выиграл приз Кьянчино (Италия), его назвали лучшей иностранной книгой Франции. В 1970 году роман перевели на английский язык, и он стал одной из двенадцати лучших книг в США. Два года спустя книга получила приз Ромуло Гальегаса (Рим), приз Нойштадта.

Считается, что вымышленная деревня Макондо (списанная с городка Аракатака, где писатель провел свое детство) символизирует собой Латинскую Америку, а ее основатель Буэндиа со своими потомками – историю мира. Линор Горалик: «Роман Маркеса лишен «главных» героев как таковых – в обычном понимании этого слова. Бесконечное брожение в зеркальном лабиринте, от одного Буэндиа к другому Буэндиа, среди повторяющихся из поколения в поколение лиц, характеров, слов и ситуаций, убеждает читающего в совершенной заменимости каждого из героев. На фоне бесконечного повествования о семье Буэндиа любой пришелец в Макондо вызывает ощущение струи чистого воздуха. Этого воздуха не хватает надолго – вязкая атмосфера белого дома с бегониями всасывает и душит всякого, кто соприкоснулся с Буэндиа». «Сто лет одиночества» – это настоящие литературные джунгли, – писал американский критик Уильям Макферсон. – Это фантастическое создание магии, метафоры и мифа».

Впрочем, некоторые критики высказывают сомнения в том, что Маркеса можно назвать великим писателем, а его главную книгу «Сто лет одиночества» – бессмертным шедевром. Американский критик Джозеф Эпстайн в *Commentary* превозносит композиционное мастерство романиста, однако находит, что «его безудержная виртуозность приедается». «Вне политики, – отметил Эпстайн, – рассказы и романы Маркеса не имеют нравственного стержня; они не существуют в нравственной вселенной».

Если верить Гарсиа Маркесу, «Сто лет одиночества» была книгой, которую он задумал еще в семнадцать лет, но тогда не осилил, хотя и написал первый абзац – тот самый, которым начинается роман. Уже там речь идет о Макондо, городке, к которому он будет возвращаться снова и снова, как бы измеряя

его мерой своего творческого роста, доверяя ему свои замыслы. «Упорная повторяемость образов, – пишет В. Б. Земсков, – странно выглядевшая со стороны, была сигналом продолжавшейся работы над всеохватным романом, где возник бы законченный и исчерпывающий образ – образ *своего клочка земли, величиной с почтовую марку и равного всему миру».*

Литературный успех – всегда испытание, поскольку «немедленно возникает подозрение в счастливой случайности. Для великого писателя это испытание всегда сопряжено с потребностью в творческом поиске, к которому почитатели его таланта, ожидающие новых встреч с уже известным и полюбившимся, относятся подчас весьма агрессивно». Однако новые книги Маркеса, не затмив «Ста лет одиночества», подтвердили неслучайный характер появления этого романа.

В ответ на взрыв восторга по поводу «Ста лет» Маркес вернулся к письменному столу. Решив, что на это раз напишет о диктаторе и диктатуре, он вместе с семьей на несколько лет переехал в Барселону, в Испанию, где последние годы доживала власть Франко. Впрочем, «первую версию "Осени патриарха" я начал в Каракасе в 1958 году, – писал Гарсиа Маркес. – Это было прямолинейное повествование от третьего лица о воображаемом карибском диктаторе, обладающим чертами многих реальных людей, но большей частью списанном с венесуэльца Хуана Висенте Гомеса [президент и диктатор Венесуэлы в 1909–1935 годах. – *Прим. ред.*] Я не сильно продвинулся в написании романа, когда поехал в Гавану в качестве журналиста, чтобы присутствовать на публичном суде генерала Фульгенсио Батиста, осужденного по всем видам военных преступлений. Суд длился целую ночь на переполненном стадионе и в присутствии журналистов со всего мира. На закате генерал был приговорен к смерти и расстрелян несколько дней спустя. Это был ужасный урок реальности, победившей непостоянство вымысла, который заставил меня поменять традиционную форму романа на душераздирающую и сложную, похожую на то, что мы пережили той ночью (например, старый диктатор на суде рассказал все о своей жизни за десять часов). Первые строки книги подсказал мне сам осужденный, когда поднялся на возвышение, ослепленный вспышками фотоаппаратов, и приказал: «Уберите с моего лица эти вспышки!» Очень скоро я понял свою ошибку. Внутренний монолог героя приговаривал мой роман к тому, что в нем будут только голос и размышления диктатора».

Как известно из различных интервью, замысел романа вырос из попытки чуть ли не всех крупнейших писателей Латинской

Америки написать что-либо о диктатуре и власти. Мексиканский писатель Карлос Фуэнтес публично объявил о том, что каждый латиноамериканский писатель напишет роман о диктаторе своей страны для сборника с общим заглавием «Отцы родины». Кубинец Алехо Карпентьер опубликовал тогда роман «Превратности метода», парагваец Аугусто Роа Бастос «Я, Верховный». Венесуэлец Мигель Отеро Сильва начал писать биографию своего соотечественника Хуана Висенте Гомеса, которую так и не закончил, а аргентинец Хулио Кортасар собирал материалы о погибшей Эве Перон. Сам Карлос Фуэнтес готовил роман о генерале Антонио Лопесе де Сантана, который потерял всю Мексику и все золото Калифорнии в войнах с США и с царскими почестями захоронил собственную ампутированную ногу.

«Осень патриарха» отличается от других романов о диктаторах высокой степенью обобщенности. И дело, видимо, не только в том, что при распределении ролей Маркес остался без «своего» диктатора, но и в том, что миф о диктаторе создается всем народом, поскольку такова природа власти. Народная молва не только описывает тирана, но и творит, народ не только страдает, но и порождает его. Так и в случае с Генералиссимусом Времени Гарсиа Маркеса, который попытался рассмотреть его с различных точек зрения. Патриарх предстает как оборотень, ведь разные люди в зависимости от степени сопричастности к нему, осведомленности, пристрастности и образованности видят его разным, в разных местах и в разное время. В итоге Генералиссимус Времени узнаваем не только в любой стране Латинской Америки, но и в любой точке земного шара».

Затрагивая одну из самых больных тем мировой истории XX века, Гарсиа Маркес дает художественную жизнь таким ключевым и вечным темам, как перерождение революционеров, хам на троне, психология толпы, обожествляющей того, кто сумел добраться до власти. Особенно отчетливо в «Осени патриарха» прозвучала тема опасности, таящейся в самом народе-мифотворце. И «Осень» – как художественный анализ психологии тирании и послушной, доверчивой толпы – в этом смысле перекликается с «Великим инквизитором» Достоевского.

После прихода к власти в Чили режима Пиночета Маркес заявил, что дает обет «художественного молчания» до тех пор, пока диктатура не падет. Отречение Гарсиа Маркеса от художественной литературы продолжалось шесть лет, с 1975 года (выход в свет «Осени патриарха») до 1981 года (публикация романа «Хроника объявленной смерти»[46]). Данный писателем обет молчания лишь отчасти напоминал средневековый, поскольку в это время он активно использовал возможности

публицистики в политических целях.

Все эти годы Маркес поддерживал своей публицистикой Фиделя Кастро и сандинистов в Никарагуа. Исследователи считают, что «отличие Гарсиа Маркеса-художника от Гарсиа Маркеса-публициста принципиально. Если у второго всегда есть готовый ответ на традиционные в литературе общественного звучания и общественного служения вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?», то первый не только не дает этих ответов, он, в сущности, их и не знает. Пустое дело – пытаться найти их в художественных произведениях Гарсиа Маркеса, хотя критики нередко так поступают, надеются их реконструировать, опираясь на публицистику писателя». Сам Маркес называет себя репортером в стане писателей и уверяет, что «газета не убивает в пишущем литератора, но, наоборот, помогает обрести слогу силу, искренность и правдивость». Впрочем, друзья-журналисты придерживаются противоположного мнения и цитируют неточности Маркеса, которыми изобилует его газетная аналитика: «Он не может не фантазировать! Чем бы он ни занимался, он прежде всего был и остается писателем».

Гарсиа Маркес, наряду с такими крупнейшими писателями Латинской Америки, как Пабло Неруда или Хулио Кортасар, не только не раз признавался в своем сочувствии революционным процессам в странах Латинской Америки, но самым активным образом поддерживал их. Став знаменитым писателем, он осознал, что обладает политическим весом, а его возросшее влияние и финансовое благополучие давали возможность реализоваться в общественной жизни. В Мехико он купил новый дом и начал кампанию за изменение мира вокруг себя, перечисляя часть своих гонораров на общественно-политические нужды и поддерживая близкие ему по духу организации. Он помогал левым движениям Колумбии, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины и Анголы; поддерживал HABEAS – организацию, которая боролась с насилием в Латинской Америке и выступала за освобождение политических заключенных. Маркес завязал прочную дружбу с такими личностями, как социалист Омар Торрихос в Панаме и Фидель Кастро на Кубе.

Нет нужды говорить, что весь этот «активизм» Маркеса, разумеется, не вызывал благосклонности ни со стороны политиков США, ни со стороны правительства Колумбии. Маркесу снова ограничили въезд в Штаты, все поездки требовали специального разрешения Госдепартамента (эти ограничения были сняты только при Билле Клинтоне).

В 1977 году он опубликовал серию эссе о влиянии Кубы на развитие Африки. Эссе были довольно ироническими; несмотря

на близкую дружбу с Кастро, который даже помогал редактировать «Хронику объявленной смерти», Маркес написал «очень острую, очень честную» книгу об итогах кубинской революции и жизни в стране при режиме Кастро. Эта книга, написанная в конце семидесятых, до сих пор не опубликована – Маркес заявил, что она будет храниться в рукописном виде до тех пор, пока не нормализуются отношения между США и Кубой.

Роман «Хроника объявленной смерти» *(Cronica de una muerte anunciada)* появился в 1981 году; он повествует об убийстве, по-разному воспринятом различными и ненадежными очевидцами. Рецензируя роман, Билл Бафорд писал, что автор «Хроники…» – это, «безусловно, один из самых блестящих и самых „магических“ политических романистов современности». Сам Маркес так отзывался о своем творении: «…это больше репортаж, нежели хроника. Это драматическое воссоздание публичного убийства моего друга детства, совершенного братьями его бывшей невесты, от которой жених отказался, узнав в первую брачную ночь, что она не девственница. Она обвинила моего друга в своем бесчестии, и ее братья зарезали его среди бела дня на городской площади. Тридцать лет я ждал, чтобы описать эти драматические события, свидетелем которых сам не был, потому что мать просила меня этого не делать, принимая во внимание взаимоотношения двух враждующих семей. Когда наконец я получил разрешение, эта история так живо представлялась мне, что не понадобилось даже обращаться ни к одному из бессчетных свидетельств. В действительности это не хроника – как я неудачно обозначил в заглавии – а исторический эпизод, защищенный от общественного любопытства и злых языков измененными именами героев, не указанным местом действия, но с точностью воспроизводящий обстоятельства и события».

В том же 1981 году Маркес получил орден Почетного легиона и вернулся в Колумбию, встретившись с Кастро. Вернулся – и снова попал в передрягу. Консервативное правительство обвинило его в финансировании деятельности партизанской группировки М-19. Писатель покинул Колумбию и попросил политического убежища в Мексике, где живет и по сей день. Однако Колумбии вскоре пришлось раскаяться в содеянном: в 1982 году он получил Нобелевскую премию по литературе. Новоизбранный колумбийский президент Бетанкур, не ожидавший такого развития событий, сразу же пригласил Маркеса вернуться на родину и даже специально прилетал в Стокгольм на церемонию награждения, чтобы встретиться с писателем.

Колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес получил Нобелевскую

премию по литературе «за романы и рассказы, в которых фантастическое и реалистичное объединены в богато составленном мире воображения, отражающем жизнь и конфликты континента». Гарсиа Маркес, узнав о присуждении ему премии, сказал, что был «удивлен и изумлен». Указав на то, что он номинировался на нее на протяжении трех лет, он заметил: «Я уж было вообразил, что становлюсь одним из тех, кого зовут вечными кандидатами». В интервью, данном накануне награждения и опубликованном в итальянской газете *Corriere della Sera,* Гарсиа Маркес сказал, что у него нет никаких шансов, поскольку Шведская академия словесности «ищет неизвестных авторов, писателей, которые не имеют того тиража, которого заслуживают… Каждый писатель мечтает о Нобелевской премии, но получить ее было бы для меня невезением, так как я больше всего хочу оставить как можно больше пространства для частной жизни».

И тем не менее, Маркесу не повезло. «На протяжении уже многих лет латиноамериканская литература демонстрирует такую мощь, какую редко встретишь в других литературных регионах, – отметил при награждении представитель Шведской академии Ларс Йюлленстен. – В произведениях Гарсиа Маркеса народная культура, испанское барокко, влияние европейского сюрреализма и других модернистских течений представляют утонченную и жизнеутверждающую смесь». Йюлленстен отметил также, что «Гарсиа Маркес не скрывает своих политических симпатий, он стоит на стороне слабых и обездоленных, против угнетения и экономической эксплуатации».

Маркес не обошел политику даже в своей Нобелевской лекции, названной «Одиночество Латинской Америки». Он посвятил ее условиям жизни в Центральной и Южной Америке, коснулся темы эксплуатации коренного южно-американского населения. «Смею думать, – заметил он, – что южно-американская действительность, а не только ее литературное выражение, заслужила внимание Шведской академии». В заключение он согласился с тем, что писатель несет ответственность за «создание утопии, где никто не сможет решать за других, как им умирать, где любовь будет подлинной, а счастье – возможным и где народы, обреченные на сто лет одиночества, обретут в конце концов право на жизнь».

В том же 1982 году Маркес участвовал в публикации книги «Запах Гуавы» – сборника бесед с Плинио Апулейо Мендосой, а также написал «Вива, сандино» – киносценарий о революции в Никарагуа и сандинистах. Тогда же он начал новый роман, в котором ни о какой политике и речи не было – он задумал

рассказать историю любви. Черпая вдохновение и жизненный материал из своего богатого прошлого, он превратил странную историю бракосочетания собственных родителей в тягучее повествование.

Произведение Маркеса посвящалось двум влюбленным, которые долгие годы не могли воссоединиться, и событиям, происходившим в эти годы. В романе «Любовь во времена холеры» (1985), новая встреча мужчины и женщины, не угадавших в молодости своей судьбы, происходит, когда женщине исполняется 72 года, а мужчине – 76. Вообще же, сюжет произведения ясен из подзаголовка: «Повесть о том, как бедный телеграфист Флорентино Ариса полюбил красавицу Фермину Дасу и ждал ее ответа пятьдесят один год, девять месяцев и четыре дня».

В 1986 году «Любовь во время холеры» была отдана на суд заждавшейся публики. Книга была встречена необычайно тепло – даже *New York Times* опубликовала рецензию на нее. Гарсиа Маркес в очередной раз подтвердил свой статус великого писателя.

С тех пор один из самых знаменитых писателей Земли как рыба в воде живет в мире литературы, преподавания и общественной деятельности. Переезжая из Мехико в Картахену, Куэрнаваку, Париж, Барселону и Барранкилу, он завершил 1980-е годы публикацией романа «Генерал в лабиринте» в 1990 году. Двумя годами позже он напечатал сборник «Двенадцать странствующих рассказов», который сам оценил как «книгу, наиболее приближенную к той, какую всегда хотелось написать». В этой книге Маркес пишет о притягательности «древних пристаней Европы» для латиноамериканских писателей и европейских корнях литературы Южной Америки.

Речь идет о своеобразном понимании соприкосновения Старого и Нового Света, которое определило судьбу Латинской Америки, послужило основой самобытной культуры этого континента и в то же время, по закону бумеранга, забросило латиноамериканцев в Европу. Посвятив все свои предыдущие книги последствиям такой встречи, Гарсиа Маркес наконец решил рассказать «о тех странных вещах, которые случаются с латиноамериканцами в Европе».

Жители Южной Америки, попадая на время или навсегда в Европу, «обреченные странничеству, реальному или душевному, все они что-то ищут, чего были лишены от природы либо утратили – там, за океаном, или здесь, в мире, столь непохожем на тот». Согласно Эве Валькарсель, «эти истории с внеевропейскими персонажами, разворачивающиеся на

европейском пространстве, с непредсказуемым концом, зиждутся на противостоянии культур, неоспоримо параллельных и абсолютно различных, как абсолютно недостижима та точка, в которой они намереваются встретиться».

В 1994 году вышла в свет книга «О любви и других демонах». После выхода этого произведения Маркес тяжело заболел – у него обнаружили лейкемию. Следующий роман – не публицистика – вышел только в конце 2004-го, а до этого писатель занимался журналистикой и публицистической прозой.

В 1996 году он закончил «Историю одного похищения» – книгу-расследование, посвященную колумбийской наркоторговле. «Эта книга по сути своей – о всеобщем безмерном страдании колумбийского народа, представителей самых разных его слоев. Ибо по воле наркомафии мой народ был поставлен на грань ужасной трагедии, возможно, катастрофы апокалипсического характера» – такова, по словам Маркеса, стержневая идея этого произведения.

Он решил написать его тогда, когда «узнал, что в поселке Чикинкаре поступил в продажу отравленный хлеб, и немедля направился туда. Но, прибыв на место, я обнаружил там шумное сборище вездесущих журналистов, примчавшихся туда, чтобы наблюдать, как небезызвестный Габо – так меня называют многие латиноамериканцы – будет делать репортаж. И я вынужден был отказаться от своего намерения, хотя продолжил поиски темы для репортажа.

Впоследствии мне посчастливилось встретить Маруху Пачон – родственницу ранее убитого эскобаровцами кандидата в президенты страны и одну из девяти человек, похищенных в августе 1990 года. Она рассказала, что пишет воспоминания о пережитом, и я предложил ей опубликовать их в виде репортажа в моей будущей документальной книге. В процессе работы над книгой мой замысел определился точнее: количество репортажей в ней значительно возросло. Я счел необходимым дать анализ политического и социального положения в стране в тот период. Это потребовало от меня напряженной, крайне трудоемкой работы на протяжении трех лет».

Главный персонаж книги – Пабло Эскобар, лидер Колумбийского картеля. В основу сюжета легли события двух последних лет его жизни. «Он предстает как живой человек, и вместе с тем некоторые его действия и по сей день остаются неразрешимой загадкой, – говорит о нем Гарсиа Маркес. – Мне хотелось проникнуть в глубины психологии его незаурядной личности, движимой жаждой власти и жестокосердием, граничащим с садизмом, что не мешало ему почти трогательно

заботиться о своих боевиках. Он, чье имя было овеяно всевозможными легендами, моментами представал передо мной как олицетворение могучих разрушительных сил, от которых зависела сама судьба колумбийского народа».

Возвращение в журналистику закончилось покупкой в 1999 году оппозиционного журнала *Cambio*. Это издание, вышедшее после смены владельца на новый виток развития, дало Маркесу возможность вернуться к истокам, к началу своего пути.

В конце 2000 года в прессе появились известия о том, что писатель умирает от лейкемии. Рак дал метастазы в лимфатические узлы, и это означало, что срок недолог, и Габриэль Гарсиа Маркес понимал это лучше всех. 8 декабря он разослал своим друзьям последнее в своей жизни письмо с заглавием «Я ухожу» – последний дар миру прекрасного человека и подлинного мастера: «Если бы Господь Бог на секунду забыл о том, что я тряпичная кукла, и даровал мне немного жизни, вероятно, я не сказал бы всего, что думаю; я бы больше думал о том, что говорю.

Я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их значимости.

Я бы спал меньше, мечтал больше, сознавая, что каждая минута с закрытыми глазами – это потеря шестидесяти секунд света.

Я бы ходил, когда другие от этого воздерживаются, я бы просыпался, когда другие спят, я бы слушал, когда другие говорят.

И как бы я наслаждался шоколадным мороженым!

Если бы Господь дал мне немного жизни, я бы одевался просто, поднимался с первым лучом солнца, обнажая не только тело, но и душу.

Боже мой, если бы у меня было еще немного времени, я заковал бы свою ненависть в лед и ждал, когда покажется солнце. Я рисовал бы при звездах, как Ван Гог, мечтал, читая стихи Бенедетти, и песнь Серра была бы моей лунной серенадой. Я омывал бы розы своими слезами, чтобы вкусить боль от их шипов и алый поцелуй их лепестков.

Боже мой, если бы у меня было немного жизни… Я не пропустил бы дня, чтобы не говорить любимым людям, что я их люблю. Я бы убеждал каждую женщину и каждого мужчину, что люблю их, я бы жил в любви с любовью.

Я бы доказал людям, насколько они не правы, думая, что когда они стареют, то перестают любить: напротив, они стареют потому, что перестают любить!

Ребенку я дал бы крылья и сам научил бы его летать.

Стариков я бы научил тому, что смерть приходит не от

старости, но от забвения.

Я ведь тоже многому научился у вас, люди.

Я узнал, что каждый хочет жить на вершине горы, не догадываясь, что истинное счастье ожидает его на спуске.

Я понял, что, когда новорожденный впервые хватает отцовский палец крошечным кулачком, он хватает его навсегда.

Я понял, что человек имеет право взглянуть на другого сверху вниз лишь для того, чтобы помочь ему встать на ноги.

Я так многому научился от вас, но, по правде говоря, от всего этого немного пользы, потому что, набив этим сундук, я умираю».

А в конце января 2001 года выяснилось, что текст «Я ухожу» оказался талантливой подделкой под Маркеса, который вовсе и не собирался умирать. Напротив, он выздоравливал и даже выступил с опровержением своего авторства, заявив, что никогда не писал ничего подобного. Автор «Я ухожу» неизвестен до сих пор.

В 2002 году вышел первый том воспоминаний Маркеса «Жить, чтобы рассказать», над которыми он работал несколько лет. В книге писатель повествует о своем детстве и юности, и прежде всего о своих предках, ставших прототипами персонажей его главных романов – «Сто лет одиночества» и «Любовь во время холеры».

В 2004 году, после десятилетнего перерыва, вышел очередной роман Габриэля Гарсиа Маркеса. Он был издан беспрецедентным тиражом в миллион экземпляров, и в первый же день продажи были побиты все прежние рекорды реализации книг в испаноязычном мире. Роман назван *Memoria de Mis Putas Tristes* и, разумеется, на русский язык пока не переведен.

Сообщая о выходе романа, российские агентства новостей изощрялись в переводах его названия. «НТВ» предположило, что произведение Маркеса называется «Воспоминая моих грустных проституток», «Лента. Ru» дало перевод «Воспоминания о моих грустных шлюхах», «Интерфакс» соригинальничал: «Воспоминания моих печальных потаскух», «Вести. Ru», не уверенные в точном переводе, ограничились расплывчатым «Воспоминания моих печальных подруг». Но дальше всех пошло РИА «Новости», предложившее нецензурный вариант.

Главный герой нового произведения Маркеса – 90-летний старик, влюбившийся в 14-летнюю девочку. Он не решается прикоснуться к ней, но на протяжении всего романа вспоминает чувства и чувственные ощущения, испытанные с многочисленными «жрицами любви», так как из-за природной стеснительности никогда не имел дело с женщинами, если не платил им. При этом он записывал все подробности каждой

встречи, и теперь эти записи помогают ему вспоминать пережитое.

Выход романа в свет сопровождался скандалом – до официального выхода книги незаконно продавались ее пиратские копии. Чтобы обмануть пиратов, Маркес переписал финал романа буквально накануне его публикации.

В том же году Маркес, который многие десятилетия наотрез отказывался сотрудничать с Голливудом, продал права на экранизацию романа «Любовь во время холеры» одной из кинокомпаний. Причиной этого шага, по словам 76-летнего писателя, стала неуверенность в будущем его семьи – жены Мерседес и двоих сыновей Гонсалио и Родриго. Несмотря на то что книги приносят писателю неплохой доход, большую часть гонораров он истратил на издание еженедельника *Revista Cambio,* который издавался в Колумбии и Мексике. В последнее время финансовые дела у издателя Маркеса шли с переменным успехом.

Самые последние новости из жизни писателя таковы: нобелевский лауреат нарушил свое обещание никогда не приезжать в Испанию, данное в 2001 году после того, как испанское правительство ввело въездные визы для жителей Колумбии. Маркес приехал в Барселону вместе со своим мексиканским коллегой Карлосом Фуэнтесом, чтобы участвовать в проведении конгресса Иберийского форума {62}. Маркес продолжает жить и работать во всех своих ипостасях – писателя, журналиста и общественного деятеля, и, наверняка, еще не раз станет героем дня, автором сенсационных поступков и заявлений.

Что касается творческих планов писателя, то сейчас он работает над вторым томом воспоминаний (всего их планируется три) и заканчивает давно начатый цикл из четырех рассказов «Встретимся в августе».

notes

1

Слово «гомер» на эолийском диалекте греческого языка значит «слепой», но существуют и другие возможные значения этого слова – «заложник», «пророк», «поэт».

2

Халкид — город на о. Эвбея; современное название – Халкис.

3

Ответ: вши.

4

По другим, менее достоверным сведениям, исполнение поэм Гомера было введено в Спарте легендарным законодателем Ликургом еще в IX веке до н. э. Сведения о гомеровских поэмах в Афинах, где они стали известны в VII веке до н. э., более достоверны.

5

Абу Сайд Мейхени Фадлаллах (б. Абу-л-Хайр) (967—1049) – суфийский шейх, один из создателей восточной (хорасанской) школы мистицизма.

6

Сельджукиды — султаны тюркской огузской династии, правившие в ряде стран Ближнего и Среднего Востока в XI – начале XIV века.

7

Чино да Пистойя, Гиттоне Синибальди (1270–1337) – итальянский поэт, лирик, крупнейший предшественник Петрарки.

8

Кастальские сестры — музы. Согласно греческой мифологии, Кастальский ключ – неиссякаемый источник вдохновения, обиталище муз и Аполлона.

9

Похлебка, приготовленная из потрохов и конечностей животных, околевавших в течение недели.

10

Лепанто — средневековое название г. Нафпактос (Греция).

11

Роджер Мэннерс, 5-й граф *Рэтленд* (1576–1612), английский аристократ времен королевы Елизаветы (1533–1603) и короля Якова I (1566–1625), воспитанник Фрэнсиса Бэкона.

12

Гаррик Дэвид (1716–1779) – знаменитый английский актер, трагик и комик, с 1747-го директор Друрилейнского театра в Лондоне, поднял английскую сцену на небывалую высоту постановкой шекспировских и других пьес.

13

Шекспир Уильям. Виндзорские насмешницы // Полн. собр. соч. – М.: Искусство, 1959. – Т. 4. – С. 252 (перевод С. Маршака и М. Морозова).

14

В подлиннике «щуки» – «luces».

15

В переводе «ерши» и «вши» являются эквивалентом игры слов «luce» и «louse» («щуки» и «вши»).

16

Звездная палата — высшее судебное учреждение Англии в XV–XVII вв. (получило название от украшенного звездами потолка зала в королевском дворце в Вестминстере). Была упразднена во время Английской революции XVII в. (1641).

17

В статье использованы биографические материалы о поэте А. Кирпичникова, Ю. Лотмана, И. Анненского, П. Анненкова.

18

Набоков В. «Пушкин, или Правда и правдоподобие», 1937. http://www.lib. ra/NABOKOW/Pushkin.txt

Достоевский Ф. М. Пушкин. Очерк (Произнесено 8 июня 1880 г. в заседании Общества любителей российской словесности). http://www. philosophy.ru/library/dostoevsky/ push.html

Пущин И. И. Записки о Пушкине. – М.: Детская литература, 1975.

21

Лотман Ю. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. – 1981.

22

Пушкин А. С. Моя родословная (1830).

23

Сераль (перс. Serui – дворец), резиденции султана в восточной части Константинополя (иногда сералем называли его женскую часть, гарем).

Аманат (араб.) – заложник, человек, взятый в залог, в обеспечение чего-либо, верности племени или народа, подданства покоренных и пр.

25

Ревель — официальное название г. Таллинна, столицы Эстонии, в период 1219–1917 годов.

26

Настоящее имя его было Януарий, но, как писал А. С. Пушкин: «Прабабушка моя не согласилась звать его этим именем, трудным для ее немецкого происхождения: *Шорн шорт,* говорила она, *делат мне шорни репят и дает им шертовск имя».*

27

Кроме Ольги и Александра, в семье Пушкиных было еще трое сыновей, младших братьев поэта.

28

Пушкин А. С. Послание цензору.

29

Начало IX главы романа «Евгений Онегин» (из беловой рукописи; в большинстве печатных изданий эти строфы выпущены или даны в иной редакции).

30

К Наталье, 1813.

31

Романс, 1814.

32

А. С. Пушкин: «Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: „Где, братец, здесь нужник?“ Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига».

33

А.-И. Каподистрия — русский и греческий государственный деятель, в 1816–1822 годах министр иностранных дел в России, начальник ведомства, по которому служил А. С. Пушкин.

34

Тульчин и *Васильков* — центры декабристских организаций Юга Российской империи, так что визиты туда укрепляли личные связи Пушкина с декабристами.

35

Эти строки не вошли в окончательный текст стихотворения «Вновь я посетил…» (1835 г.) и, согласно первоначальному замыслу поэта, следуют за вполне оптимистичной строфой «Здравствуй, племя младое, незнакомое…»

36

Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862) – министр иностранных дел России (1816–1856).

Кондукторами назывались воспитанники училища.

«Сборник» вышел в январе 1846 года, и кроме Достоевского там печатались знаменитости: И. С. Тургенев, И. Панаев, Н. Некрасов, В. Белинский. После выхода «Петербургского сборника» Достоевский сразу завоевал признание и славу.

39

16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение – выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их более не оставлять. В первом предложении отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива.

40

Comme il faut (франц.) – буквально – «как надо», «как следует»; соответствие правилам светского приличия, «хорошего тона».

41

Брандес Георг (1842–1927) – датский литературный критик.

42

Заведующий финансовой частью московской редакции «Накануне».

43

В русском переводе – «Рассказ не утонувшего в открытом море».

Каракас — столица Венесуэлы.

45

В другом переводе – «Похороны Великой мамы».

В других переводах – «История одной смерти, о которой знали заранее»; «История смерти, о которой все знали заранее».

1

Аэды (от греч. aoidos – певец) – древнегреческие исполнители эпических песен. В эпоху, когда еще не было закрепленных текстов, аэды импровизировали под аккомпанемент струнного инструмента. Искусство странствующих аэдов сыграло существенную роль в развитии греческого эпоса. (Здесь и далее примеч. авт.)

2

Рапсоды (греч. rhapsodoi, от rhapto – сшиваю, слагаю и ode – песнь) – древнегреческие странствующие исполнители эпических поэм. В отличие от аэдов рапсоды декламировали закрепленный в устной или письменной традиции текст эпических поэм, особенно Гомера, нараспев, без музыкального сопровождения.

3

Известен анекдот о споре Платона и Аристотеля на тему: «Имеются ли у крота глаза?..» Дискуссия затянулась, и рабсадовник предложил философам просто взять крота и посмотреть на его морду. Но философы ответили, что для решения задачи крот им совсем не нужен – и продолжали теоретизировать.

4

«Свида», «Суида» (от греч. Suidas, Sudas) – византийский этимологический и толковый словарь, созданный около X в. н. э. Словарь содержал около 30 тысяч статей, материал которых почерпнут из античных, эллинистических и византийских источников. Личность составителя (-лей), как и происхождение слова «Свида», неизвестны.

5

Древнейшей из дошедших до нашего времени полностью рукописей *«Илиады»* является *Codex Venetus A* (X век), *«Одиссеи»* – *Codex Laurentianus* (X–XI века), однако современная наука располагает также множеством папирусных фрагментов, некоторые из них относятся к III веку до н. э.

6

Мифологическая школа — направление в фольклористике и литературоведении XIX века. В ее основе лежит представление о мифах как о «естественной религии». Для этой школы характерно представление о мифологии как о «необходимом условии и первичном материале для всякого искусства» (Шеллинг), как о «ядре, центре поэзии» (Ф. Шлегель), а также идея о том, что возрождение национального искусства возможно лишь при условии обращения художников к мифологии. Окончательно мифологическая школа оформилась в трудах братьев Гримм, согласно которым народная поэзия имеет «божественное происхождение»; из мифа в процессе его эволюции возникли сказка, эпическая песня, легенда и другие жанры; фольклор – бессознательное и безличное творчество «народной души». Пользуясь методом сравнительного изучения, братья Гримм объясняли сходные явления в фольклоре разных народов общей для них древнейшей мифологией. Мифологическая школа распространилась во многих странах Европы: Германии (А. Кун, В. Шварц. В. Манхардт), Англии (М. Мюллер, Дж. Кокс), Италии (А. де Губернатис), Франции (М. Бреаль), Швейцарии (А. Пикте), России (А. Н. Афанасьев, Ф. И. Буслаев, О. Ф. Миллер). Она развивалась в двух основных направлениях: «этимологическом» (лингвистическая реконструкция начального смысла мифа) и «аналогическом» (сравнение сходных по содержанию мифов).

7

Рубаи (четверостишие) – форма лирической поэзии народов Ближнего и Среднего Востока, заимствованная из устного народного творчества персов и таджиков (в фольклоре рубаи называются дубайти или таране). В письменной литературе жанр рубаи появился в К – Х веках. рубаи строится на основе специфического ритма, определенного чередования долгих и кратких слогов, согласно законам арабской фонетики. рубаи состоит из четырех полустиший или двух бейтов (двустиший, в которых обязательно выражена законченная мысль), рифмующихся по схеме а-а-б-а или (реже) по схеме а-а-а-а. рубаи, служившие для выражения лирической темы с преобладанием философских размышлений, постепенно перекочевали из персоязычной (фарси, дари) литературы в арабскую, многие тюркоязычные литературы и литературу урду. Как жанровая форма рубаи достигли расцвета в середине XI века, когда творил Хайям, но к концу XII столетия уступили место жанру газели.

8

В IX–X веках на территории Ирана и Средней Азии складывается персидский литературный язык (фарси, или дари, на основе которых развились современные персидский и таджикский языки). Именно на фарси Хайям написал большинство своих стихов и некоторые трактаты (большая часть научных трактатов Хайяма написана на арабском языке – международном языке ученых стран ислама). Кроме того, часть населения территории государства, в котором жил Хайям, вошла в состав современного таджикского народа, а часть – в состав персидского. Таким образом творчество Хайяма является культурным достоянием как персов, так и таджиков.

9

Нишапур — один из крупнейших городов в провинции Хорасан на северо-востоке Ирана, составлявшей когда-то ядро парфянского государства. Расположенный на оживленных караванных путях, он был ярмарочным городом для многих провинций Ирана, Средней Азии и близлежащих стран. Нишапур – один из главных культурных центров Ирана – был знаменит своими библиотеками, с XI века в городе действовали школы среднего и высшего типа – медресе.

10

Хорасан — область, расположенная к востоку и юго-востоку от Каспийского моря, большая часть которой с городами Мешхед и Нишапур сегодня является одноименной провинцией Ирана. Ее северная часть с городами Ашхабад и Мары составляет основную часть Туркмении, а восточная часть с городами Герат и Балх входит в состав Афганистана.

11

Низами Арузи Ахмед ибн Умар (Низами Самарканди) – персидский и таджикский писатель. В 1156–1157 годах написал книгу «Собрание редкостей» («Четыре беседы»), разделенную на введение и четыре главы, содержащие 43 рассказа из жизни знаменитых письмоводителей, поэтов, врачей и астрологов, без которых, по мнению автора, немыслимо благополучие трона. Один из рассказов посвящался Хайяму.

12

Баях — в настоящее время город на реке Балх и историческая область в северном Афганистане, к югу от Амударьи. В Средние века – один из административных, торговых и культурных центров Хорасана, один из главных городов Бактрии, колыбели зороастризма. В Балхе родились или жили знаменитейшие поэты, мыслители и религиозные деятели Востока: Джелаладдин Руми, Хамидиддин Абу Бекр, Энвери.

13

Захир ад-Дин Абу-л-Хасан «Али ибн Аби-л-Касим аль-Байхаки (1106–1169), известный под именем Ибн Фундук (араб, „сын хозяина гостиницы“), – арабский ученый, уроженец Нишапура (Хорасан), работал в Нишапуре и Мерве, был признанным знатоком истории, астрологии, философии, математики и многих других наук. Написал ряд работ по астрономо-астрологической проблематике.

14

Малик-шах Абулъ-Фатх Джалал-ад-дин (август 1055 – ноябрь 1092, под Багдадом), султан (с 1072 г.) из династии Великих Сельджукидов, правившей в странах Ближнего и Среднего Востока. В годы правления Мелик-шаха государство Сельджукидов достигло наибольшего могущества. Известен покровительством наукам и искусству; провел реформу календаря («Летоисчисление Малики», или «Джалалова эра»).

15

Низам аль-Мульк (араб, «устроитель государства») – титул, данный Абу Али аль-Хасану ибн Али ибн Исхаку ат-Туси (1017–1092). Низам аль-Мульк – государственный деятель государства сельджуков, проводник политики централизованного государства. Визирь Малик-шаха; с 1063 года визирь Алп-Арслана, султана государства Сельджукидов, прославившегося завоевательными походами в Грузию (1064), Армению (завоевал Каре и Ани, 1064), Азербайджан (1064), Среднюю Азию (1065).

16

Хасан ибн Саббах — «родоначальник исламского терроризма» (Ф. Богаднович), основатель секты ассасинов. Ассасины (от араб, хашшишин, буквально – потребители гашиша), тайная сектантская организация мусульман-шиитов террористической направленности, образовавшаяся в Иране в конце XI века в результате раскола в исмаилизме. Сегодня слово «ассасин» употребляется как синоним тайного убийцы.

17

Мавераннахр (араб., буквально – то, что за рекой), средневековое название областей, находящихся на правом берегу Амударьи. Появилось во время арабского завоевания VII–VIII веков. Позднее этим термином обозначались области между Амударьей и Сырдарьей. Древнейшие и наиболее крупные города – Самарканд, Бухара, Ходжент.

18

Мухаммед аль-Бухари — один из наиболее уважаемых толкователей Корана и собирателей устных преданий о пророке Мухаммеде (кадисов). Аль-Бухари разработал систему проверки кадисов, и результатом его деятельности является упомянутый сборник «Аль-Джами-ас-Сахих» («Собрание правильного»), состоящий из 7275 кадисов.

19

Примерный смысл стихотворения таков: несмотря на то что я не совершаю мусульманских обрядов (пост в священный месяц Рамадан, намаз и т. п.), но верую в Бога единого и неделимого (намек на христианскую концепцию Троицы), т. е. являюсь последовательным сторонником ислама.

20

Как считает И. Голубев, «вино» у Хайяма скрывает несколько смыслов. Вино – 1) лучшее в жизни, истинные ценности бытия, радость жизни, веселье; 2) поток живых страстей и жизненных перипетий; течение времени, замертво валящее всех; сюда же относятся стихи о «наполнившейся мере» или «чаше», означающей завершение отмеренной человеку жизни; 3) накапливающаяся с годами сумма тягостных переживаний, душевная усталость; полоса бедствий или гнет старости («горькое» или «мутное вино», «осадок в кубке», «кровь» или «слезы в чаше»); 4) собственное хайямовское учение (по аналогии с суфизмом); 5) вино как таковое.

21

Клодель Поль Луи Шарль Мари (1868–1955) – французский поэт-драматург, эссеист. Окончил Школу права и политических наук. С 1893 года – на дипломатической службе (был послом Франции в Японии (1921–1926), США (1927–1933) и Бельгии (1933–1935). Для творчества Клоделя характерно тяготение к отдаленному прошлому – к Средневековью, к религиозной тематике. По словам Клоделя, его настольная книга – Библия, и все написанное им образует как бы новейшую многотомную Библию. В свое время Клодель считался крупнейшим из современных католических писателей Запада и в то же время наиболее ортодоксальным и убежденным из них. Главный источник его творчества и главная героиня почти всех его произведений – католическая религия.

22

Терцины [итал. terzina, от terza rima – третья рифма] – одна из особых поэтических форм итальянского происхождения. Терцины состоят из трехстиший двухрифменного типа, когда первый стих рифмуется с третьим и со вторым стихом предшествующей строфы (сочетание рифм обязательно по схеме: aba, bcb, cdc и т. д.) В заключение цепи терцин ставится один изолированный стих, рифмующийся со вторым стихом последней строфы, вследствие чего она в сущности превращается в четверостишие с перекрестной рифмой (sts, t). Иногда этот заключительный стих объединяется с предыдущей терциной также и графически. Таким образом, терцины дают непрерывную рифменную цепь произвольной длины, удобную для произведений крупных форм.

Терцины появились в итальянской поэзии в XIII веке; их изобретение принадлежит, по словам Данте, Брунетто Латини. Сам Данте обессмертил эту поэтическую форму создав свою «Божественную комедию». Терцины вызвали подражания почти во всех европейских литературах (особенно у немецких романтиков и русских символистов, хотя одним из первых поэтов, давших образцы терцин в России, был Пушкин), позднейшее употребление их нигде не вышло за пределы экспериментов и стилизаций.

23

Боккаччо Джованни [1313–1375] – итальянский писатель. Ранних итальянских произведений Боккаччо, в которых чувствуется сильное влияние Данте, – семь: «Filocolo» (1338, кончена позднее), «Teseide» (1339), «Filostrato» (1340), «Ameto» (1342), «Amorosa visione» (1342), «Fiammetta» (1342), «Ninfale Fiesolano» (1345). Боккаччо – создатель и мастер октавы (вид строфы, состоящей из 8 строк с обязательным чередованием рифм по схеме: *а, б, а, б, а, б, в, в)*. Наиболее известное произведение Боккаччо – «Декамерон». Считается, что «Декамерон» для итальянской прозы является тем же, чем «Божественная комедия» и сонеты Петрарки для поэзии. Боккаччо много сил уделял исследованию жизни и творчества Данте, его «Vita di Dante» написана в 1363 или 1364 году и является ценным биографическим источником.

24

Гвельфы (итал. Guelfi) и *гибеллины* (итал. Ghibellini) – политические направления в Италии XII–XV веков, возникшие в связи с попытками императоров Священной Римской империи утвердить свое господство на Апеннинах. Гвельфы объединяли противников империи (преимущественно из торгово-ремесленных слоев) и активно поддерживали политику Папы Римского, а гибеллины – сторонников императора (преимущественно дворян). Надо сказать, что политические программы гвельфов и гибеллинов видоизменялись, менялся социальный состав приверженцев этих партий. Более того, в Болонье, Милане, Флоренции торгово-ремесленные слои поддерживали гвельфов, а знать – гибеллинов, а в Пизе, Сиене и ряде других городов ремесленники относились к лагерю гибеллинов, что объяснялось соперничеством (а иногда и враждой) городов в большей степени, чем политикой двух партий. Тем не менее, в целом вражда гвельфов и гибеллинов отражала противоречия между торгово-ремесленными кругами (предтечей буржуазии) и феодальной знатью. С XIV века во Флоренции и некоторых тосканских городах гвельфы, в свою очередь, разделились на Черных и Белых: Черные объединяли дворян, Белые отражали интересы богатых горожан. Белые гвельфы обладали реальной властью во Флоренции, имели свой дворец, сохранившийся до наших дней. Ослабление политической роли империи и папства в XV столетия привело к затуханию борьбы гвельфов и гибеллинов.

Словосочетание «война гвельфов и гибеллинов» стало синонимом бесконечной, бесплодной, но ожесточенной вражды, причина которой давно забыта.

25

Вергилий Публий Марон (Publius Vergilius Маю) – римский поэт (70–19 гг. до н. э.). Произведения, незаслуженно приписываемые молодому Вергилию, сохранились в сборнике «Appendix Vergiliana». В 42–39 годах до н. э. Вергилий написал 10 «Буколик», которые также называют «Эклогами» (от греч. слова ekloge – произведение, поэма), которые сразу принесли ему славу. Местом действия «Буколик» являются сказочная, условная страна Аркадия и италийская родина Вергилия. В идиллических сценах представлены: любовные жалобы на юношу, который пренебрегает дарами и любовью крестьянина, певческие состязания двух пастухов; повесть о трагической смерти Дафниса и его апофеоз. Эти основные сюжетные линии автор перемежает аллюзиями на собственные переживания и современные события в Италии. Идиллия Вергилия не реалистична, но носит придворный, аллегорический, а порой и философский характер. Соединяя греческие и латинские элементы, идеальную Аркадию с современной историей, Вергилий создал нечто совершенно новое. Он уже не был только подражателем александрийских поэтов, а стал оригинальным римским поэтом. В 29 году до н. э. Вергилий закончил поэму «Георгики» *(Georgica)* в 4-х книгах. Поэма должна была пробуждать любовь к земле и показать преимущества труда земледельца. «Георгики» – поэма, славящая труд италийского крестьянина, с точки зрения стихосложения, языка и композиции является самым совершенным произведением Вергилия. Последние 10 лет своей жизни (29–19 гг. до н. э.) он посвятил работе над «Энеидой» *(Eneis),* которая представляла собой героический эпос в 12 книгах, воспевающий странствия бежавшего после разрушения Трои Энея. Однако Вергилий не ограничился изложением истории Энея, ибо целью поэмы было прославление Рима, а также рода Юлиев. Действие «Энеиды», начавшись с бегства Энея из Трои, в дальнейшем развивается в соответствии с замыслом, представляя некую праисторию Италии и Рима. Главная нить поэмы неуклонно ведет от Энея к Августу. Поэт умер, оставив «Энеиду» неоконченной. Она была издана посмертно, вопреки желанию поэта, по приказанию императора Августа. В Средние века Вергилия считали величайшим поэтом, а также чародеем и магом. Данте в «Божественной комедии» избрал его проводником по Аду и Чистилищу.

26

Одной из главных особенностей «сладостного нового стиля» итальянской поэзии середины XIII века была гармония стиха, связанная с глубоко пережитыми чувствами. Кроме того, в стихах поэты Флоренции выражали философские идеи различных школ и направлений (Аристотель, Платон, Фома Аквинский, Аверроэс), риторику Цицерона, Квинтилиана и Горация, образы, распространенные в творчестве трубадуров и французской литературе XII–XIII веков. От естествоиспытателей Греции они заимствовали учение о духах жизни, души и разума, объяснявшие психофизиологическую систему восприятия.

27

Кавальканти Гвидо (1255 или 1259–1300), итальянский поэт. После *Гвидо Гвиницелли* стал главой поэтической школы «Дольче стиль нуово». Как и другие поэты этого направления, Кавальканти в канцонах и сонетах воспевал возвышенную любовь к идеальной возлюбленной, стараясь раскрыть философский смысл этой любви, однако у него есть стихи и о земной любви. Приверженец партии гвельфов.

28

Латини Брунетто (1220–1294) – итальянский писатель, учитель Данте, приор и секретарь Флорентийской республики, изгнан гибеллинами. Во Франции написал энциклопедию знаний – «Le Tresor» (по-французски) и по-итальянски «Tesoretto» («Сокровище») – аллегорическую поэму о небе и земле, которая стала предвестницей «Божественной комедии».

29

Канцона — буквально «песня» (итальянское – canzone, французское – chanson, провансальское cansó), лирическая форма средневековой поэзии, возникшая первоначально в рыцарской лирике Прованса, откуда была усвоена французскими и итальянскими подражателями. У трубадуров Прованса канцона являлась довольно неопределенным термином, которым обозначалось лирическое произведение, посвященное исключительно темам рыцарской любви. Итальянские поэты XIII века, в особенности Гвиницелли, Кавальканти, Чино да Пистойя и сам Данте, культивировали канцону в своих произведениях аллегорического и философского содержания. Наиболее совершенной формы канцона достигла у Петрарки в XIV веке, после чего этот жанр постепенно замирает и возрождается в последний раз в Испании XVI века, а потом выходит из употребления.

30

Куртуазная любовь — courtois (франц.) – учтивый, рыцарский, придворный) – форма внебрачных отношений между мужчиной и женщиной, предполагающая утонченность ухаживания и поведения. Куртуазная любовь известна по литературным памятникам примерно с XI века, расцвет ее приходится на XII–XIII столетия. Сохранившиеся поэтические источники воспроизводят следующую картину: объект куртуазной любви – замужняя женщина, Прекрасная Дама; неженатый мужчина обращает на нее внимание и загорается желанием. Отныне, пораженный любовью, он думает только о том, чтобы овладеть этой женщиной, и для достижения своей цели во всем подчиняется своей избраннице. Дама – жена синьора, во всяком случае, она хозяйка дома, где он принят, и уже в силу этого является его госпожой. Он, как вассал, отдает себя и свою свободу в дар избраннице. Женщина может принять или отклонить этот дар, но если она принимает его, то перестает быть свободной, так как по законам того сообщества никакой дар не может остаться без вознаграждения. Правила куртуазной любви, воспроизводящие условия вассального контракта, по которому синьор обязан вассалу теми же услугами, что получил от него, требуют от избранницы в конце концов предаться тому, кто принес себя ей в дар. Однако Дама не может располагать своим телом по своему усмотрению: оно принадлежит ее мужу. Опасность игры придавала ей особую пикантность, но рыцарю, пускавшемуся в приключение, надо было быть осторожным и соблюдать тайну. Одной из тем куртуазной лирики является описание мечты возлюбленного о наивысшем блаженстве, но все удовольствие заключалось не столько в удовлетворении желания, сколько в ожидании, поэтому поклонник должен был оттягивать момент обладания своей возлюбленной. В этом и заключается истинная природа куртуазной любви, которая реализуется в сфере воображаемого.

31

Боэций Аниций Манлий Торкват Северин (прибл. 475–526) – римский писатель, философ, ученый, государственный деятель. Сенатор, одно время приближенный остготского короля Теодориха. По обвинению в тайных связях с Византией был заключен в тюрьму, где в ожидании казни писал свое главное сочинение «Об утешении в философии». Основные идеи этого трактата, имеющего форму диалога между автором и олицетворенной философией, – ничтожество земных благ, преимущества душевного спокойствия и чистой совести. Боэций пользовался особенной популярностью в Средние века, когда его произведение, привлекавшее внимание своим аллегорическим обрамлением, было переложено в прозе и стихах почти на все народные языки Западной Европы.

32

Как показал Х.-Л. Борхес в своем исследовании «Комедии», вселенная Данте обусловлена астрономией Птолемея и христианской теологией. Земля – неподвижная сфера. В центре Северного полушария – гора Сион; 90° на восток – река Ганг; 90° на запад – река Эбро. Южное полушарие покрыто водой и запретно для человека. В центре его – гора Чистилища, антипод Сиона. Две реки и две горы образуют на земном шаре крест. Под Сионом открывается и идет к центру земли перевернутый конус Ада, разделенный на девять суживающихся кругов, подобно ступеням амфитеатра. Первые пять кругов образуют верхний Ад, последние четыре – нижний – город с красными башнями, окруженный железной стеной. Внутри – гробницы, колодцы, пропасти, болота и пески; на вершине конуса – Люцифер. Трещина, пробитая в скале водами Леты, соединяет недра Ада с основанием Чистилища. Гора Чистилища – остров, где только один вход; по бокам громоздятся террасы, соответствующие смертным грехам; на вершине цветет сад Эдема. Вокруг Земли – девять концентрических сфер; первые семь соответствуют планетам (небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна), восьмая – небо Неподвижных Звезд, девятая – хрустальное небо, называемое также Перводвигателем. Оно окружает Эмпирей, где открывается Роза Праведных вокруг точки, которая есть Бог. Конфигурация Дантовского мира подчинена магии чисел 1, 3 и 9, а также концепцией круга как совершенного тела. Девять вращающихся небес, Южное полушарие, покрытое водой, с горой в центре, соответствует старинной космологии.

33

Эклога (лат. ecloga, от греч. ekiogé – отбор, выбор), разновидность идиллии: жанровая сценка (преимущественно любовная) из условной пастушеской жизни, в повествовательной или драматической форме. В античной литературе идиллия и эклога не различались; в литературе классицизма считалось, что идиллия требует более чувства, а эклога – действия, но различие это соблюдалось нестрого. Жанр изжил себя к началу XIX века.

34

Профессора Вальядолидского университета Хавьер Бласко и Анастасио Рохо полагают, что автором фальшивого «Дон Кихота» был образованный доминиканский монах Бальтасар Наваррете, исповедник короля Филиппа IV и горячий поклонник драматурга и поэта Лопе де Вега, заклятого врага и соперника Сервантеса. Существует также версия, что автором фальшивого «Дон Кихота» был некий солдат Херонимо де Пасамонте из Арагона, сослуживец Сервантеса во время битвы при Лепанто, которого писатель высмеял в первом томе романа. Однако эксперты считают, что Пасамонте не обладал достаточным уровнем образования, чтобы написать роман.

35

Бен (Бэн) Джонсон (1573–1637) – английский поэт и драматург. Биографические сведения о нем, как и о Шекспире, крайне туманны. Есть указания на то, что Джонсон был каменщиком, однако известно, что он получил хорошее образование и был одним из наиболее просвещенных людей своего времени. Он был избран магистром искусств в двух университетах, посвящал им свои произведения, но нет никаких данных о том, что он учился в каком-либо из них. Его комедии пользовались скандальным успехом. За оскорбление судей, чиновников и солдат Джонсона вызывали к верховному судье; за оскорбление шотландской аристократии ему собирались отрезать нос и уши, и только благодаря заступничеству духовенства писатель избежал этой участи. Бен Джонсон показал себя мастером в художественном оформлении придворных бал-маскарадов: писал к ним тексты и создавал сюжеты. Умер он в нищете. Бесспорно принадлежащим Джонсону можно считать только небольшое количество комедий и стихов, изданных им самим при жизни, ему приписывают около пятидесяти отдельных произведений.

36

Бэкон Фрэнсис (1561–1626) – английский философ, родоначальник английского материализма. В 1584 был избран в парламент. С 1617 – лорд-хранитель печати, затем – лорд-канцлер; барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский. В 1621 привлекался к суду по обвинению во взяточничестве, осужден и отстранен от всех должностей. Помилованный королем, не вернулся на государственную службу и последние годы жизни посвятил научной и литературной работе.

Например, сонет 135: «Whoever hath her wish, thou hast thy Willy / And Will to boot, and Will to over-plus» – «Кто бы ни владел ее желанием [Will], у тебя есть твой Уилл [Will] / и Уилл [Will] в придачу, и Уилл [Will] сверх того». Каламбур в этом сонете построен на разных значениях слова «will». Will – «воля», «желание» и одновременно имя Шекспира и его друга, и, возможно, мужа «смуглой дамы».

38

Первое посмертное собрание драм Шекспира вышло в 1623 году. Каноническими творениями Шекспира признаны 37 пьес, две поэмы и цикл сонетов. Все они созданы за двадцатилетнее пребывание в Лондоне – с 1590 по 1611 год. 16 из них были поставлены при его жизни и опубликованы, однако неизвестно, принимал ли сам Шекспир участие в публикациях. 20 пьес издано через семь лет после его смерти.

39

Во время дворцовых интриг, начавшихся при Петре, шла борьба за влияние на монарха. Главными действующими лицами были Меншиков, Долгорукие и Голицыны; они поочередно то возвышались, то попадали в опалу. После смерти Петра I Меншиков усилиями соперников был сослан, Долгорукие, имевшие влияние на Петра II, приобрели практически неограниченную власть. Во дворце их влияние настолько выросло, что в конце 1729 года Петр обручился с княжной Долгорукой, но помолвка государя не окончилась свадьбой: Петр II захворал и умер 14 лет, не оставив завещания. Зато было завещание Екатерины I, передававшее престол в семью Анны Петровны в случае бездетной смерти Петра. Власть имущие не приняли его к рассмотрению, считая престол вакантным и решая, кому его предоставить. Ночью 18–19 января 1730 года Верховный тайный совет, некоторые сенаторы и высшие военные чины рассуждали о судьбе престола. Долгорукие рискнули предложить в императрицы невесту Петра, но безо всякого успеха. Князь Голицын назвал особу царского дома Анну Иоанновну, бездетную и лишенную политического веса вдову герцога Курляндского. Она-то и стала императрицей, и с первых же минут ее правления началось возвышение иностранцев и опала русской знати, представители которой подвергались гонениям, ссылкам и даже казням. Первыми пострадали Долгорукие; некоторым из них были отсечены головы. Потом пришел черед Голицыных и других.

Миних Иоганн Эрнст (1707–1788), граф, дипломат. В начале 1740-х годов обергофмаршал двора. Автор «Записок» о правлении императрицы Анны Ивановны.

40

Корф Модест Андреевич (1800–1876) – соученик Пушкина, быстро сделавший чиновничью карьеру (в 1834 г. он был статс-секретарем, пользовался милостью и доверием Николая I, занимал должность государственного секретаря, а в 1843 г. стал членом Государственного совета). В Лицее он был антиподом Пушкина, так что дружеских связей у поэта с Корфом не было. Друзья А. С. Пушкина позднее язвительно отзывались о записках М. Корфа и его уверениях в том, что его связывали весьма тесные отношения с поэтом. Сам М. Корф писал: «Не только воспитывавшись с Пушкиным шесть лет в Лицее, но и прожив с ним еще потом лет пять под одною крышею, я знал его короче многих, хотя связь наша никогда не переходила обыкновенную приятельскую».

41

«Беседа любителей русского слова», литературное общество в Петербурге (1811–1816), возглавлявшееся Г. Р. Державиным и А. С. Шишковым. Члены «Беседы» (С. А. Ширинский-Шихматов, А. С. Хвостов, А. А. Шаховской и др.) являлись эпигонами классицизма, нападали на реформу литературного языка, проводившуюся сторонниками Н. М. Карамзина. Еще на лицейской скамье, в самых ранних стихотворениях Пушкин писал едкие эпиграммы на «Беседу».

42

«Зеленая лампа» — дружеское общество петербургской дворянской, преимущественно военной, молодежи начала 20-х годов XIX века, в числе членов которого был А. С. Пушкин. Собрания «З. л.» происходили в доме камер-юнкера Н. В. Всеволодского; общество получило свое название от зеленой лампы, освещавшей комнату собраний. В пушкинской литературе (Анненков, Бартенев) долгое время держалась легенда об оргиастическом характере «Зеленой лампы». Позднейшими исследованиями установлено, что объединяющим началом для «лампистов» были как интересы литературно-театральные, так и политические. «Лампа» имела связь с объединением будущих декабристов – «Союзом благоденствия». Это дружеское литературно-театральное общество возникло весной 1819 года. О его собраниях в обществе носились туманные сплетни, и оно рисовалось в контурах сборища развратной молодежи, устраивающей оргии. Публикации протоколов и других материалов заседаний заставили решительно отбросить эту версию и закрепили представление о связи этой организации с декабристским движением.

43

«Арзамас»(1815–1818) – название литературного кружка, объединявшего сторонников нового «карамзинского» направления в литературе, сближения литературного языка с разговорным. Название дало шутливое произведением Д. Н. Блудова «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». «Арзамас» поставил себе задачей развитие новых жанров в поэзии, а также борьбу с устарелыми литературными вкусами и традициями, защитники которых объединялись «Беседой любителей русского слова». Членами кружка были как писатели (В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, В. Л. Пушкин, П. Вяземский, А. С. Пушкин и др.), так и общественные деятели (братья Тургеневы, граф Уваров и др.). Заседания «Арзамаса» имели характер веселых сборищ. Все члены кружка носили шутливые прозвища, заимствованные из баллад Жуковского (Вяземский – Асмодей, Пушкин – Сверчок, Жуковский – Светлана). С закрытием «Беседы» в 1816 году полемический характер деятельности «Арзамаса» потерял смысл. Арзамасцы попытались сделать работу кружка более серьезной и задумали издание журнала, но далее составления плана дело не пошло. В 1818-м «Арзамас» распался.

44

Лунин и *Якушкин* — видные деятели декабристского движения – были знакомцами Пушкина. С Луниным он познакомился 19 ноября 1818 года и так близко сошелся, что в 1820 году перед отъездом отрезал у него на память прядь волос; с Якушкиным Пушкина познакомил Чаадаев.

45

Катенин Павел Александрович (1792–1853) – русский поэт, драматург и критик. Служил в министерстве народного просвещения, участвовал в войнах с Наполеоном 1812–1814 годов. В 1817-м – член тайного общества. В 1820 году был вынужден покинуть военную службу, а в 1822-м выслан в деревню в Костромскую губернию, где жил три года без права выезда, а потом семь лет добровольно. Вернувшись в Петербург, через два года уехал на военную службу на Кавказ, в 1838 году подал в отставку, конец жизни провел в имении, слывя среди соседей безбожником и вольнодумцем. П. Катенин – центральная фигура литературной группы «младших архаистов», в которую входили Грибоедов, Кюхельбекер, Рылеев. П. Катенин считается непосредственным и во многом блестящим предшественником Пушкина, но к 30-м годам XIX века он сошел с литературной арены.

Поэма вышла из печати, когда Пушкин был уже в южной ссылке, и разошлась с огромным успехом. «Московский телеграф» позже писал: «Руслан и Людмила» <…> появилась в 1820 году. Тогда же она была вся раскуплена, и давно не было экземпляров ее в продаже. Охотники платили по 25 руб. и принуждены были списывать ее».

47

Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807) – поэт, автор пользовавшихся большим успехом у современников эпических произведений в псевдоклассическом стиле («Селим и Селима»; «Чесменский бой»; героическая эпопея из 12 песен «Россиада»; эпико-дидактическая поэма «Владимир»; «Кадм и Гармония»; трагедия «Освобожденная Москва»). В 1763 году стал директором Московского университета, в 1770-м – вице-президентом бергколлегии, в 1778-м – куратором Московского университета. В конце Екатерининского царствования впал в немилость.

48

Вигель Филипп Филиппович (1786–1856) – мемуарист. Он служил в архиве иностранных дел и умер директором департамента иностранных исповеданий. Ф. Вигель – автор известных «Записок» (полное издание в семи частях, М., 1892), которые дают богатейший материал по истории русского быта и нравов первой половины XIX века, характеристики различных деятелей того времени. Однако, как это было замечено еще современниками Вигеля, «читая „Записки“, следует доверять им с большой осторожностью». Литературно-историческая экспертиза подтверждает обоснованность подобных высказываний.

Официальная переписка (прежде всего, с императором и его сановниками) должна была вестись по-русски: обращение по-французски утрачивало тот верноподданнический характер, который на него накладывали обязательные формулы и штампы русского языка.

50

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) – русский писатель, видный представитель дворянской литературы 40-х гг. XIX в. Детство провел в усадьбе отца, симбирского помещика. Учился в инженерном училище и Академии художеств (Петербург, 1836–1840). Служил в Дирекции императорских театров. Начал литературную деятельность с вещей, написанных по заказу. Впервые обратил на себя внимание «физиологическим очерком» «Петербургские шарманщики» (1845); громкое литературное имя приобрел повестями из крестьянской жизни – «Деревня» (1846) и «Антон Горемыка» (1847), а также рядом рассказов из крестьянского быта. В начале 60-х гг., когда в редакции «Современника» произошел раскол между группой писателей-дворян и молодыми радикальными разночинцами, Григорович вышел из «Современника» и всю оставшуюся жизнь ненавидел Чернышевского. С 1864 года Григорович перестает писать и уходит в работу по Обществу поощрения художеств, секретарем которого он оставался долгое время. В 80-е и 90-е гг. XIX века Григорович напечатал несколько незначительных рассказов, повесть «Гуттаперчевый мальчик» и «Литературные воспоминания».

51

Утопический социализм — концепции социального устройства, основанные на утопии идеального бесклассового общества; мечтания, проекты и учения о коренном преобразовании общества на социалистических началах. Понятие «утопический социализм» происходит от названия сочинения Т. Мора «Утопия» (1516). Утопический социализм критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал его, мечтал о его уничтожении, фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в безнравственности эксплуатации.

52

Бекетов Николай Николаевич (1827–1911) – химик, академик Петербургской Академии наук. Окончил Казанский университет, в 1859–1887 годах был профессором Харьковского университета. Бекетов совершил целый ряд открытий; его большой заслугой является развитие физической химии как самостоятельной научной и учебной дисциплины.

53

Бекетов Андрей Николаевич (1825–1902) – русский ботаник-морфолог и ботанико-географ. В 1849 году окончил Казанский университет. В 1863–1897 профессор Петербургского университета, с 1895-го – почетный член Петербургской Академии наук. Основал первый русский научный ботанический журнал «Ботанические записки», был одним из организаторов Петербургского общества естествоиспытателей, создал школу русских ботанико-географов, стал автором первого оригинального учебника «География растений» (1896).

54

Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893) – русский поэт. Выходец из обедневшей дворянской семьи. Выпускник школы гвардейских подпрапорщиков, учился в Петербургском университете. Плещеев стал печататься в журналах с 1843 года, а в 1846-м выпустил сборник стихов. В 1840-х годах это – яркий и популярный певец радикальной молодежи, поэтический трибун петрашевцев. Его стихотворение «Вперед без страха и сомнения» справедливо названо «своего рода марсельезой поколения 40-х годов». Как участник кружка М. В. Петрашевского, был арестован и по личному распоряжению Николая I сослан рядовым в Оренбургские линейные батальоны, дослужился до прапорщика. В 1858 году получил разрешение жить в столице и вскоре переехал в Москву. В 1872–1884 годах Плещеев жил в Петербурге, состоял членом редакции «Отечественных записок» и заведовал стихотворным отделом этого журнала. По закрытии «Отечественных записок» Плещеев заведовал этим же отделом в «Северном вестнике». Умер в Париже.

55

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) – русский поэт. Сын академика живописи Н. А. Майкова. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1841). Служил в библиотеке при Румянцевском музее, а с 1852 года – в Комитете иностранной цензуры. Начал печататься в 1835-м. Либеральные настроения Майкова 40-х годов после суда над петрашевцами сменились консервативными взглядами, славянофильскими идеями. Из обширного наследия поэта выделяются стихи о русской природе. Майкову принадлежат поэтический перевод «Слова о полку Игореве» (1866–1870), переводы из Г. Гейне, И. В. Гёте, Г. Лонгфелло, А. Мицкевича. Многие стихи Майкова положены на музыку (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков и др.).

56

Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) – утопический социалист. Родился в купеческой семье, почти всю жизнь служил в торговых домах. Окончил среднюю школу, затем пополнял знания путем самообразования. На мировоззрении Фурье отразилось его глубокое разочарование в результатах Великой французской революции. Свои взгляды Фурье впервые изложил в статье «Всемирная гармония» (1803) и книге «Теория четырех движений и всеобщих судеб» (1808). Фурье разработал детальный план организации общества будущего и представил его в «Трактате о домоводческо-земледельческой ассоциации». Задачу своей жизни Фурье видел в разработке «социальной науки» как части «теории всемирного единства», основанной на идее о природной склонности человека к коллективному труду. В системе Фурье сохранялись частная собственность, классы и нетрудовой доход, а естественные страсти человека, подавляемые и искажаемые при строе цивилизации, будут направлены на творческий труд, полный разнообразия и радостного соревнования. Разумно организованные могучие трудовые армии – региональные, национальные и международные – преобразуют лик Земли. В новых условиях общественной жизни будет формироваться и новый человек как целостная, всесторонне развитая личность. В России идеи Фурье уже в I четверти XIX в. стали известны некоторым из декабристов и близким к ним представителям интеллигенции. В 1830—1840-х гг. учением Фурье интересовались А. И. Герцен, Н. П. Огарев. Выдающимся приверженцем Фурье был М. В. Петрашевский. Его идеи отразились в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. Г. Чернышевского и др.

57

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760–1825) – граф, французский мыслитель, социолог, социалист-утопист. Получил домашнее образование. Участвовал в войне за независимость североамериканских колоний против Англии, в 1783 году вернулся во Францию. В годы Великой французской революции нажил большое состояние. В период Конвента проявлял лояльное отношение к якобинским властям, затем был сторонником правительства Директории и Консульства Наполеона Бонапарта. В 1797-м разорился. Неудовлетворенный результатами революции Сен-Симон замыслил «исправить» их путем создания научной социологической системы и рационального общества на ее основе. Он попытался перенести физические законы на социальное устройство, разрабатывал «промышленную систему» общества всеобщего равенства, а также религиозную концепцию «нового христианства» под лозунгом «все люди – братья».

58

Центральная рада — орган государственной власти на Украине, создан в марте 1917-го в Клеве, председатель – М. С. Грушевский. Исполнительный орган – Генеральный секретариат. После октября 1917-го провозгласила образование «Украинской народной республики». В январе (феврале) 1918 года изгнана из Клева большевиками, в январе-апреле 1918 года действовала в Житомире и Сарнах. Заключила соглашение с австро-германскими войсками, вместе с которыми 1 марта 1918-го возвратилась в Клев, а 29 апреля была разогнана оккупантами.

59

Украинская директория — центральный орган власти Украинской народной республики, создан 14 ноября 1918 года. Председатель (до 10 февраля 1919 года) – В. К. Винниченко, командующий войсками (с 10 февраля 1919 года и председатель) – С. В. Петлюра. Распущена указом Петлюры от 20 ноября 1920-го.

Конкистадоры, придя на американские земли и увидев, как мало аборигены ценят золото, сделали предположение, что этого металла на их землях должно быть несметное количество. В свою очередь индейцы, понимая, что именно с помощью золота можно было отвлечь внимание конкистадоров от попыток завоевания их земель и их собственного порабощения, создавали легенды о больших залежах золота в глуби страны. Аборигены прибрежных регионов попытались отдалить от себя завоевателей, и именно поэтому конкистадоры с большим энтузиазмом ринулись осваивать внутренние регионы страны. Так возникла легенда об Эльдорадо (от испанского слово – oro– золото), которое стало символом ненайденных сокровищ. Позже, с открытием богатых золотых рудников в регионе департамента Антиокиа (хотя это не тот регион страны, о котором гласила легенда), поверье конкистадоров о существовании Эльдорадо стало реальностью.

Интересно, что существует перевод этого же произведения, где название звучит как «Любовь во время чумы». Видимо, переводчик хотел провести параллель с «Пиром во время чумы». Однако симптомы чумы и холеры различны, и романист, по-видимому, подразумевал не только «безрассудную любовь перед лицом смертельной опасности» (во время чумы), но и хотел показать, как близки друг другу высокое, чистое чувство и «плотский низ» и грязь. Собственно, разнообразные метафоры, так или иначе связанные с процессом дефекации и продуктами жизнедеятельности организма, постоянно присутствуют в творчестве Маркеса.

Иберийский форум — организация, сопредседателем которой является Фуэнтес, была создана в 2000 году и объединяет видных деятелей интеллигенции, политиков, предпринимателей и руководителей СМИ Латинской Америки, Испании и Португалии.